

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://solzhenitsynalexander.ru/> приятного чтения!

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын

Очерки изгнания ЧАСТЬ ПЕРВАЯ (1974 - 1978)

Глава 1 БЕЗ ПРИКРЕПЫ

На несколько часов вихрем перенесенный из Лефортовской тюрьмы, вообще из Великой Советской Зоны - к сельскому домику Генриха Бёлля под Кёльном, в кольце плотной сотни корреспондентов, ждущих моих громовых заявлений, я им ответил неожиданно для самого себя: "Я достаточно говорил в Советском Союзе, а теперь помолчу". Странно? Всю жизнь мучился, что не дают нам говорить, - вот наконец вырвался - теперь-то и грянуть? теперь-то и пальнуть по нашим тиранам? Странно. Но с первых же часов - от неохватимой здешней лёгкости? - как замкнулось во мне что-то. Едва войдя к Бёллю, я просил заказать разговор в Москву. Вот тут я думал: не соединят. А соединили! И отвечает - сама Аля! На месте! И я мог своим голосом заверить её, что - жив, что - долетел, вот, у Бёлля. А вы? А - вы? (Ну - не растерзали же детей. Но - что там творится в квартире?) Аля - ясным голосом отвечает. Через бытовые подробности даёт мне понять, что все свои дбома, что гебисты ушли, и - сказать нельзя, но умело намекает: квартира не тронута, вот, мол, дверь чинят. Так понять - что обыска не было?? Это меня поразило! Уж в обыске был уверен, и столько же тайного на столах - неужели не взяли? Ещё до моего приезда звонила Бёллю Бетта (Лиза Маркштейн) из Вены, и адвокат Хееб из Цюриха, вылетают сюда. Позвонили и Никите Струве в Париж, готов лететь сюда и он. Сразу весь мой опорный Треугольник, во жизнь! Но я почувствовал, что такой плотности мне не вместить, - и просил Струве лететь сутками позже прямо в Цюрих. Напряжение, которое держало меня этот долгий день, теперь оборвалось, добрёл до отведенной комнаты и рухнул. А среди ночи проснулся. Дом Бёлля, выходящий прямо на улочку посёлка, был как в осаде: мелькали светба от автомобильных фар, подъездов, разворотов; у самого дома гудела корреспондентская толпа; при открытом, по европейскому теплу, окне слышна была немецкая речь, французская, английская. Они теснились и ждали утренней добычи новостей, какого-то же, наконец, моего заявления? Какого? - всё главное уже сказано из Москвы. Ведь я и в Советском Союзе почти полную свободу слова завоевал себе. Несколько дней назад я публично назвал советское правительство и ГБ - сворою чертей, рогатой нечистью в метаниях перед заутренней, сказал и о бескрайности беззакония, и о геноциде народов, - что ещё добавлять сейчас? Простые вещи и без того всем известны. (Отнюдь нет?) А сложные - не прессе передать. Как бы я хотел вообще больше не делать никаких заявлений! В Союзе я последние дни частил ими по нужде, обороняясь, - но здесь какая неволя? Да здесь и каждый неси, что хочешь, тут не опасно. Лежал в бессоннице, в сознании счастливого освобождения, но - и перепутанного разветвления мыслей: что и как теперь делать? да ещё сами вопросы не выдвинулись из темноты, так и не решить ничего. В эту ночь прилетела Бетта, сердечно встретились. Она переломила моё настроение - вообще не выходить к корреспондентской толпе, до того не хотелось, ну никакого смысла я не видел выставляться как чучело. Убедила, что мы с Генрихом должны выйти, прогуляться по лужку, дать пофотографировать нас, без этого репортёры не могут уехать, прикованы. После завтрака вышли мы с Генрихом, посыпались от дверей вопросы в таком множестве - и пожелаешь, так не ответишь, и всё поразительная дребедень, вроде: что я чувствую в данную минуту? как спалось эту ночь? Не помню, каких-то несколько фраз я провякал. Потом мы с Генрихом медленно прошлись метров сто и назад. Фотокорреспонденты пятились перед нами по неровной земле в безумной тесноте, один пожилой больно упал на спину - жалко его стало, да и всем не позавидуешь в этой работе. Следующее решение Бетты было, что моей гебистской белой рубашки надолго не хватит. И на марки, сунутые мне от ГБ в самолёте, пошла она и купила в сельском магазинчике случайных две. Я сразу и не смекнул, но та, которую надел на следующий день в дорогу, была в вертикальных серо-белых полосах, как частокол, весьма похожая на форму советских эзков в лагерях спецрежима. Вскоре за тем в доме Бёлля появился и неторопливый, предельно солидный мой благодетель доктор Хееб, плотный, крупнолицый, весьма осанистый. Пока с нами Бетта, мне не надо было упражнять свой немецкий язык, но и ни о чём серьёзном говорить не предстояло. Да толпа корреспондентов опять требовала и требовала меня на выход, фотографировать, спрашивать. Примчавшиеся со всех концов Европы и через океан - какого заявления ждали они? Я не понимал. Им нужна была всего какая-нибудь мелочь для крупного заголовка: что я исключительно устал или, наоборот, совершенно бодр? что я чрезвычайно рад оказаться в Свободном

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru Мир? или что мне очень понравились германские шоссеиные дороги? Вот и всё, и дальняя поездка каждого из них оправдалась бы. Но, только что из рукопашной, не мог я, если б и понял, их так развлекать. А молчанием моим – они оказались крайне разочарованы. Так – с первого шага мы с западной "медиа" не сдружились. Не поняли друг друга. Тут приехал из Бонна вчерашний знакомец, встречавший меня от германского МИДа, господин Дингенс. Сели в светлой гостиной за стол, но по торжественной европейской привычке у жены Генриха Аннемарии на столе горело и несколько красных свечей. Дингенс привёз мне временный краткосрочный немецкий паспорт, без которого нельзя было существовать, а тем более двигаться. И официально, от правительства, предложил, что я могу избрать местом постоянного жительства Германию. На минуту я заколебался. Такого плана у меня не было (в задумке была Норвегия). Но Германию – я любил. Наверно оттого, что в детстве с удовольствием учил немецкий язык, и стихи немецкие наизусть, и целыми летними месяцами читал то сборник немецкого фольклора, "Нибелунгов", то Шиллера, заглядывая и в Гёте. В войну? – ни на минуту я не связывал Гитлера с традиционной Германией, а к немцам в жаркие боевые недели испытывал только азарт – поточней и быстрее засекал их батареи, азарт, но нисколько не ненависть, а при виде пленных немцев только сочувствие. Так и жить теперь в Германии? Может быть, это и было бы правильно. Но грезилась Норвегия, а пока-то, пока-то вот сейчас – ну конечно в Цюрих, и главное, о чём два дня назад и подумать не мог: ведь недописанный "Октябрь Шестнадцатого" так был скуден подробностями ленинской жизни в Цюрихе, ничего ведь позаочью не представишь, – а теперь сам, вот, хоть завтра увижу? С благодарностью, не наотрез, но пока отклонил. Посидели сколько-то с Бёллями, не успели никакие мысли наладиться – снаружи известие: приехал и хочет меня видеть Дмитрий Панин с женой (со второй женой, с которой он эмигрировал, я её не знал). Я изумился: да ведь он же в Париже? с какой же лёгкостью так сорваться – и сразу перелететь? и не осведомить заранее? Да представляет ли он всё стеснение моего духа и времени сейчас? Но это был Митя Панин, мой лагерный друг, "рыцарь Святого Грааля", надо было его знать! Лет пять назад читал я рукопись его философской работы, как понять человечество и как его спасти. Допытывался у него: а – с чего же начать? что именно делать сейчас? Но ему всегда была важна только законченность конструкции мировоззренческой, а практика? – это мелкое дело, это сделает кто угодно второстепенный. (Неотчётливое ощущение реальности и возможных движений в ней. Так, в 1961 он резко осуждал, что я дал "Ивана Денисовича" в "Новый мир" и тем приоткрыл своё подполье: надо было продолжать таиться взакрыте.) Спасение нашего народа от коммунизма? да очень простое: надо убедить Запад дать общий слитный ультиматум: откажитесь от коммунизма или мы вас уничтожим! – вот и всё. И советские вожди несомненно капитулируют. (Я поднял его на смех.) Недоработка лишь в том, твёрдо видел он, что западные страны – в расстройстве, не действуют в одном строю, вот и де Голль безрассудно отъединился от НАТО. Чтобы их сплотить – надо действовать через Папу Римского ("крестовый поход!"). Два года назад Митя и взял на себя, так и быть, практическую эту задачу: он сам убедит Папу Римского! для этого вместе с новой женой выехал по её израильской визе. И был-таки принят Папой. Увы, Папа не усвоил такого прямого и простого образа действий. Тогда Митя стал готовить почву сам, издал книгу "Записки Солодина" (его фамилия в "Круге первом") и ездил по Европе с презентациями её и с афишами, где с малого фото была увеличена наша с ним обнимка по плечам. Лекции были призывно-боевыми, всем безотлагательно подниматься и сплываться против коммунизма, – но неразумные европейцы откликались вяло. Часть из этого я знал ещё в СССР по левым письмам и газетным вырезкам, остальное он досказал мне теперь. Мы присели с ним в первой комнате, а жена его перешла в гостиную, к красным свечам и нашей остальной компании. Так вот с чем приехал Митя: немедленно объявить и продемонстрировать перед этим скопищем прессы наш с ним Блок и Союз против коммунизма, насмерть. (Распределение обязанностей он всегда понимал и писал мне так: ты стремительный фрегат с расцветченными парусами, а я в нём – трюм идей, арсенал, вместе мы будем непобедимы!) Боже, как это не вмещалось не только в мои первые часы прилёта, не только в мои усилия осваиваться в новом положении, но в простое же человеческое жизненное понимание: ну, кто же так чего-нибудь добьётся? ну, только на смех себя выставить. Нет! Митя этого не понимал. Бесплезно прошли все мои доводы, он был больно ранен моим отказом, забрал жену и уехал в обиду, если не в гнев. А тут новый вызов: приехал и просится ко мне Янис Сапиет из русской секции Би-Би-Си (известный всем слушателям как "Иван Иванович") – ну как его не принять? И – теплейший, милейший оказался человек, и голос какой знакомый издавна. Уговорил он меня записать тут же интервью – да ведь для советских слушателей, и в самом деле надо. Записал (а что – не помню.) Мой паспорт на руках, можно бы и ехать, не утомляя больше Генриха. (Как бы не так! весь мир узнал, что я у него, – и теперь почти месяц будут литься сюда телеграммы, письма, книги – и его

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru секретарю труд регистрировать и всё пересылать в Цюрих.) И Бетта, и Хееб думали, конечно: лететь. Германию, значит, и глазком не посмотрим? А нет ли подходящего поезда? Нашёлся: завтра утром сядем в Кёльне и ещё засветло будем в Цюрихе. Великолепно. Утром рано простились с гостеприимными Бёллями, поехали автомобилем. (А их всё ещё стояло несколько десятков в узких улицах посёлка, теперь все заворачивали ехать за нами.) Вкратке достигли кёльнского вокзала, ничего в окно не рассмотрев, и наспех поднялись, чуть не лифтом, на нужный перрон, за две минуты до прихода нашего поезда. Но эти две минуты! Прямо передо мной, ничем не загороженный, во всю свою стройность стоял – красавец, нет, слово не то, – чудо, Кёльнский собор! Даже не изощрённая отделка, а сколько глубины мысли и тяги к небесам в этих башнях, в этих шпилях. Я задохнулся и смотрел, разинув рот. (А проворные корреспонденты, уже на перроне, фотографировали, "как я смотрю".) И тут же подошёл и поглотил нас поезд. День распоживался, и смотреть в окно можно было без помех, с видами вдаль. Наш маршрут – у самого Рейна, по левому берегу его, через Кобленц и Майнц. Но Рейн казался грязным, опромышленным, уже и не поэтичным, даже около утёса Лорелеи (показали мне его). А до нынешней порчи, наверно, было картинно. Да главной красоты, многовековой угнеженности старых улочек и домов, – из проходящего поезда и не заметишь. Как бывало в Москве: едва только встретимся с Беттой, Аля или я, идёт огневой обмен конспиративными сообщениями, – а сейчас беспрепятственно бы обсудить что угодно, а мысли никак не соберутся. Отойдя от сотрясения, его ощущаешь даже больше. Уже известно было по пути, каким поездом меня везут, – и на станциях к вагону толпились кучки любопытных. Просили автографы на немецкое издание "Архипелага", я давал, то с вагонной площадки, то через окно, меня фотографировали, и всё в этой полосатой каторжанской рубашке, много таких снимков напечатано в Германии. Середина февраля, а днём стало уже и жарко. После полудня достигли Базеля, проверка и на немецком вокзале, и на швейцарском. Пограничники меня уже ждали, приветствуют, тоже просят автограф. Теперь покатили по уютнейшей тесной Швейцарии, долинами между гор. Вокзал в Цюрихе, не говорю наш перрон, но и все другие перроны, и асфальтный влив с площади и дальше площадь – всё было густо забито народом. Никакая полиция не могла оберечь, давка оказалась смертная, без преувеличения. Сжало нас в тисках, очень выделялись на защиту два высоченных швейцарца, издатели из "Шерца" ("Архипелаг" на немецком), выглядели они прямо-таки самоотверженными, с риском для себя освобождали перед нами хоть сантиметры. Казалось: можем и не выйти целыми? По-крохотному, помалу, помалу, наконец долились до ожидающего автомобиля, меня как пробку туда толкнули, затем я долго там сидел, окружённый извне доброжелательными и прямо восторженными, вопреки их характеру, швейцарцами, – пока собирали остальную нашу компанию, расселись, тогда поехали медленно, под всеобщее помахивание – и ещё сколько-то так на улицах. Цюрих с первого же моста, первых домов и трамваев выглядел очаровательно. Поехали на квартиру к Хеебу. Он жил где-то в окраинной части города, в этажных домах новой постройки. Тотчас за нами корреспонденты обложили весь дом. Требовали, чтоб я вышел и сделал заявление. Не могу. Тогда – просто попозиловать. Но и это было уже сверх сил, не вышел. (А в прессе накоплялась обида.) Вскоре предупредили меня, что на квартиру Хееба приехал приветствовать меня штаттпрезидент Цюриха (то есть глава города) доктор Зигмунд Видмер. В гостиную вошёл он, высокий, интеллигентный, с мягким, но торжественно напряжённым лицом, я поднялся ему навстречу – а он, с большим усилием и ошибками, произнёс приветственную фразу – по-русски! Тут я ответил ему двумя-тремя фразами немецкими (оживлялись клетки старой мозговой памяти и связывались цепочками) – он просиял. Сели, дальше говорили через Бетту. Напряжённость ушла, он оказался действительно очень мягким и милым. Выражал самые радушные чувства, предлагал всяческую помощь в устройстве. Арендовать квартиру? А в самом деле: пожить у Хееба день-два, а дальше? Что-то надо решать. Но решать – я ничего не находил. Да катились на меня требования, вызовы, советы. Через какой-нибудь час уже звонил из Америки сенатор Хелмс, в трубку переводчик приглашал меня немедленно ехать из Цюриха в Соединённые Штаты, там меня бурно ждут. Ещё вскоре из Штатов же – Томас Уитни, переводивший "Архипелаг" на английский, знакомый мне пока лишь по имени. – Ещё звонок, низкий женский голос, по-русски, с малым акцентом: Валентина Голуб, мать её из Владивостока увёз отступающий чех в 1920; а Валентина с мужем-чехом бежали из Праги от советской оккупации – и теперь здесь, в Цюрихе. "Нас тут, чехов-эмигрантов, шесть тысяч, мы все вам поклоняемся, готовы для вас на всё, рассчитывайте на нас!" И предлагают любую бытовую помощь, и русский же язык. Я – тепло благодарен, да мы перед чехами за август 1968 кругом виноваты, и это – уже настоящие мне союзники. Уговариваюсь о встрече. А вот ещё какая телеграмма из Мюнхена: "Все радиопередатчики радиостанции "Свобода" к вашим услугам, открыты для вас. Директор Ф. Рейнольдс". Вбо как! Говори на весь СССР, сколько хочешь.

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru Да, наверно, и надо же! Да разве дадут хоть минуту сообразить? Кажется, не в этот вечер, а в следующий, но уж доскажу тут. С низу лестницы, где стоит полицейский пост (а то бы все хлынули сюда, в квартиру), докладывают: рвётся ко мне, просит принять писатель Анатолий Кузнецов. Ах, тот самый Кузнецов, "Бабий Яр", поразивший в 1969 своим уходом на Запад (под предлогом изучать ленинское бытие в Лондоне – ну, вот как я сейчас буду в Цюрихе?), но и тем же, что отныне стыдится фамилии Кузнецов (ибо по требованию советских властей он судился против своего западного самовольного издателя) и потому отныне все свои будущие романы будет подписывать "Анатоль" (а будущих, за пять лет, и не оказалось). Пропустили его. А времени, поговорить – некогда, накоротке, на ходу. Маленького роста, подвижный, очень искренний и с отчаянием в голосе. Отчаянием, конечно, как неудачно у него всё сложилось, – но и отчаянной опаской за меня, чтоб я не наделал ошибок, как он: мол, кессонная болезнь, переход из сильного давления в малое опасен тем, что разорвёт! надо – сперва не делать заявлений, надо оглядеться. (И прав же он!) Ах, бедняга, и для этого летел из Лондона, вот на эти десять минут, предупредить меня, чтоб я и сам знаю? Я прекрасно понимаю, как надо остерегаться, я не только не рвусь к прессе, я не знаю, в какой рукав голову спрятать от её беспощадной осады. Так я и не вышел к репортёрам. Уже темно, спать бы? жена хееба даёт мне снотворное, всё равно не спится. Дохнуть бы воздуха. В полной темноте выхожу на балкон, 4-го этажа, с задней стороны дома, подышать в тишине, – и вдруг зажигается сильный прожектор, на меня, уловили! сфотографировали! ещё который раз. Не дают дохнуть. Ухожу с балкона. Ещё какие-то таблетки. В суматоху цюрихской вокзальной встречи угодил и Никита Струве – третья вершина опорного Треугольника. А Цюрих, оказывается, подходящее место: тут и адвокат, сюда из Вены легко приехать Бетте, из Парижа, вот, Никите. Отсюда легче распутывать наши дела, запутанные конспирацией. А ведь ждуться ещё и арьергардные бои за "невидимок", кого ГБ прижмёт. Был отдалённый друг за Железным Занавесом – а вот проступает и вживе. Невысокого роста, в очках, не поражая наружностью, ни тем более одеждой, лишь бы удовлетворительна, это и на мой вкус. А – быстрый, пронизательный взгляд, но не для того, чтобы произвести впечатление на собеседника, а себе самому в заметку и в соображение. С Никитой Алексеевичем оказалось всё так просто и взаимопонятно, как если б его не отделяла целая жизнь за границей: духом – он всё время жил в России, и особенно в её литературных, философских и богословских проявлениях на чужбине. В 1963 он книгой "Христиане в СССР" вовремя оповестил Запад о хрущёвских гонениях на Церковь. Вместе с тем широкий эрудит и в западной культуре. (Кончил Сорбонну, пробовал древние языки, арабский и их философию; остановился на русском языке, литературе.) Очень деликатен (не мешает ли это ему в издательской деятельности, там надо уметь быть суровым); как бы опасался проявить настойчивость, а всё высказывал в виде предположений (к этой его манере ещё надо привыкнуть, не пропускать его беглых замечаний). Ещё больше опасался впасть в пафос и при малом к тому повороте высмеивал сам себя. И вот досталось ему после провала "Архипелага" тайком-тайком готовить взрыв 1-го тома, главный удар в моём бою с ГБ. Пришлась публикация даже раньше, чем я надеялся, – ещё прежде русского Рождества и даже до Нового года; и несмотря на каникулярную на Западе пору – какой ураган звонков, запросов и требований обрушился на издательство "Имка" тут же. Дел у нас с ним предстояло множество. 2-й том "Архипелага" перестал быть таким срочным, как нам виделось в Москве, уж я теперь не так торопил. Но вот надо было срочно заново печатать брошюру "Письма вождям": уже готовое издание всё теперь не годилось из-за последних исправлений. А пора начинать и французский перевод "Телёнка" (плёнки ещё раньше прибыли тайным каналом). А ещё пора... Да все возможные публикации хотел бы я гнать скорей, скорей. Дальше не помню, какая-то карусель дня два-три. Ездили с супругами Видмерами (жена Элизабет оказалась сердечнейшая), с Беттой и со Струве в горы, посмотреть дом Видмеров, предлагаемый мне для уединённой работы. (Только тем оторвались от потока репортёрских машин, что штатдпрезидент своей властью устроил сразу позади нас трёхминутный запрет проезда.) Домик этот, на предгорном хребтике, очень мне понравился: вот уж поработаю! Зачем-то нужна была мне большая лупа, наверно наши вывезенные плёнки рассматривать. Заходим с Беттой в магазинчик, выбираю удобную лупу продавец со страстью отказывается брать с меня деньги; препираемся, но так и пришлось взять подарком (и очень к ней потом привык). Посещаем внушительную адвокатскую контору хееба на главной улице Цюриха, Банхофштрассе, тут в штате и жена, и сын его Герберт, симпатичный умный молодой человек, тоже тут служит, и ещё какая-то девица, и множество каких-то папок, папок, не до этого мне теперь. Да мне и очки срочно нужны, по соседству заказываю очки. Потом мы всей компанией должны где-то пообедать, и тут я их всех (кроме Бетты) поражаю, что в ресторан не хочу: истомляет меня эта чинная обстановка, размеренно-медленный (потеря времени!) культ поедания, смакования, за всю советскую жизнь, 55 лет, кажется

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru
раза два только и был я в ресторане, по неотклонимости (да ведь и жил на обочинах жизни и постоянно без денег). Сейчас, да при всеобщем внимании, появиться в ресторане – мне со стыда сгореть. Хееб явно шокирован, но я прошу ехать в какую-нибудь простую столовую, да чтобы побыстрее. Хееб с Беттой советуются, не без труда находят, вне центра города, столовую при каком-то производстве. Рабочие и служащие густо сидят, видят меня, узнают, приветствуют, корреспондентов в этом месте почему-то не помню. Но по улицам они нас сопровождают и бесцеремонно подсовывают к моему рту длинные свои микрофонные палки: записать, о чём я разговариваю со спутниками. Не только ни о чём секретном, но вообще ни о чём нельзя сказать, чтоб не разнесли тут же в эфир. Меня взрывает: я требую, чтоб они прекратили и отвязались: "Да вы хуже гебистов!" Отношения мои с прессой всё портятся и портятся. Но главное же! – ленинский дом посмотреть, Шпигельгассе. Какое скрещение, какая удача! почти не выбирая, попал я на жилу "Октября Шестнадцатого", на продолжение начатых ленинских глав! В первую же прогулку и идём с Беттой. (А зря: получилась необдуманная демонстрация, в газетах написали: пришёл поклониться дому Ленина!) Предвкушаю, сколько теперь могу в Цюрихе собрать ленинских материалов. Как раз в эту прогулку настиг меня на улице Фрэнк Крепо из Ассошиэйтед Пресс, тот милый благородный Крепо, который так помог мне в разгар встречного боя, утвердиться тогда на ногах, – и как же теперь отказать ему в интервью в благодарность? Дал небольшое. [1]* (небольшое – то небольшое, но что во мне горело – судьба архива, без которого я не мог двигаться, а какая у Али с ним уже удача – я не знал и наивно придумал пригрозить Советам: не отпустят архив исторический – буду лепить им о современности.) Однако другие корреспонденты, бредущие за нами толпой, видели, как Крепо подошёл ко мне на улице, я обрадовался – и через несколько часов у него уже интервью. Кто-то, из зависти или оправдать свою неудачу, дал сообщение, что Крепо привёз ко мне из Москвы тайное письмо от жены (а ничего подобного). На следующий день читаем это во всех газетах. А для Крепо это – закладка, ему сейчас откажут в советской визе, корреспонденту запрещено такое! Он подавлен. Значит, что же делать? Значит, новое заявление прессе, по этому поводу. К их толпе перед домом Хееба вышел и выражаю возмущение такой дезинформацией. А пусть-ка тот корреспондент, да само агентство или газета извинятся. Наивен же я был, что раскается корреспондент, агентство или газета! хваткой, углядкой, догадкой они и соперничают, на том и стоят, сколько стоят. Так, уже случай за случаем, эти первые дни на Западе, дни открытого сокосновения с кипящей западной "медиа", – вызвали у меня неприятное изумление и отталкивание. Во мне поднялось густое неразборное чувство сопротивления этим дешёвым приёмам: грянула книга о гибели миллионов – а они какую мелкую травку выщипывают. Конечно, это было неблагоприятно с моей стороны: вот такая западная медиа, как она есть, – она и построила мне мировой пьедестал и вызволила из гонений? Впрочем, не только она: бой-то вёл я сам. И хорошо знали гебисты, что если посадят меня, то тем более всё будет напечатано, и им же хуже. Пресса же спасала меня и по инерции сенсации. И по той же инерции, вот, всё требовали и требовали заявлений, и не понимали моего упорства. Думали: молчу, пока семью не выпустили? Но уже уверен я был, что не посмеют не выпустить. Или – архивов не пропустят? Так и ясно было, что ни бумажки не пропустят, а всё зависит от находчивости Али и помощи наших доброжелательных иностранцев. Нет, не это. Сработал во мне защитный писательский инстинкт: раньше моего разума он осознал опасность выговориться тут в балаболку. Я примчался на Запад на гребне такой размахистой волны, теперь бы мог изговориться, исповторяться, отбиться от дара писания. Конечно, политическая страсть мне врождена. И всё-таки она у меня – за литературой, после, ниже. И если б на нашей несчастной родине не было погублено столько общественно-активных людей, так что физикам-математикам приходится браться за социологию, а поэтам за политическое ораторство, – я отныне и остался бы в пределах литературы. А тут ещё столкнулся с западной медиа в её яростном расхвате: подслушивают, подсматривают, фотографируют каждый шаг. Да неужели же я, не притворявшись перед Драконом на Востоке, – буду теперь притворяться и угождать перед этими на Западе? Окутываете меня славой? – да не нужна она мне! Не держался я ни одной недели за хрущёвскую "орбиту" – ни одной и за вашу не держусь. Слишком отвратными воспринимал я все эти ухватки. "Вы хуже гебистов!" – эти слова тотчас разнеслись по всему миру. Так с первых же дней я много сделал, чтоб испортить отношения с прессой. Сразу была заложена – и на многие годы вперёд – наша ссора. А вторая – безоткладная атака, не дающая подумать и очнуться, была – от почты. Ещё я нигде не жил, ещё не решил, где жить, квартировал дней несколько у Хееба – уже привозил он ящиками телеграммы, письма со всего мира, тяжёлые книги (а к Бёллю катились само собой) – да на всех мировых языках, и безнадежно было их хоть переосмотреть, перебрать пальцами, не то чтобы читать и отвечать. Да эти ящики – первые настойчиво требовали: куда ж

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru их складывать? где я живу? Надо было скорей определить, где я живу. У меня издавна была большая симпатия к Норвегии: северная снежная страна, много нбочи, печей, много дерева в быту и посуда щепенная, и (по Ибсену, по Григу) какое-то сходство быта и народного характера с русским. А ещё же в последнее время они меня защищали и приглашали, где-то уже "стоял письменный стол" для меня, - у нас с Алей было предположено, что если высылка - то едем в Норвегию. (И Стига Фредриксона я тогда приглашал быть моим секретарём в предвидении именно скандинавской жизни.) Конечно - не в Осло, но в какую-нибудь глушь, рисовалось так: высокий обрывистый берег фиорда, на обрыве стоит дом - и оттуда вдаль вид вечно бегущего стального океана. Так надо немедленно ехать смотреть Норвегию! Моя поездка тотчас по высылке привлекла внимание и удивление. (Аля в Москве услышала по радио - не удивилась: поехал искать место.) На железнодорожных станциях Германии и Швеции узнавали меня через окно с перрона, на иных станциях успевали встретить делегации, по Копенгагену водили целый день почётно - уже на вокзале: пить пиво в полицейском участке, и малый их духовой оркестрик играл мне встречный марш. Потом - по улицам, с председателем союза датских писателей, осматривать достопримечательности, и всход на знаменитую Круглую башню. (Тут я увидел и церемонийный развод стражи в медвежьих шапках у королевского замка - о котором раньше только рассказ в Бутырках слышал.) Наконец - и в парламент, пустой зал, заседания не было. Дальше потащили меня в союз писателей, на вручение какой-то здешней премии. Говорили все по-датски, не переводя, я сидел-отдыхал-кивал, а после церемонии какой-то из писателей подошёл ко мне вплотную и, наедине, впечатал выразительно на чистом русском: "Мы вас ненавидим! Таких как вы - душить надо", - красный интернационал так сразу же мне о себе напомнил. Вечером того дня мы с Пером Хегге, старым знакомцем по Москве, тогда ещё ещё корреспондентом "Афтенпостен", поплыли на "пароме" (большом пароходе, со многими сотнями пассажиров, с буфетами, развлечениями и аттракционами для них) в Осло. Мне и побродить было невыносимо сквозь это шумное многолюдье, в каюте я лёг и пролежал ночь пластом. А утром, войдя уже в залив, на подходе к Осло, позвали меня в капитанскую рубку, посмотреть их технику слежения-вождения и полюбоваться видом. Уже в тёплой куртке, купленной с Беттой в Цюрихе, вышел я и на высокий нос, холодный был ветер, но прозрачно солнечный воздух, - и увидел внизу у пристани кучки людей с плакатами "God b'less you", не сразу и догадался, что это - ко мне относится. Долго мы причаливали, сходила толпа - эти доброжелатели дожидались меня и светло встретили. Шли по длиннейшей главной улице, Хегге сказал: "Знаете, кто это вот сейчас на тротуаре с вами поздоровался? Министр иностранных дел". Да, не в лимузине ехал в министерство, не в "чёрной волге", а пешком. (Вспомнил я опять же бутырский рассказ Тимофеева-Ресовского, что и норвежский король ходит пешком по Осло и без охраны.) Теперь и тут - в парламент, и тоже не день заседаний, но встретил меня парламентский президиум. Тут я объяснил в первый раз цель своего приезда, и председатель парламента, указав на свод законов, обещал их полную защиту, пока стоит Норвегия. Но главный поиск мой был - фиорд, какой-нибудь фиорд для первого присмотра, и мы с Пером Хегге и норвежским художником Виктором Спарре, очень самобытным, поехали мимо главного норвежского озера Мьёсиншё с голубой водой, валунными берегами, а выше - чёрно-лесистыми горками; и дальше долинами реки Леген и Гудбрандской, углубляясь в норвежские горы, суровые, с причернью обнажённых отвесных скал, до фиолетовости тёмной синевой оснований и замёрзшими на высоте сине-зелёными водопадами. В доме художника Вейдеманна принимали нас с норвежско-русской радушностью, и открывалось нам "ты", так же естественное в норвежском языке, как в русском, и норвежский горец дарил мне свой кинжал в знак братства. И все зданья - дома и церкви, были рублены из брёвен, как у нас, а крыты иные - берёстою, и только двери окованы фигурным железом. На заборах торчали снопики овса и проса для малых птиц, чтоб они не погибли зимой. Ехали мимо деревянных церквей - зданий ещё IX века, с языческими украшениями на крышах (крестил население тут - король Олаф II, топором, в начале XI века), перед входом в ограду - столб с железным замыкаемым ошейником для выставляемых грешников (не в одной проклинаемой России подобные меры применялись!) и оружейными хижинами перед церковью, где вооружённые прихожане оставляли оружие. Суровость, зимность и прямота этой страны прилегали к самому сердцу. Верно я предчувствовал: такое где ещё сегодня найдёшь на изнеженном Западе? В этой обстановке - я мог бы жить. (И по норвежскому телевидению, первому, по которому мне нельзя было не выступить, я сказал, нахожу теперь черновую запись: "Норвежцы сохранили долю спасительного душевного идеализма, которого всё меньше в современном мире, но который только один и даёт человечеству надежду на будущее". Может быть, целиком по Норвегии это и не так, но в ту поездку и в те встречи я так ощутил.) И правда же: что значил и для Норвегии и для всей нашей одряхлевшей цивилизации плот "Кон-Тики"! Весь нынешний благополучный мир всё

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru дальше уходит от естественного человеческого бытия, сильнее интеллектуально, но дряхлеет и телом, и душой. Так, для решения проблемы, откуда мигрировали жители тихоокеанских островов, только и можно сидеть в удобстве с бумагами и обсуждать теории. А у Тура Хейердала хватило мужества утеранных нами размеров – отправиться доказать путь на примитивном плавучем средстве. И доказал! И вот покоится "Кон-Тики" в особом музейном здании национальной гордостью Норвегии – и я с почтением рассматриваю его. В гараже музея он кажется большим – но какая же щепка в океане... Так норвежцы мне по духу – наиболее близкие в Европе? Тут же меня везут и посмотреть какое-то продаваемое под Осло имение помнится, 170 гектаров, по ним рассыпана избыточная дюжина живописных, под старину, и с древними очагами домов – для кого это настроено? а в доме владелицы с вычурной обстановкой угощают шипучими напитками, покупайте имение за безделицу в 10 миллионов крон. Я, конечно, и близко не соблазнился, а может и жаль: тогда бы на 8 месяцев раньше узнал бы от Хееба о моих не слишком просторных денежных возможностях. В Осло же наткнулись мы, что в одном кинотеатре как раз идёт фильм об Иване Денисовиче. Конечно, пошли. Фильм англо-норвежский, Ивана Денисовича играет Том Кортни. И он, и постановщики приложили честно все старания, чтобы фильм был как можно верней подлиннику. Но что удаётся им передать – это только холод, холод и – условную – обречённость. А в остальном – и в быте, и в самом воздухе зэческой жизни – такая несхваченность, такая необоримая отдалённость, подменность. Журналисты спрашивали меня после сеанса – я, что ж? похвалил. Участники фильма – не халтурили, старались от сердца. Но самому так стало ясно, что никем как нашими – с советским опытом – актёрами этого не поставить. Зинула мне эта непереходимая, после советских десятилетий, пропасть в жизненном опыте, мировосприятии. (Ещё не видел я тогда позорного фильма "В круге первом", равнодушно-рвачески запущенного в мир.) И – разве мне дождаться при жизни истинной постановки? Гнались за мной корреспонденты уже и по Норвегии, так что когда мы ночевали у Вейдеманна (сам он был в отъезде), – то под горой полицейский пост перегородил дорогу преследователям. И еле пропустил ко мне... внезапно приехавшего из Москвы – Стига Фредриксона! Родной, рад я ему был как! Он смущён: дала ему Аля записку ко мне, он спрятал в транзисторный приёмник, но гебисты прерасно догадались проверить и отобрали, и содержания утеранного он не знал. А главное: могли его теперь попереть из Москвы, лишиться аккредитации. Значит, доследились до нашей с ним связи? Но – что в доме там?? Тут я узнал: пока обыска не было, ничто не взято. Наружное наблюдение – круговое, прежнее, но через Стига и других дружественных корреспондентов (вот тебе и пресса! это – другая пресса) Аля разослала важную часть моего архива по надёжным местам. Нет и теперь уверенности, что с обыском ещё не придут. Но все близкие держатся хорошо, в квартиру к нам безбоязно приходят, Аля ведёт себя твёрдо, молодцом, главнокомандующим. Теперь назад со Стигом все сведения и впечатления для Али я уж, конечно, не писал, передал устно. А к фиорду мы с Хегге подъехали в Андальсне, и оказался он отлогобербегий извилистый морской залив, а горы – отступя. Не виделся тот обрыв, на котором у самого океана ставить бы дом изгнанника. Был я на Западе уже больше недели, внутри меня менялось восприятие и понимание, но что-то требовалось, чтобы дозреть. Вот эта морская вьёмистость низменного берега вдруг дояснила мне то, что зрело. Находясь в брюхе советского Дракона, мы много испытываем стеснений, но одного не ощущаем: внешней остроты его зубов. А вот норвежское побережье, изнутри Союза казавшееся мне какой-то скальной неприступностью, вдруг дало себя тут понять как уязвимая и желанная атлантическая береговая полоса Скандинавии, вдоль неё недаром всё шныряют советские подводные лодки, – полоса, которую, если война, Советы будут атаковать в первые же часы, чтобы нависнуть над Англией. Почти нельзя было выбрать для жительства более жаркого места, чем этот холодный скальный край. Дело в том, что я никогда не разделял всеобщего заблуждения, страха перед атомной войной. Как во времена Второй Мировой все с трепетом ждали химической войны, а она не разразилась, так я уже двадцать лет уверен, что Третья Мировая – не будет атомной. При ещё не готовой надёжной защите от летящих ракет (у Советов она куда дальше продвинута пока) лидеры благополучной, наслаждённой своим благополучием Америки, проигрывающие войну во Вьетнаме своему обществу, – никогда не решатся на самоубийство страны: на первый атомный удар, хотя б Советы напали на Европу. А для Советского Союза первый атомный удар и тем более не нужен: они и так заливают красным карту мира, отхватывают в год по две страны, – им повалить сухопутьем, танками по североевропейской равнине, да вот прихватить десантами и норвежское побережье, как не упустил Гитлер. (Оттого-то СССР охотно взял обязательство не нанести атомного удара первым, он и не нанесёт.) Так, ступя на берег первого фиорда, я понял, что в Норвегии мне не жить. Дракон не выбрасывает из пасти дважды. А ещё за норвежские дни я задумался: на каком же языке будут учиться наши дети? Кто понимает норвежский в мире? А печатаешь что-нибудь в

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru скандинавской прессе – в мире едва-едва замечают, или вовсе нет. Возвращался в Швейцарию – опять поездами, через Южную Швецию, парбомом (теперь другим, для перевозки поездов), Данию, Германию, чтобы больше повидать Европу из окна. (Парому знаменательно пересек путь советский корабль, и, при близком виде советского флага, так странно было ощутить свою отдельность от СССР. С того же парома, в предвечерних сумерках, силился я разглядеть поподробней гамлетовский Эльсинор.) Ехал – и перебирал, перебирал мысленно стрбаны. Ещё как будто много оставалось их не под коммунизмом, а как будто и не найдёшь, где же приткнуться: та – слишком южная, та беспорядочная, та – по духу чужа. Ещё одна, кажется, оставалась в мире страна, мне подходящая, – Канада, говорят – сходная с Россией. Но текли недели, ждалась семья, откладывать с выбором было некогда. Да Цюрих – подарок какой для ленинских глав. Да и нет уже времени ездить выбирать, – ладно, пусть пока Швейцария. И остался я в крупном городе – как не любил, не предполагал жить. Хотя правильно выбирать главное место жительства сразу и окончательно – в те первые западные месяцы никак было не до выбора его. Слишком много наваливалось, тяготело или ждалось. А Зигмунд Видмер времени не терял. Тотчас по моему возврату предложил арендовать в возвышенной университетской части города, в "профессорском" квартале, половину дома. (А кроме того же – распоряжаться половиной его собственной дачки на цюрихском нагорьи, в Штерненберге.) Поехал я посмотрел. Скученные друг ко другу соседние дома, да в Цюрихе везде же так, а есть маленький, на две сотки, зеленотравный дворик, и место сравнительно тихое, по изгибу улицы Штапферштрассе, и движение небольшое (прицепилось спереди это "ш", а "тапферштрассе" была бы – "Храбрая улица" или "Неустрашимая"). Предлагаемые мне полдома, по вертикали, – подвал хозяйственный, но и с просторной низкой комнатой, можно детям зимой играть; на первом этаже гостиная и столовая с кухней, на втором – три спальни, и ещё мансарда скошенно-потолочная, из двух комнатёнок – вот тут и писать можно. Ещё и чердачок поверх крутой лесенки. Не успел я поблагодарить и согласиться – на следующий же день городская управа привезла в аренду кой-какую мебель (можно потом вернуть, а понравится – купить). Но и ещё не успела эта первая мебель стать неуверенными ножками в разных комнатах, как лучшую и просторнейшую из них, прямо по ковровому полу, стали заваливать ворохи привозимых из конторы Хееба телеграмм, писем, пакетов, брошюр, книг: те хотели меня поздравить с приездом, те – пригласить в гости, другие – убедить что-то немедленно читать, третьи – что-то немедленно делать, заявлять или с ними встречаться. Знал я уже по взрыву после "Ивана Денисовича", как в таком всплеске перемешивается и порывистая сердечность, и звонкая пустота, и цепкий расчёт. (А враждебные письма поразительно: и здесь были анонимные, ну казалось бы – чего им бояться?) Знал, что нет надёжнее и пустее направления деятельности, как сейчас бы заняться разборкой и классификацией этого растущего холма: на многие месяцы он охотно обещал съесть все мои усилия, а начни отвечать – только удвоится, а не стань отвечать никому – перейдёт в сердитость. Сладок будешь расклюют, горек будешь – расплюют. Я предпочитал второй путь. (Ещё бы были письма на скольких языках – на всех главных и вплоть до латышского, венгерского; представляли люди, что у меня сразу же по приезде и контора работает?) Тут взялась мне помогать энергичная фрау Голуб. На сортировку писем дала двух студентов-чехов, они приходили после занятий. Что-то с посудой мне придумала; раз принесла готовую куриную лапшу, другой раз суп с отварной говядиной (такую точно ел в последний раз году в 1928, в конце НЭПа, никогда с тех пор и глазами не видел). Показала близкие магазины, где что покупать без потери времени. Очень выручила. Стал я и хозяйничать. Дом запирался, а калитка сорвана, пока нараспашку. Ну, не сразу же узнают, где я, ничего? Как бы не так: в первые же сутки какой-то корреспондент выследил моё новое место, тихо отснял его с разных сторон – и фотографии в газету, с оповещением: Солженицын поселился на Штапферштрассе, 45. Ах, будь ты неладен, теперь кто хочешь вали ко мне в гости. И действительно, в распахнутую калитку стали идти, и шли, цюрихские или приезжие, кто только надумал меня посетить. (Приходили и типы весьма сомнительные, мутные, по их поведению и речам.) Пока я ездил в Норвегию – а события своим чередом. В американском Сенате сенатор Хелмс выступил с предложением дать мне почётное гражданство США, как в своё время дали Лафайету и Черчиллю, только им двоим. [2] Теперь со специальным нарочным он прислал мне письмо с приглашением ехать. [3] Ещё в моём доме не было путём мебели, не включена потолочная проводка после ремонта, на полах груды неразобранных писем и бандеролей, никакой утвари, и на единственной крохотной пишущей русской машинке, какая в Цюрихе нашлась, я выстукивал ему ответ [4] – политически совсем не расчётливый, но в моём уверенном сопротивлении: не дать себя на Западе замотать. Политическому деятелю мой, в этом письме, отказный аргумент кажется неправдоподобным, измышленной отговоркой: в моём сенсационно выигрышном положении – не рваться в гущу публичных приветствий, а "с усердием и

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru вниманием сосредоточиться"? Но я именно так и ощущаю: если я сейчас замотаюсь и перестану писать – то приобретенная свобода потеряет для меня смысл. Из лавины писем выловили, дали мне приглашение и от Джорджа Мيني, от американских профсоюзов АФТ–КПП. [5] Потребительница всего нового и сенсационного, Америка ждала немедленно видеть меня у себя, и такая поездка в те недели была бы сплошной триумфальный пролёт и, конечно, почётное гражданство, – но я должен бы ехать тотчас, пока в зените, нарасхват, этот миг был неповторимый, общественная Америка – страна момента (как отчасти весь общественный Запад). (И Советы так и ждали, что я поеду, и в оборону мобилизовали десяток писателей и всё АПН, гнали целую книжку против меня на английском, "В круге последнем", полтора ста страниц, и в мае советское посольство её рассылало, раздавало по Вашингтону*.) Но я по духу – оседлый человек, не кочевник. Вот приехал, на новом месте столько забот по устройству – и что ж? всё кинуть и опять ехать? А в Америке – что? новые бурные встречи, и уже не отмолчишься перед ТВ и газетами, аудиториями, – и молоть всё одно и то же? в балаболку превращаться? Вели меня совсем другие заботы. Первая – спасётся ли мой архив? Эти, уже почти за 40 лет, с моего студенческого времени, мысли, соображения, выписки, подхваченные из чьих-то рассказов эпизоды революции, на отдельных листиках буквочками в маковые зёрна (легче прятать)? а за последние годы и концентрированный "Дневник романа", мой беседник в ежедневной работе? и сама рукопись ещё не оконченого "Октября", тем более – не спасённого публикацией, как уже спасён "Август"? и ещё, вразброс по Узлам, даже и до XIX-го, написанные отдельные главы? Вторая, очень тревожная, мысль: а вообще – сумею ли я на Западе писать? Известно мнение, что вне родины многие теряют способность писать. Не случится ли это со мной? (Некоторые западные голоса так уже и предсказывали, что меня ждёт на Западе духовная смерть.) И ещё: сохранится ли благополучен арьергард – оставшиеся в СССР наши друзья и "невидимки"? Если б сейчас поехать в Америку – осиротить наши тылы в СССР: уже нет постоянного адреса, телефона, "левой почты", да сюда в Цюрих может кто и связной придет, с известием, вот Стиг. (Он и приезжал вскоре.) В Союзе я держался до последнего момента так, как требовала борьба. На Западе я не ослабел – но не мог заставить себя подчиняться политическому разуму. Если я приехал действительно в свободный мир, то я и хотел быть свободным: ото всех домоганий прессы, и ото всех приглашителей, и ото всех общественных шагов. Все мои отказы были – литературная самозащита, та же самая – интуитивная, неосмысленная, прагматически рассматривая – конечно ошибочная, та самая, которая после "Ивана Денисовича" не пустила меня поехать в президиум Союза писателей получить московскую квартиру. Самозащита: только б не дать себя закружить, а продолжать бы в тишине работать, не дать загаснуть огню писания. Не дать себя раздёргать, но остаться собою. А международная моя слава казалась мне немеряной – но теперь не очень-то и нужной. И я выстукивал очередной отказ. [6] В одурашенном состоянии я лунатично бродил по пустому полудому и пытался сообразить, что мне первой и неотложней всего делать. Да не важней ли было ещё один долг выполнить? – перед моей высылкой мы с Шафаревичем надумали выступить с совместным заявлением в защиту генерала Григоренко. Но так и не успели. А составить был должен я, и появиться теперь оно должно в Москве, раз две подписи. В неустроенной комнате я и писал это первое своё на Западе произведение*. По "левой" почте послал его в Москву Шафаревичу. Там оно и появилось. На каждом шагу возникали и хозяйственные задачи, но не мог же я и совсем отказаться от разборки почты, просто ходить по этим пластам. А – чего только не писали! Какой-то старый эмигрант Криворотов прислал мне "Открытое письмо", большую статью (она была потом напечатана), обличая, что все мои писания – ложь, я только обманываю русский народ, ибо не открываю, что все беды в России от евреев, и ничего этого не показал в "Августе", ни в 1-м, вышедшем, томе "Архипелага". Пока не поздно – чтоб я исправился, иначе буду беспощадно разоблачён. (Позже были возмущения в эмигрантской прессе, как я "посмел не ответить" Криворотову.) И в других письмах были нарёки, что я – любимец мирового сионизма и продался ему. А ещё живой Борис Солоневич (брат Ивана) рассылал по эмигрантам памфлет против меня, что я – явный агент КГБ и нарочно выпущен за границу для разложения эмиграции. А Митя Панин из Парижа слал мне строжайшие наставления, что пора мне включаться в настоящую антикоммунистическую борьбу. Вот сейчас в Лозанне съедется группа непримиримых антикоммунистов из нескольких смежных стран, и Панин там будет, – и чтоб я там был и подписался под их манифестом. (Боже, вот образец, как от долгого заключения и одиночества мысли – срываются люди по касательной.) Тут, почти одновременно, проявились ко мне – Зарубежная Церковь и Московская Патриархия. От первой, вместе со священником соседнего с нами подвального храма о. Александром Каргоном (замечательный старик, мы потом у него и молились), приехали архиепископ Антоний Женевский (как я позже оценил, прямой, принципиальный, достойный иерарх) и весьма тёмный

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru архимандрит монастыря в Иерусалиме Граббе-младший, тоже Антоний, - очень он мне не понравился, неприятен, и сильно политизирован. (Через несколько лет попался на злоупотреблениях.) А общий разговор: ждут же от меня реальной помощи, примыкания и содействия Зарубежной Церкви (о какой другой и речи нет). В тех же днях приходит ко мне священник от Московской Патриархии (сын покойного писателя Родионова), он тоже рядом живёт, - и просит, чтоб я согласился на встречу у него дома с епископом Антонием Блюмом из Лондона (известным ярким проповедником, которого, по Би-Би-Си, знает вся страна). Соглашаюсь. И через несколько дней эта тайная встреча состоится. Епископ был не слишком здоров. Немного постарше меня. Врач по профессии, он избрал монашество, сперва тайным путём, в лоне Московской Патриархии. Теперь в ней же служит, и ещё ему долго служить. Спрашивает совета об общей линии поведения. Сдержанный, углублённый, взгляд с пбосверком. Но что я могу ему посоветовать? только жестокое решение: громко и открыто оповещать весь мир, как подавляют Церковь в СССР! Он отшатывается: это же - разрыв с Патриархией, и уже невозможность влиять с нынешней кафедры. А мне, ещё в размахе противоборства, непонятно: как же иначе сильнее в его положении послужить русскому православию? Нет, в состоянии взбаламученности, перепутанности, многонерешённости - всё никак не пробьёшься к ясному сознанию. Что-то я делаю не то, а чего-то самого срочного не делаю. Но не могу уловить. А в храм к отцу Александру я пошёл раз, пошёл два - был прямо схвачен за душу. Обыкновенный жилой дом. Спускаешься в подвал - все оконца только с одной стороны, близ потолка, и выходят прямо к колёсам грохочущего транспорта. А здесь, в подвале на сто человек, - пришло и молится человек десять, щемящий островок разорванной в клочья России, и почтенный священник, под 80 лет, в чередке молитвы грудно придыхает и со страданием, едва не стоном произносит: "О еже избавити люди Твоя от горького мучительства безбожных власти"! Мало помню в России церквей, где бы так проникновенно молилось, как в этом подвале как бы катакомбной церкви, тем удивительней, что снаружи, сверху, грохотал чужой самоуверенный город. Да никогда за всю жизнь я такого не слышал, в СССР это же не могло бы прозвучать. Раз в несколько дней звоню Але в Москву. Связь каждый раз дают, не мешают. Но много ли поговоришь? Вот обо всём, написанном выше, ведь почти ничего и нельзя. И Аля (занятая спасением архива, архива!) ведь ничего же не может мне о том процедить. Только, голос измученный: "Не торопи меня с приездом. Очень много хозяйственных хлопот". (Понимаю: других, посерьёзней. А ещё не осознал, что, ко всему, изматывают её полной ОВИРОВСКОЙ процедурой для семьи - все бумажки, справки, печатки, как если б они просились в добровольную эмиграцию, - хоть этим досадить.) Тут ещё у младшего сына воспаление лёгких, надо переждать его болезнь. Я - устраиваюсь в доме понемножку. Поехал с Голубами в крупный мебельный магазин, купил к приезду семьи сколько-то мебели, в том числе основательной норвежской, бело-древесной, хоть так внести Норвегию. Супруги Голубы "и сколько угодно ещё чехов" готовы мне во всём помогать, они во всём мои радители, объяснители и проводники по городу. (Хотя муж неприятный, видно, что злой.) Нужен зубной врач, говорящий по-русски? Есть у них, повезли. А уж терапевт - так и первоклассный. Юноша-чех переставляет мой телефон из комнаты в комнату, без нагляду. Вот кто-то хочет мне подарить горный домик у Фирвальдштетского озера - везут меня туда чехи, пустая поездка. (Место на горе - изумительное, а мотив подарка выясняется не сразу: если б я взял этот домик - даритель надеялся, что власть кантона проведёт ко мне наверх автомобильную дорогу, и как раз мимо домика самих дарителей.) Да не откажитесь встретиться с нашими чехами, сколько в нашу квартиру вместится! Я согласился охотно. Устроили такую встречу на квартире у Голубов. Набралось чешских новоэмигрантов человек сорок, видно, как много достойных людей, - и какая тёплая обстановка взаимного полного понимания (с европейцами западными до такого добираться - семь вёрст до небес и всё лесом). И какая это радость: собраться единомышленникам и разговаривать безвозбранно свободно. Да не откажитесь посетить нашу чешскую картинную галерею! Поехал. Хорошая художница, трогательные посетители. Да дайте же нам право переводить "Архипелаг" на чешский, мы будем забрасывать к нашим в Прагу! Дал. (Наперевели - и плохо, неумеючи, и растянули года на два, и перебили другому, культурному, чешскому эмигрантскому издательству.) Так же просили и "Прусские ночи" переводить - некоему поэту Ржезачу. Но не повидал я того Ржезача, как он настойчиво добивался. Даже тысячеосторожные, стооглядчивые, прошнурованные лагерным опытом - все мы где-нибудь да уязвимы. Ещё возбуждённому высылкой, сбитому, взмученному, не охватывая навалившегося мира - как не прошибиться? Да будь это русские я бы с оглядкой, порасспросил: а какой эмиграции? да при каких обстоятельствах? да откуда? - но чехи! но обманутые нами, но в землю нами втоптаные братья! Чувство постоянной вины перед ними затмило осторожность. (Спустя два месяца, с весны, я стал жить в Штерненберге, в горах у Видмеров, чувствовал себя там в безвестности, в безопасности ночного

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru одиночества, – а Голубы туда дорожку отлично знали. Позже стали к нам приходиться предупреждения прямо из Чехословакии: что Голубы – агенты, он был прежде заметный чешский дипломат, она – чуть не 20 лет работала в чешской госбезопасности. Стали и мы замечать странности, повышенное любопытство, необъяснимую, избыточную осведомлённость. Наконец и терпеливая швейцарская полиция прямо нас предупредила не доверять им. Но до этого ещё долго было а пока, особенно до приезда моей семьи, супруги Голубы были первые мои помощники.) Хотя знал же я, что в чужой обстановке всякий новичок совершает одни ошибки, – но и не мог, попав на издательскую свободу, никак её не осуществлять – так напирала мука невысказанности! С ненужной торопливостью я стал двигать один проект за другим. Издал пластинку "Прусские ночи" (через Голуба, конечно). У меня в груди напряглось за годы, что "Прусские ночи" – это важный удар по Советам. А по западному восприятию удар-то этот – по русским... Тут же начал переговоры (через Голуба, снова) о съёмке фильма "Знают истину танки", привезли ко мне чешского эмигрантского режиссёра Войтека Ясного, много времени мы с ним потратили, и совсем зря. А ведь у меня сценарий был – из главных намеченных ударов, я торопил его ещё из Москвы. А вот приехал сюда и сам – а запустить в дело не могу. Но ещё же – самое главное: "Письмо вождям Советского Союза"*. Ведь оно так и застряло в парижском печатании в январе, последние поправки остались при аресте на моём письменном столе в Козицком переулке (но Аля уже сумела, вот, дослать их Никите Струве), – так надо ж скорей и "письмом" громыхнуть! Я всё ещё не сознавал отчётливо, как "Письмо" моё будет на Западе ложно истолковано, не понято, вызовет оттолкновение от меня. Я только внутренне знал, что сделанный мною шаг правилен, необходимо это сказать и не дать вождям уклониться знать о таком пути. Высший смысл моего "Письма" был – избежать уничтожающего революционного исхода ("массовые кровавые революции всегда губительны для народов, среди которых они происходят", – писал я). Искать какое-то компромиссное решение с верхами, ибо дело не в лицах, а в системе, – устранить её. Так и написал им: "Смена нынешнего руководства (всей пирамиды) на других персон могла бы вызвать лишь новую уничтожающую борьбу и наверняка очень сомнительный выигрыш в качестве руководства". (Ибо, думал: почему надо ждать, что при внезапной замене этих – придут ангелы или хотя бы честные, работающие, или хотя бы с заботой о маленьких людях? да после 50-летней порчи и выжигания нашего народа всплывёт наверх мразь, наглецы и уголовники.) Конечно, не было никакой сильной позиции для такого разговора, и в моём письме была прореха аргументации: на самом деле коммунистическая идеология оправдала себя как великолепное оружие для завоевания мира, и призыв к вождям отказаться от идеологии не был реальным расчётом, но всплеском отчаяния. Я только напоминал им, насколько же сплошь ошибся марксизм в своих предсказаниях: экономическая теория примитивна, не оценивает в производстве ни интеллект, ни организации; и "пролетариат" на Западе не только не нищает, а нам бы его так накормить и одеть; и европейские страны совсем не на колониях держались, а без них ещё лучше расцвели; а социалисты получают власть и без вооружённого восстания, как раз развитие промышленности и не ведёт к переворотам, это удел отсталых; и социалистические государства нисколько не отмирают; да и войны ведут не менее ретиво, чем капиталистические. А китайскую угрозу я вздувал сильнее, чем она на самом деле уже тогда возросла, – но страх этот в стране жил, а о будущем – не загадывай тем более. Я не мог построить "Письма" сильнее, потому что силы этой не было за нами в жизни. Но я искал каждый поворот довода, чтобы протронуть, пробрать дремучее сознание наших неблагословенных вождей. "Лишь бы отказалась ваша партия от невыполнимых и ненужных нам задач мирового господства"; "достало бы нам наших сил, ума и сердца на устройство нашего собственного дома, где уж нам заниматься всею планетой"; "потребности внутреннего развития несравненно важнее для нас, как для народа, чем потребности внешнего расширения силы", "внешнего расширения, от которого надо отказаться". (Ох, да способны ли они до этого доразуметь?) "Вся мировая история показывает, что народы, создавшие империи, всегда несли духовный ущерб". (А – что им до духовного ущерба?) "Цели великой империи и нравственное здоровье народа несовместимы. И мы не смеем изобретать интернациональных задач и платить по ним, пока наш народ в таком нравственном разорении и пока мы считаем себя его сыновьями". (Да нешто они – "сыновья"? они – "Отцы"...) И в развитие этого, в отчаянной попытке пронять их бесчувственную толстокожесть: да хватит с нас заботы – как спасти наш народ, излечить свои раны. "Неужели вы так не уверены в себе? У вас остаётся вся неколебимая власть, отдельная сильная замкнутая партия, армия, милиция, промышленность, транспорт, связь, недра, монополия внешней торговли, принудительный курс рубля, – но дайте же народу дышать, думать и развиваться! Если вы сердцем принадлежите к нему – для вас и колебания не должно быть!" Но нет, – сердцем они уже не принадлежали... Просто мне страстно хотелось убедить –

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru даже не нынешних вождей, но тех, кто придёт им на смену завтра, или может их свергнуть. И призыв мой к Северо-востоку был – лишь как бы душевным остоянием перед невзгодами и разрывами, которые неизбежно ждут нас, как мне виделось. Мы ещё "обильно богаты неосвоенной землёй"; а "высшее богатство народов сейчас составляет земля" – простор для расселения, биосфера, почва, недра, – а мы-то довели свою деревню до полного упадка. Не то чтоб я хотел свести страну до РСФСР и компенсировать нас на неосвоенных пространствах Севера Европейской России и Сибири, – но я предвидел, что многие республики, если не все, будут отваливаться от нас неизбежно, – и не держать же их силой! "Не может быть и речи о насильственном удержании в пределах нашей страны какой-либо окраинной нации". Нужна программа, чтоб этот процесс прошёл безболезненно, хуже будет, если доведём до потери Северного Кавказа или южнорусских причерноморских областей. И о многом, о многом ещё написал, ведь такое пишется раз в жизни. Об упадке школы, семьи, о непосильном женском физическом труде; о бессмыслице для них же самих преследовать религию: "с помощью бездельников травить своих самых добросовестных работников, чуждых обману и воровству, – и страдать потом от всеобщего обмана и воровства"; да для верующих уж не прошу льгот, "а только: честно – не подавлять". И вообще: "допустите к честному соревнованию – не за власть! за истину! – все идеологические и все нравственные течения". И о том написал, что более всего невыносима "навязываемая повседневная идеологическая ложь", и пусть их брехуны-пропагандисты, если они воистину идейные, пусть агитируют за марксизм-ленинизм в нерабочее время, и не на казённой зарплате. И о том, что "нынешняя централизация всех видов духовной жизни – уродство, духовное убийство". Без 60 – 80 городов... "самостоятельных культурных центров... – нет России как страны, лишь какой-то безгласный придаток" к столицам. По логике моей жизни в Союзе – это "Письмо" было неизбежно, и вот годы проходят – я ни на миг с тех пор не пожалел, что послал его правительству; даже в дни провала "Архипелага". Для спасения страны – переходный авторитарный период, это верно. У меня же дымилось перед глазами крушение России в 1917, безумная попытка перевести её к демократии одним прыжком; и наступил мгновенный хаос. "А за последние полвека подготовленность России к демократии, к многопартийной парламентской системе, могла ещё только снизиться". Ясно, что выручить нас может только плавный, по виражам, спуск к демократии от ледяной скалы тирании через авторитарный строй. "Невыносима не сама авторитарность", "невыносимы произвол и беззаконие"; "авторитарный строй совсем не означает, что законы не нужны или что они бумажны, что они не должны отражать понятия и волю населения". Как этого всего не понять? С каким безумием наши радикалы предлагали прыгнуть на автомобиле с кручи в долину?.. Их жажда "мгновенной" демократии была порыв кабинетных, столичных людей, не знающих свойств народной жизни. А другого момента для "Письма", оказывается, и быть не могло, чуть позже – и навсегда бы упущено: выслан. И даже если б я в тот момент осознавал (но не осознавал), как это аукнется на Западе, – я всё равно послал бы "Письмо". Моё поведение определялось судьбой России, ничем другим. Надо думать, как воз невылазный вытаскивать. Однако осенние месяцы 1973 шли. "Письмо", конечно, в ЦК заглохло. (Да и станут ли его читать?) Готовился ко взрыву "Архипелаг". Очень предполагая в том взрыве погибнуть, хотел я опубликовать и свою последнюю эту программу вместе с ещё последней – "Жить не по лжи". Я видел только соотношение нашего народа и нашего правительства, а Запад был – лишь отдалённым местом моих печатаний, Запада я не ощущал кончиками нервов. Я никак не ощущал, что поворот от меня ведущей западной общественности даже уже начался два года назад: от Письма Патриарху – за пристальное внимание к православию, от "Августа" – за моё осуждение либералов и революционеров, за моё одобрение военной службы (в Штатах это пришлось на вьетнамское время!); не говоря уже, что и художественно их раздражало то, что я отношусь к изображаемому с сильным соучастием. На Западе же теперь литературное произведение оценивают тем выше, чем автор отрешённее, холодней, больше отходит от действительности, преображая её в игру и туманные построения. И вот, сперва нарушив законы принятой художественной благообразности, я теперь "Письмом вождям" нарушал и пристойность политическую. Под влиянием критики А. А. Угримова ("Невидимки") я впервые увидел "Письмо" глазами Запада и ещё до высылки подправил в выражениях, особенно для Запада разительных: ведь это было не личное письмо, а без ответа оставшаяся программа имела право усовершенствоваться. Но исправленья мои были мелкие, всё главное осталось, и не могло измениться. И теперь на Западе я, так же не вдумавшись, не понимая, какой шаг делаю, – гнал, торопил издание на русском, английском, французском. 3-го марта "Письмо" впервые появилось в "Санди таймс" (без потерянного в "Имке", я не знал, важного авторского вступления к "Письму", без чего оно не полностью понятно, искажилось). А для Запада теперь это выглядело так: от лютого советского правительства они защищали меня как демократического и

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru социалистического героя (мне же приписали взгляды Шулубина о "нравственном социализме", - потому что очень хотелось так понимать). Спасли меня - а я, оказывается, нисколько не социалист, и предлагаю авторитарность, и тому драконскому правительству какие-то переговоры, и даже уже с давностью полгода. Так я - не единомыслящий Западу, а то и противник? Кого ж они спасали? И после близких недавних восторгов - полилась на меня уже и брань западной прессы, крутой же поворот за три недели! Да если бы хоть прочли внимательно! - из отзывов и брани сразу выскочивало, что эти газетчики и не удосужились прочесть подряд. Тут впервые поразила меня, а потом проявилась постоянным свойством - недобросовестность. Не резче ли всех хлестала "Нью-Йорк таймс", отказавшаяся моё "Письмо" печатать? Но прослышав от Майкла Скеммела, что внесены какие-то поправки, добыла у простодушного Струве именно список поправок, и напечатала не само письмо, а только поправки, раздувая скандал. Газета теперь обзывала меня реакционером, шовинистом, империалистом. Тут и я онедоумел, и можно онедоуметь: в чём же империалист? Предлагаю Советам прекратить всякую агрессию, убрать отовсюду свои оккупационные войска, кому ж это плохо? пишу же: "цели империи и нравственное здоровье народа несовместимы", - нет, империалист!* А потому что всякий русский, как только выявит себя русским патриотом, - уже "империалист". Да больше всего их ранило, что я оказался не страстный поклонник Запада, "не демократ"! А я-то демократ - попоследовательней и нью-йоркской интеллектуальной элиты и наших диссидентов: под демократией я понимаю реальное народное самоуправление снизу доверху, а они - правление образованного класса. Замешательство и враждебное отношение к "Письму", возникшее в Соединённых Штатах, отразилось во втором письме сенатора Хелмса, приоткрывавшего и свою внутреннюю подавленную американскую (южную) боль. [7] Отвечая ему, я разъяснил свою позицию шире. [8] И тотчас, в поддержку этому возникшему в Штатах враждебному мне кручению, громко и поспешно добавил свой голос Сахаров. Чего я никак-никак не ожидал - это внезапного враждебного отголоска от Сахарова. И потому что мы с ним никогда ещё публично не спорили. И потому что за несколько дней перед тем он приходил в Москве к моей отъезжающей семье (долгий вечер сидели с друзьями на кухне, и песни пели, Андрей Дмитриевич подпевал), - и ни звуком же, ни бровью не предупредил меня через жену, что на днях будет отвечать. Конечно, не обязан, - но я-то свою критику его взглядов ("На возврате дыхания и сознания", 1969) передал ему тихо, из рук в руки, и пятый год не печатаю, никому не показываю. И в той критике своей, после детального чтения, я бережно подхватывал, отмечал и поддерживал каждый убедительный довод Сахарова, каждое его доброе движение. И что ж он сейчас не мог передать свой ответ и мне, с Алей? Если опасался послать письменный текст - то хоть что-то устное? и хотя бы с каким-то дружественным словом? Нет, на второй день как семья моя выехала, он - вчуже громыхнул на весь мир ответом, - да с какой поспешностью! как ещё не передавались самиздатские статьи: они обычно плыли ручной передачей, а тут - по телефону из Москвы в Нью-Йорк, к соратнику Чалидзе, 20 страниц по телефону! - какая же острая спешка, почти истерика, на Андрея Дмитриевича слишком не похоже, знать так горячо его склоняли, торопили - поспешить ударить! только сторонним влиянием и могу объяснить. И гебисты злорадно не прерывали этой долгой телефонной диктовки, как прерывают часто и мелочь. Но - ещё обиднее: так спешил Сахаров, что даже "Письма" моего, видно, не прочёл хорошо? или только по радио слышал, и вот по слуховой памяти? приписал моему письму, чего там вовсе не было. Например, такое: "стремление отгородить нашу страну... от торговли, от того, что называется обменом людьми и идеями", "замедление научных исследований, международных научных связей", замедление же и "новых систем земледелия", "отдать освободившиеся ресурсы государства" энтузиастам национально-религиозной идеи и "создать им возможность высоких личных доходов от хозяйственной деятельности". Наконец, "мечта Солженицына о возможности обойтись... почти что ручным трудом". Да побойтесь Бога, Андрей Дмитриевич, да ведь ничего этого в моём "Письме" нет, откуда вы взяли? Научная некорректность - это ж не ваша черта! Я - не ожидал. Но если вдуматься, ожидать надо было. Общественное движение в СССР, по мере всё более энергичного своего проявления, не могло долго сумятиться без проступа ясных линий. неизбежно было выделиться основным направлениям и произойти расслоению. И направленья эти, можно было и предвидеть, возникнут примерно те же, какие погibli при крахе старой России, по крайней мере главные секторы: социалистический, либеральный и национальный. Социалистический (братья Медведевы, спаянные с группой старых большевиков и с какими-то влиятельными лицами наверху) представлял наиболее организованное направление, очевидно, уже давно тяготился своим смешением и мнимой общностью с остальным Демдвижем (хотя и тот не порицал советского режима) - и первый поспешил с разрывом и нападательным действием: в ноябре 1973, едва только стихла громоздкая барабанная правительственная атака на Сахарова, - Рой Медведев напал на Сахарова

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru как бы в спину. Это многих тогда поразило. А вот теперь, едва кончилась правительственная расправа со мной, Сахаров, определившийся вождь либерального направления, атаковал меня. А мировой резонанс в тот момент был обеспечен. Сама атака шла в неравных условиях, да, но парадоксальным образом: из-за границы - туда, где Сахаров оставался во власти врагов, я не мог отвечать полновесно и остро. Именно моя свобода при его несвободе связывала мне руки. Но откуда такая тревожная поспешность этого отклика, его напряжённость? кажется, я не предлагал "вождям" ничего немедленного. Я усовещивал их впредь на большое время; а немедленно, вот сейчас - всех разгоняло, давило, секло коммунистическое правительство. Однако покидая неотложные опасности и заботы, Сахаров сел за некроткий ответ мне. Сама статья Сахарова* в большей своей части (но не до конца) выдержана в характерном для него спокойном теоретическом тоне. Во взглядах она почти неизменно повторяет его "Размышления о прогрессе", хотя тому минуло уже 6 лет. Сахаров так и писал: прежние общественные выступления "в основном по-прежнему представля[ются] мне правильными". Снова тот же "рационалистический подход к общественным и природным явлениям", и так же ему "само разделение идей на западные и русские непонятно". (А ведь это - не физика, не геометрия, это гуманитарность, и как же, не чуя этого разделения, нам высказываться по общественным проблемам? В гуманитарной-то области идеи во многом определяют именно средой своего рождения, традицией и менталитетом именно этого народа.) И тот же, во всей статье, планетарный образ мышления, не умелчанный до рассматривания национальной жизни: "нет ни одной важной ключевой проблемы, которая имеет решение в национальном масштабе", всё решит "научное и демократическое общемировое регулирование" (и перечисляет глобальные проблемы цивилизации, совсем опуская дух, культуру и собственно человеческую многомерную жизнь). В отличие от "Размышлений" на этот раз Сахаров определённо и категорично осуждает марксизм. Однако: "Солженицын излишне переоценивает роль идеологии". По его мнению "современное руководство страны" не идеологией ведбому, а "сохранением своей власти и основных черт строя" (какого же строя, если не марксо-ленинского? и каким же инструментом, если не идеологией? и если б не Идеология, с чего б они так испугались, придушили свою же, косыгинскую, неглупую экономическую реформу 1965 года?). Но странно: хотя моё "Письмо" было направлено именно к вождям, с призывом именно вождям отказаться от Идеологии, - у меня и слова нет, чтоб за эту идеологию держалось советское общество или народные массы, - Сахаров с непонятной рассеянностью не замечает этого, и трижды в своей статье, с усилием, в открытую дверь, спорит: "если говорить именно о современном состоянии общества [курсив мой], то для него характерна идеологическая индифферентность", "не надо переоценивать роль идеологического фактора в сегодняшней жизни советского общества", "Солженицын, как я считаю, переоценивает роль идеологического фактора в современном советском обществе". Странное оспаривание мимо предмета спора (тоже от торопливости прочтения?) - а ведь здесь ось сахаровского ответа. И проскальзывает, всё же, старая оговорка: "казарменный социализм", - будто кто-либо, когда-либо видел другой, будто Маркс вёл к какому-то "нестеснённому" социализму? и ещё характерна фраза: "...роль марксизма как якобы "западного" и антирелигиозного учения". Якобы антирелигиозного? якобы умершего? Ах, Андрей Дмитриевич, да живуча эта Идеология - и ещё как! ещё сколько будут держаться за неё, - именно за казарменное "равенство", казарменную "справедливость", чтобы только не взгрузить на себя бремя свободы. И уже не первый, не первый раз касается Сахаров русской темы в форме заёмно-распространённой: "в России веками рабский, холопский дух, сочетающийся с презрением к иноземцам, инородцам и иноверцам". (Как бы при таком презрении держалось бы 100-национальное государство?) Никак, А. Д., нельзя не сверяться с историками - С. Соловьёвым, С. Платоновым. И тогда узнаем, что на всём протяжении от Ивана IV до Алексея и Фёдора Россия тянулась получать с Запада знания и мастеров с их умением (и почётно содержала приехавших) - а отсекали им путь Ганза, Ливония, Польша да и прямое вмешательство Римского Престола: опасались все они усиления России. А с чего бы Петру понадобилось в Европу "прорубать окно"? Оно было снаружи заколочено. Выражает Сахаров и мнение, что "призыв к патриотизму - это уж совсем из арсенала официозной пропаганды". И вообще, спрашивает он: "где эта здоровая русская линия развития?" - да не было б её, как бы мы 1000 лет прожили? уже и ничего здорового не видит Сахаров в своём отечестве? И особенно изумился, что я выделил подкоммунистические страдания и жертвы русского и украинского народов, - не видит он таких превосходящих жертв. Дождалась Россия своего чуда - Сахарова, и этому чуду ничто так не претило, как пробуждение русского самосознания! Однако если подумать, то и этого надо было ожидать, подсказывалось и это предшествующей русской историей: в национально-нравственном развитии России русский либерализм всегда видел для себя (и вполне ошибочно) самую мрачную опасность. А с социалистическим крылом

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru (да даже и с отпочковавшимися коммунистами) они были всё-таки родственники, через отцов Просвещения. И опять у Сахарова всё та же наивная вера, что именно свобода эмиграции приведёт к демократизации страны; и только демократия может выработать "народный характер, способный к разумному существованию" (о да, несомненно! но если понимать демократию как устойчивое, действующее народное самоуправление, а не как цветные флаги с избирательными лозунгами и потом самодовольную говорильню отделившихся в парламент и хорошо оплачиваемых людей); демократический путь (разумеется, просто по западному образцу) – "единственный благоприятный для любой страны" (вот это и есть схема). И бесстрастно диктует Сахаров нашему отечеству программу "демократических сдвигов под экономическим и политическим давлением извне". (Давление извне! – американских финансистов? – на кого надежда!) А по центральному моему предложению в "письме" – медленному, постепенному переходу к демократии через авторитарность, Сахаров опять возражает мимо меня: "я не вижу, почему в нашей стране это [установление демократии] не возможно в принципе?", – так и я же не спору с принципом, только говорю, как опасно делать это рывком. Конечно, тон выступления Сахарова был неоскорбителен. Но к концу статьи он резко сменил его. И он был первым, кто назвал мои предложения "потенциально опасными", "ошибки Солженицына могут стать опасными". А если не прямо они, то "параллели с предложениями Солженицына" "должны настораживать". И если ещё не я сам проявляю опасения, то неизбежно опасными проявятся какие-то мои последователи – и к этой-то неотложной опасности было так торопливо его письмо. Перекрывая болтами мягкость лично ко мне, не упустил он вставить набатную фразу, и сильно не свою: "Идеологи всегда были мягче идущих за ними практических политиков". Запасливая фраза, практически-политическая, да почти ведь в точности взята со страниц Маркса-Энгельса. И эти-то сахаровские предупреждения, при начале капитулянтского детанта, пришлись Западу очень ко времени и очень были им подхвачены. По сути, только вот эти предостережения западная пресса вознесла и повторяла из статьи в статью, само "Письмо" почти не обсуждая. "Захватывающий дух диалог двух русских!" – пророчила она, несомненно ожидая, что дискуссия потечёт и дальше. И мне – очень хотелось ответить немедленно, конечно. Как и Сахарова, меня тоже смутило многое у него. Но скромный, малый, щадящий ответ, лишь смягчить самые выпирающие ошибки оппонента – был бы не в рост поднятым проблемам. Вопросы – все очень принципиальные, а мы с единомышленниками уже год как готовили в СССР широкий по охвату самиздатский сборник статей "Из-под глыб" – да высылка моя сорвала общую работу, теперь сборник откладывался с месяца на месяц, как-то надо было кончать его сношениями через железо-занавесную границу, нелегко. Так обгонять ли "Из-под глыб" с его взвешенными глубокими формулировками – поспешной газетной полемикой, которая всегда обречена быть поверхностной? Скрепя сердце пришлось от немедленного публичного ответа Сахарову отказаться. И когда 3-го мая журнал "Тайм" брал у меня интервью и прямо вызывал на ответ Сахарову – я ответил глухо, уклончиво. И, очевидно, зря: в западном сознании осталось, что Сахаров меня победно подшиб, как говорится, "один – ноль". Спустя полгода, в конце 1974, уже после "Из-под глыб", мой мягкий ответ Сахарову в "Континенте" – вовсе не был замечен: эмигрантский русский журнал не тянет против американской ведущей газеты, да уже многих западных газет. Да хоть бы я ответил и в "Нью-Йорк таймс"? – тогда искрились надежды разрядки: с коммунизмом можно договориться, и надо, да он вовсе уже не коммунизм! – как раз по Сахарову. Из статьи его получалось, что мой счёт коммунизму – чрезымерен, необоснован, опоздан, я – не объективный свидетель того, что делается в СССР; ядро моего "Письма" и моё сомнение в абсолютном и безусловном благе Прогресса он изобразил как тягу к реставрации старины. С тех-то пор, вот с этой сахаровской статьи, с постоянными ссылками на неё, и пошло перетёком по Западу, что Солженицын – антидемократ и ретроград. Но это я зашёл вперёд. А публикация "Письма вождям" произошла 3-го марта – и семьи моей ещё не было, и Аля по телефону настойчиво откладывала, и, можно было догадаться, не от вмешательства властей. А у меня была только сильно неустроенная полупустая трёхэтажная квартира, да ещё с неделю не починенная, не запертая калитка – и сам же Цюрих. Цюрих – очень нравился мне. Какой-то и крепкий, и вместе с тем изящный город, особенно в нижней части, у реки и озера. Сколько прелести в готических зданиях, сколько накопленной человеческой отделки в улицах (иногда таких кривых и узких). Много трамваев; изгибами спускались они к приречной части города с нашего университетского холма, от мощных зданий университета. (А из прошлого знаю: столько российских революционеров тут учились, получали дипломы в передышках между своими разрушительными рывками на родину.) Мне и усилий не надо было делать над собой: я уже весь переключился на ленинскую тему. Где б я ни брёл по Цюриху, ленинская тень так и висела надо мной. Сознательный поиск я начал с тех библиотек, где Ленин больше всего занимался: Церингерплац и Центральштелле (по многовековой устойчивости швейцарской жизни они, собственно,

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru и не изменились). Во второй работал эмигрант-чех Мирослав Тучек, весьма социалистического направления, но мне сочувственно помогал. От него я получил и недавнюю книгу Вилли Гаучи, где было собрано всё о пребывании Ленина в Цюрихе, страниц 300 немецкого; получил домой, в подарок от автора, тут же и навалился. И, совершенно неожиданно! – знакомство с фрицем Платтенем-младшим – трезвым сыном своего упоённого отца, того Платтена, который оформлял и прикрывал возврат Ленина через Германию в Россию, понёс его на своих крылах. Сын – уже не защищал отца, а объективно выяснял все скрытые обстоятельства того возврата. Дружески мы с ним сошлись (с удивлением я обнаруживал, как быстро восстанавливается мой немецкий). Бродил я и специально по ленинским местам, где он заседал в трактирчиках, как ликвидированный теперь "Кегель-клуб", и сколько раз проходил по Шпигельгассе, где Ленин квартировал, и по Бельвю к озеру. А другие цюрихские впечатления наваливались на меня мимоходом, случайно, – но затем, с опозданием и в несколько месяцев, я догадывался, что это же прямо идёт в ленинские главы – как ярчайшая картина масленичного карнавала, или могила Бюхнера на Цюрихберге, или богатая всадница на прогулке там же. Цюрихберг – лесистая овальная гора над Цюрихом, разумеется тщательно сохраняемая в чистоте, и тоже не первый век, место, куда Ленин с Крупской не раз забирались растянуться на траве, – начиналась своим подъёмом совсем близ моего дома, двести метров пройти до фуникулёра – милого открытого трамвайчика, круто-круто втаскивал канат наверх, когда противоположный вагончик спускался. (Такое это было занятное зрелище, что я положил себе: вот приедут наши, повезу Ермошку показывать, ведь ему четвёртый год, он уже изрядно смышлён, вот удивится-то! Но поразительная жизнь: и приехали, и прожили там два года – так и не нашёл я момента в кружной жизни, свозил всех ребятшек кто-то вместо меня, может быть фрау Видмер, жена штаттпрезидента, мы очень с ними обоими сдружились: Зигмунд своими духовными свойствами и политическим пониманием стоял много выше сегодняшнего среднего западного человека, а фрау Элизабет была тепла, сердечно добра, проста, и привязалась к нашим ребятishкам, брала их то в зоопарк, то ещё куда, свои дети у неё уже были близки к женитьбе.) Квартира-то наша была сильно достигаема шумам близких улиц, особенно от нынешнего завывания санитарных автобусов, тут рядом кантональный госпиталь, – а поднимаешься на Цюрихберг, минуешь последние дачи богачей – дальше такой лесной покой, и совсем мало гуляющих в будний день, я там отдыхивался, раздумывал, закипали планы литературные, публицистические. (Не забуду встречи с пожилым швейцарцем, он тоже шёл один. Это было вскоре после моего приезда. Он изумился, повернул ко мне, обеими руками взял меня под локти, смотрел на меня с любовью, смотрел, и слёзы у него полились, сперва и говорить не мог. Надо знать сдержанных, жёстко замкнутых швейцарцев, чтоб удивиться: и что повернул без повода, и за руки взял, и плакал.) Наконец, день прилёта наших прозначился: 29 марта. Солнечный, тёплый день, конечно и Хееб со мной. Опять было большое скопление прессы на аэродроме. К самолёту приставили лесенку, меня впустили. Вошёл, как в темноту, первым столкнулся с Митькой, обвешанным ручными сумками за всех, потом Аля передала мне Ермошку и Игната, они тарачились, Ермошка меня узнал, а полуторогодовалый Игнат просто покорился судьбе, я понёс их как два пенька, Аля – корзину с шестимесячным Стёпкой. (Тогдашняя фотография стала из моих любимых.) За Алей шла бабушка. Чемоданов они привезли десяток, но это было, конечно, не главное, Аля успела шепнуть, что всё существенное не тут, пойдёт иначе. А на Шереметьевском аэродроме гебисты долго держали их багаж: фотографировали все третьестепенные бумажки, и, как потом оказалось, размагнитили и все наши аудиоплёнки, сколько интересных записей накопилось у нас за три года. Покатили на Штапферштрассе, кортеж за нами, там толпа фотографов вывалила. Наша калитка уже запиралась – они, человек тридцать, кинулись в открытую калитку наших милых соседей, молодой пары, Гиги и Беаты Штехелин (их дома не было), и, ближе к нашему низкому заборчику – зверски теснясь и отталкивая друг друга, вмиг истоптали большую, излелеянную хозяевами цветочную клумбу. И это – европейцы? (Навредили б так русские, все бы: "во! во! русские только так и могут".) Я закричал на них, пытаюсь очнуть. Бесполезно. И – не отступил никто с клумбы, так и уничтожили её. Я изумлялся, до чего они надоедны, они изумлялись, до чего я горд. Измученных малышей мы спешили укладывать – они требовали, чтобы вся семья теперь вышла позировать на балкон. Невозможно, да на аэродроме уж нащёлкали без числа, я – отказал. Так и ещё, ещё утверждалась моя ссора с западной прессой – и надолго вперёд. Зато: в одном самолёте с нашими прилетел из Москвы корреспондент Ассошиэйтед Пресс Роджер Леддингтон. Аля тут же объяснила мне, что он – из самых самоотверженных спасателей архива, много унёс в карманах. Как же было избежать дать ему хоть маленькое интервью? А вопрос всё тот же: посещу ли я Соединённые Штаты? Америка продолжает ждать. Между тем – приглашали меня и две подкомиссии американской Палаты Представителей, дать им показания. Взамен себя слал я им подробное письмо* с ответом: что я не полагаю

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru разрядкой международной напряжённости: угодливые умолчания; сакраментальную веру в устные обещания правителей, никогда их не выполнявших; односторонние уступки; позднюю перетолковку договоров; заключение ничем не гарантированных перемирий; равнодушие к зверствам противной стороны. А под разрядкой истинной понимаю "такое несомненно контролируемое обезоруживание всех средств насилия и войны... которое делало бы каждый этап разрядки практически необратимым". Письмо моё было опубликовано в материалах Палаты Представителей, прорвалось отчасти в газеты, например, "Вашингтон пост". Примечание газеты было: "Мы сделали письмо Солженицына доступным американским обозревателям по советским делам, они охарактеризовали его взгляды как упрощённые". А желательный уровень сложности был: продолжать верить улыбкам и уступать односторонне... Ещё и сенатор Мондейл (будущий вице-президент) добивался приехать ко мне в Цюрих - но не мог я всего вместить, уклонился. А тут пришло письмо известного сенатора Джексона, сильно запоздавшее в пути (не по почте, он перемудрил с оказией). [9] И опять - приглашение, и опять благодарю и отказываюсь. [10] А тем временем всё притекали же и копилась тысячи писем не столь известных людей, отвечать на них - да даже читать их - не было никаких сил. А на Западе привыкли, чтобы каждое учреждение и каждое лицо отвечало на каждое письмо: держи какую хочешь большую контору, пусть отвечают за тебя секретари - но отвечайте. Уже на меня обижались многие и в Швейцарии. Супруги Видмеры посоветовали мне отозваться через Швейцарское телеграфное агентство. Так я и сделал. [11] Тут - не хватало ответа, который уже выпрашивали у меня швейцарские корреспонденты, который хотели слышать и все тут: по каким именно причинам я избрал Швейцарию для своего жительства? И неловко было бы объяснить, как это получилось само собой. А говорить, что я давно пишу Ленина в Цюрихе, преждевременно. И изо всех аргументов оставалось - традиционное сочувственное представление в России о Швейцарии да поразительная история, рассказанная Герценом в "Былом и думах" о силе той демократии, где община сильнее президента. Приезд детей поднимает сразу много вопросов. Митю - надо устроить в школу. Кстати, школа совсем рядом, на Штапферштрассе, - и школьники, видя из окон, как донимают нас корреспонденты, уже провели манифестацию с плакатами: "Оставьте Солженицына в покое!" Иду, подаю заявление. (Вослед начинают мне течь бумаги с методическими указаниями, советами.) Митя по уровню оказывается выше, чем школа ожидала, быстро схватывает и язык, ему становится легко, и он, по своему динамичному характеру, зорко использует также и либеральные щели в её распорядке, меня вызывают в школу объясняться. А малыши? ведь они круглосуточно требуют Алю, им всё тут непривычно, смена резкба; вот старшие растеребили пух из подушки по всему полу, младший плачет. Да у матери опережающая тревога: как детям в океане чужих языков не упустить свой, русский? ежедневно помногу читает им, целый чемодан привезла детских книг. Так Аля - полностью отдастся им, уже не будет сил не только для нашей работы, не только для ответов на дёргающий мир - но ни для какого домашнего устройства? а оно непорочислимо: неизвестный мир, неизвестные в нём предметы, неизвестные цены и нет языка! К счастью, приходит помощь в виде пожилой эмигрантки, живущей в Цюрихе, Ксении Фрис, она наставляет Алю по всем бытовым проблемам, и находит - чудо какое: в сердце Швейцарии одинокую простонародную, с самобытным русским языком русскую бабушку, закинутую судьбой сюда из Маньчжурии, когда в 1945 - 46 годах наша тамошняя (сибирская) эмиграция бежала от пришедших красных. И эта Екатерина Павловна, "баба катя", в своей суровости проникается сердечной теплотой к нашим малышам, как если б вся её одинокая жизнь и была предназначением дожидаться вот этих крошек и холить их, и обучать простейшим навыкам жизни. А была бы нянька - иностранка (и все шансы были за то)? Правда, жила она далеко за городом, у нас бывала только до полудня, но и то какая выручка. Остальное время малыши были с бабушкой и мамой. А продукты покупать? Тут уже Митя выручал, округу быстро освоив. На женщинах наших всё хозяйство, да если б только! Ведь если самим сейчас не вычитать набор выходящего 2-го тома "Архипелага" (а через несколько месяцев и "Телёнка"), то книги выйдут с изрядными опечатками: у "Имки" нет средств держать корректора. Да уже и Митя много помогает маме: он бойко читает с подлинника вслух, со всеми запятыми, Аля правит по вёрстке. И вот - всё это вместе, перевари. А малыши нуждаются не только в уходе, но и в зорком глазе. Ведь всего лишь год назад присылали нам гебисты угрожающие письма, стилизованные под уголовников, что расправятся с детьми, - и почему бы это была шутка? В числе доблестей чекистов Дзержинский не перечислял шутовства. Однако живя у Ростроповича в запретной зоне Барвихе, я на лыжах гонял часами по лесу - и знал, что никто меня не посмеет тронуть: ляжет несомненно на них. А здесь, за границей, уже из полиции двух стран предупредили меня, что у международных террористов - я на списке, да мне и так было ясно, Советы же и обучали и снабжали их. И теперь при любом похищении ребёнка ГБ и вовсе руки умоет: это - не наша страна, разбирайтесь сами. Пока беда не

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru случилась – все скажут: пустые страхи, паранойя. А если случится (в XX ли веке не берут заложников?) – тогда только "ах! ах!". Правда, прогулки детей в город – или с фрау Видмер, или с дружной русской эмигрантской семьёй Банкулов, живущих под Цюрихом (нам посчастливилось познакомиться с ними через храм о. Александра Каргона), – прогулки начинаются не сразу, но и наш крохотный дворик, где дети всё время, и мы устроили им разные забавы-горки, игровую площадку, – дворик-то просматривается с трёх сторон, и решётчатый заборчик всего по грудь, его перескочить ничего не стоит. И перескакивали несколько раз. Какой-то фанатичный молодой человек сел на ступеньках нашего дома и объявил, что – никуда не уйдёт, что я – Иисус Христос, а он отныне будет проповедовать вместе со мной. И просидел на крыльце чуть не сутки, ни на чьи уговоры не поддаваясь, пока позвали полицейских, не пошёл и с ними, и они его мягко и бережно ("права человека!") вынесли на руках и отвезли подальше. – А то взяли нас в осаду несколько молодчиков, довольно бандитского вида, привезли и на руках держали, носили какое-то несчастное уродливое существо, взрослого карлика, сына из богатейшей латиноамериканской семьи: он желал встречи со мной, чтобы начать совместно писать книгу! – То, по недосмотру, была у нас не заперта и калитка и дверь – тотчас ворвалась в дом какая-то наглая советская баба и, не скрывая враждебности, развязно нам выговаривала. – То другая женщина, тоже с русским языком, настойчиво вызывала к калитке, не хотела бросить письмо просто в почтовый ящик; взяли – рукописное письмо, от кого же? от скандально знаменитого Виктора Луи. Он, простой советский человек, лежит в цюрихском госпитале, размышляет о смысле жизни; считает, что неприятности между нами теперь уже позади – и что же? раскаивается, как разыгрывал мою слепую тётю? как закладывал мою голову под советский топор? – о нет, пишет о своих собственных лагерных страданиях в прошлом, и чтоб я очистил его от обвинений, что он продал "Раковый корпус" на Запад; а теперь он не против бы встретиться со мной после выписки из госпиталя! – А сколько приезжали и стояли за заборчиком по грудь (всё в том же отворённом дворике соседа Гиги), и настойчиво звали меня. Среди них и очень, видать, искренние люди – и явно же подозрительные провокаторы, какие-то подставные фальшивые лица со смутными историями. А ещё же приезжали посетители, с письменным заранее моим согласием или без, которых я приглашал беседовать в дом. Тут был и казачий вождь В. Глазков (я не сразу разобрался, что он сепаратист-казакиец: "казакия" – отдельная от России страна). То, по созвучию, немецкий филолог Вольфганг Казак, сидевший в СССР в лагерях военнопленных, с тех пор вовлекшийся и в русский язык, затем и в русскую литературу. То – неугомонная Патриция Блейк, из ведущих американских журналисток, три года назад швырнувшая в мир, к нашему ужасу, подслушанную ею тайну, что есть такой "Архипелаг ГУЛАГ" и уже переводится на английский! Теперь она желала писать мою биографию. – И американские слависты. И та самая графиня Олсуфьева из Рима, о которой когда-то на Поварской сладко повествовали мне в Союзе писателей, – а теперь она приехала доказывать мне отзывами итальянских профессоров, что её за три месяца сделанный итальянский перевод "Архипелага" – превосходного качества. (А оказался – совсем плох.) И приезжали тщеславные эмигрантские пары, чтобы только отметить, что были у меня. А бывали – и самые славные старики, и с важными свидетельствами о прошлом, и надо бы плотно заняться ими, да нет времени. Приезжал В. В. Орехов, редактор многолетнего (с 20-х годов) белогвардейского "Часового" (бессменная вахта, пока не дождёмся падения большевиков). В его письмах перед тем странные какие-то встречались намёки на нашу с ним никогда не бывшую переписку. Уж я думал – не тронулся ли он немного? Нисколько, приехал, уже за 70, с ясной головой и несклонимым духом, участник гражданской войны, капитан русской императорской армии. И показал мне... 2-3 письма моих! моим безусловно почерком, замечательно подделанные, и с моими выражениями (из других реальных писем), да не ленились лишний раз Бога призвать, и с большой буквы, – а никогда мною не писанные! Подивился я работе кагебистского отдела. А плели они эту переписку с 1972 года. Сперва я будто запрашивал у Орехова материалы по Первой мировой войне, и он мне слал их – куда же? а в Москву, на указанный адрес, заказными письмами с обратными уведомлениями – и уведомления возвращались к нему аккуратно, с "моей" подписью. Изумление? Да столько ли чекисты дурили! Затем, видимо для правдоподобности, "я" предложил ему сменить адрес – писать через Прагу, через какого-то профессора Несвадбу. Тот подтверждал получение писем Орехова. А в конце 1973, когда уже завертели полную "конспирацию", передали Орехову приглашение "от меня" встретиться нам в Праге, уже не для исторических материалов, а для выработки общего понимания и тактики. И Орехов абсолютно верил и лишь чуть-чуть почему-то не поехал – да тут меня выслали. Так – не состоялась ещё одна готовимая на меня петля: Орехова бы там схватили – и вот уже доказанная моя связь с белогвардейским заговором. Это был у ГБ, очевидно, запасной против меня вариант (да ещё один ли?). Тут как раз брал интервью "Тайм", я дал им и эту

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru публикацию, факсимиле "моего" почерка, поймал КГБ на подделке. [12] И урок: не надо такие случаи пропускать: эта публикация ещё сослужит защитную службу в будущем. Урок: что борьба с ГБ никогда не утихает, пока оно растёт на Земле чумною коростой, и никогда нельзя позволить себе сложить руки. Да ещё ж было одно место в Цюрихе – импозантная контора Хееба. Посещал я её раз-два в неделю, с деловитостью подшивали какие-то бумаги фрау Хееб, пожилая хрупкая дама, и юная секретарша, а неизменно важный Хееб в своём кабинете сидел за огромным письменным столом, тут и толстые своды швейцарских законов, – да и мне предлагал немало бумаг на главных языках Европы, а то и побочных, я сидел-потел, но все они были как-то не к делу: пустейшие поздравления, пустейшие приглашения, куда я ни за что не поеду, просьбы, просьбы о встрече, приёме, – да я и облегчён был, что всё пустое, не надо ещё на это время тратить. (И само собой – книги, книги в подарок, есть и вовсе лишние, куда их? только на наш чердак.) А если деньги мне нужны? – Хееб выписывал чек, он ведь распоряжался всем. И так не приходило мне даже в голову, что когда-то надо сесть, расспросить о делах – каких там ещё? А вот и дело: говорит Хееб, надо мне ехать для судебного свидетельства. С чего это? Оказывается: лондонский издатель флегон (тот самый, испортивший когда-то своим пиратским изданием "Круг" по-русски и проигравший суд за пиратское же английское издание "Августа", хороший друг Виктора Луи) теперь так же пиратски издал первый том "Архипелага", "ИМКА-пресс" судится с ним, но раз я теперь на Западе – требуется и моё присоединение. Боже, как не хочется, как не до этого душе, только и рвущейся – начать бы писать. Но надо – так надо, в чужой монастырь со своим уставом не лезь. Едем, в цюрихский английский консулат. Какой-то чин садится со мной беседовать – теперь, конечно, по-английски, и давай перестраивай мозговые извилины с немецкого, Боже, как мучительно. Ну, кой-как моё мнение изложено, издания флегона я не разрешил и протестую, теперь – приноси присягу на Библии. Приношу. (Стоило бы из-за чего другого! И безбожник флегон в Лондоне охотно присягает.) Проходит недели две – получаю из Лондона телеграмму от флегона, что он такого-то числа явится для вручения мне судебного иска. Я и внимания не придал. Но в назначенный день – тёплый весенний день, появляется на Штапферштрассе некий подвижный человек в чёрной шляпе и в чёрном же плаще-накидке, демонстративно длинном и с широким заплахом, как ходили в Англии прошлого века может быть стряпчие, напоминает большую летучую мышь. На каменном столбике нашей калитки что-то наклеивает, возвращается на другую сторону улицы и стоит там. Выбежал Митя, вернулся, сообщает мне, что это, на английском языке, крупноразмерными, увеличенными буквами, вызов меня в Высший Суд Великобритании и с какой-то важной печатью. Первое наше движение – пусть Митя сорвёт прочь, да и всё. Но какой-то инстинкт почему-то подсказал мне – не срывать, чёрт с ним, пусть висит. Прохожие останавливались, смотрели, удивлялись, шли дальше. Так и провисел до темноты. А флегон-то, оказалось, все эти часы дежурил с фотоаппаратом сфотографировать, как мы срываем, это и будет документально означать, что я – принял повестку в английский суд, и теперь подпадаю под него. (Потом я узнал, что иски эти не разрешено посылать по почте, а только лично вручать. Но всё равно, английские газеты уже печатали: издатель "Архипелага" подал на своего автора – стало быть, недобросовестного – в суд. Подарок для ГБ. В каком-то скороспелом дерьме хотели меня измазать.) Нет, решительно не хватало нам с Алей времени для простого раздумья. И в один из чудесных апрельских дней повёз я её фуникулёром этим самым на Цюрихберг, уселись мы в лесу на скамье, с видом на Цюрих далеко внизу, и стали отходить. Не специально искали главную мысль или деловое решение, а просто отходили. Да к тому же – по-православному Страстная неделя шла, мы уже хаживали и в наш подвальный храмик, настроение очищенное. Посидели часок – и поняли. Ведь была ж у меня уже года три назад идея, на том я тогда завещание построил (которое Бёлль заверял): 4/5 ото всех моих гонораров отдать на общественные нужды, только пятую часть оставить для семьи. А в январе, вот только что, в разгар травли, я объявил публично, что гонорары "Архипелага" все отдаю в пользу зэков. Доход от "Архипелага" не считаю своим – он принадлежит самой России, а раньше всех – политзэкам, нашему брату. Так вот – и пора, не откладывать! Помощь нужна не когда-то там – но как можно быстрее. Жёнам зэков – собирать передачи и ехать на свидания сейчас, дети зэков и старики-родители недоедают сейчас. А тем более, что у нас подготовка обсужена: прошлым летом в Тарусе встречался я с Аликом Гинзбургом и обговаривали мы с ним, как бы нам, вытягивая мою "нобелевскую" из-за границы, наладить денежную помощь в СССР политзэкам и их семьям, дать им возможность выжить. (Да преследования в СССР и сверх арестов густились: у кого обыск, кого с работы уволили, так тоже без заработка.) И Алик брал на себя всё распределение, имея к тому и жар сердца, и виртуозные конспиративные способности, и великолепный организаторский талант. И уже о деталях сговаривались, я настоял, чтоб не следовать советско-образованской брезгливости, помогал бы он и по старой статье 58-1, так

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru называемым "изменником родине", куда лепили и простых пленников, да и все, кто ещё жив, сидят 30 лет. И тогда упиралось только: как же переводить деньги с Запада. (Лишь кой-кому из "невидимок" мы тогда исхитрились.) Так вот, теперь, когда мы здесь, – неужели не найдём способа? Уже нам объяснили здешние знающие, что лучше всего устроить фонд, ему отначала и передать жертвуемые деньги. В это двухчасовое сидение, в прозрачной ранней весенности, мы с Алей всё и решили. Называться будет: Русский Общественный фонд, отдадим ему все мировые гонорары с "Архипелага", это, наверно, и сложится под те 4/5, а то и больше. Сперва – помощь ээкам, преследуемым, но не упускать и русскую культуру, и русское издательское дело, позже, может быть, и ещё какие-то восстановительные в России работы. Всё, начинаем действовать, утверждать фонд! Через Хееба, разумеется, он тут всё понимает. А дальше – будем изобретать, каким же образом средства посылать. И Бог споспешествовал нам: вот, познакомились с семьёй Банкулов. Виктор Сергеевич оказался в высшей степени рассудительным, деловым и душевно-надёжным человеком. Его первого мы посвятили в наш план, он принял большое участие, много верного советовал, затем стал и членом Правления фонда. А уж всю конспирацию взяла на себя Аля, скрепляя звенья Невидимок, эта цепь нисколько не устарела, она ещё как нам пригодится! А сложилось так, что почти в ту же неделю досталось нам с Алей – и просто на ходу, с какой-то внезапной ясностью, ещё одно крупное жизненное решение принять. Здесь – не дадут мне работать. Здесь – скрещенье всех европейских путей. Поток посетителей. Чтобы писать – приходится уезжать в горы, и без семьи. Искать в Швейцарии – глушь и переехать всем туда? А есть ли такая? (Спустя время Аля и ездила вместе с Банкулами на плоскогорье Юру, искать там подходящее. Ничего не нашли.) А тогда – уезжать в другую страну? А – куда? Странно. Встретила меня немецкая Швейцария изумительно, гордилась таким приобретением. И весь образцовый порядок этой страны как будто так соответствовал моей методической организованной натуре. Я искренне эту страну одобрял, всё преотлично. К тому же, когда-то бученный в детстве немецкий язык, пригожавшийся редко, для чтения книг, вдруг теперь счастливо прорвался во мне – и я оказался способен объясняться не только на бытовые темы, но даже и на отвлечённые, хотя за полчаса уставал. Очень мне это помогло в швейцарские годы. Так десятилетиями лежащий в нас груз вдруг оказывается небесполезен, как бы мудро задуман для какого-то этапа жизни, не пропадает заложенный в детстве труд. А сердцу – не было покойно. Цюрих – исключительно красивый город. А идёшь по нему, сердцу – не хорошо, тоскливо. Да это – и не к Цюриху относилось: скорей, это было общее неприятие западного преизобилия и беспечности. Но – и нависание СССР над плечами. А приехала Аля – и так же в короткие недели переняла то внешнее ощущение драконовых зубов, которое я испытал в Норвегии. Странно, что, живя в Союзе, мы никогда так не ощущали его нависающую силу, как сразу почувствовали здесь. И вот, в какой-то миг ясности, на мансарде только освоенной цюрихской квартиры, я высказал, и жена как будто приняла: что, ох, не удержимся мы здесь; как уже волны и волны наших эмигрантов – не потянемся ли через океан? (И – продолжали осваивать квартиру, вертикальную от подвала до чердака. Женщине – трудней эти вечные переезды. Аля ещё потом отшатывалась и усиленно сопротивлялась, не хотела за океан. Сию минуту ведь ничто не гнало из Европы, не так легко подниматься на новый переезд. Но того требовало протяжённое будущее.) Так мы начинали жизнь в Цюрихе, уже сразу решив из него уезжать, хотя бы в Юру? А если не в Европе – то куда? Методом исключения – получались или Штаты, или Канада. Да ведь детям и хорошо бы дать самый международный язык – английский. А ещё же держала нас и назад тянула – задача защиты наших собственных арьергардов. Для людей, как-то связанных в прошлом со мной, и особенно для Угримова, всё ещё хранящего архивы, вот этот первый год после моей высылки и особенно первые месяцы были напряжённо-опасными, решающими: последует ли теперь разгром их всех или не тронут? Реальной силы защитить их у меня не было никакой, но ведь реальной силы не было у меня и все прошлые годы однако же борьба прошла успешно. Пока советское правительство ещё продолжало меня бояться – а оно боялось меня! – я должен был всемерно показывать, что буду громко и сильно защищать каждого своего помощника, не дам им расправиться втихомолку. С волнением открывали мы приходящие из Москвы "левые" письма. Пока, неделя за неделей, все оставались нетронуты, хотя были наглые кагебистские звонки к Люше Чуковской. Затем узналось о преследованиях Эткинда (и надо было поддержать его, я написал защитное заявление и ещё раз напомнил о Суперфине). Море было прессы вокруг, а устойчивых приёмов, навыка, как же и где быстро и заметно напечатать, – у нас не было. И всё ещё не понимал я до конца, насколько Скандинавия – глухой угол, откуда плохо раздаётся по Западу: приехал как раз Пер Хегге – и я отдал ему для "Афтенпостен" статью*. И заглохла там мысли, которые надо бы разъяснять Западу вседневными: что подавление инакомыслящих в СССР помогает закрытости его, внезапности любого агрессивного шага, приближает войну

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru больше, чем отодвигает мировая торговля. И нельзя превращать разрядку в поступчатый Мюнхен. Да не одна ж Скандинавия: не избежать мне было в первые месяцы объятий какой-то крупной телевизионной компании, да американской, конечно, – и я дал интервью CBS*. Они приехали к нам в дом шумной, технически оснащённой, крупной компанией, человек 10, за малой недостаточей: не было хороших переводчиков. И я тоже к этой встрече оказался плохо готов, не понимал, кто этот Кронкайт, какой он левый, и сколько подколок в его вопросах, – всё о западной медиа да моём отношении (уже все отметили его), да об эмиграции, да сами-то вопросы мне плохо переводил норвежец Хегге, а уж мои ответы на английский совсем сумбурно и неверно переводил Дэвид Флойд, оба не переводчики, тем более не синхронные, – и Кронкайт меня не понимал. Без надобности полез я и оценивать Третью эмиграцию: этично ли уезжать по отношению к остающимся? и хорошо ли, кто едет в Америку? и как о тех, кто едет в Израиль? не моё было дело в это вмешиваться, – но ещё понимали мы отъезжающих как недавних соотечественников, как своих, а рваная рана отрывает от родины пылала. И мысли были – как Гоголь когда-то написал: "Настал другой род спасенья. Не бежать на корабле из земли своей, спасая своё презренное земное имущество, но, спасая свою душу, не выходя вон из государства, должен всяк из нас спастись себя самого в самом сердце государства". (А привелось и ему годами жить в Италии...) Тем временем вынужденная эмиграция – и через меня же! – коснулась столь близких нам Стивы Ростроповича и Гали Вишневской. Ведь никогда же бы их артистическая жизнь не пересеклась бы с каракатицей мерзкой, тускоглазой политики, если б не их широкодушный и дерзко отважный шаг – дать приют гонимому. И сколько ж за то унижений, подножек, насмешек, плевков пережили они в смрадном объёме советского Министерства Культуры, от угодливых прислужников его: их лишали концертов, не только заграничных, но и столичных, Ростроповича гнали ездить почти только по дальней провинции, Вишневскую вытесняли из любимого ею Большого театра, сколько прежние друзья отворачивались от них трусливо – после лет сиятельного успеха как им было больно, оскорбительно. Но уж года три они сносили все унижения, и ещё сколько-то бы продержались? однако после моего изгнания нажим на них стал ещё мстительней: отупевшие от злобы администраторы вместо того, чтоб теперь-то им помягчить, – прямо уже вытесняли их прочь и прочь из храмины советского искусства. И друзья наши не выдержали, согласились уехать. Так любовно устроенный ими дом в Жуковке с концертным залом, никогда не опробованным, и те все аллеи, где они дали мне вынашивать "Красное колесо", а Але – Игната и Степана, – всё это брошено, дочери Оля и Лена оторваны от своего детства – и всей семьёй в четыре человека Ростроповичей понесло изгоняющим восточным ветром – куда-то в Европу, они сами ещё не знали куда. Да тут был для них не чужой мир, сколько раз они собирали тут жатву славы, сколько друзей тут у них, знакомых, и сколько сейчас польётся предложений, они были в положении, несравненно благоприятнее стольких эмигрантов, однако от потери родины, без права вернуться, были в ошеломлении. В таком растерянном, смущённом, неприкрепленном состоянии они и посетили нас в Цюрихе. Улыбались – а горько, Стива пытался шутить, а невесело. В нашем травяном дворике сидели мы за столом до сумерок – никогда не примерещился бы такой финал, среди обступивших нас швейцарских особнячков, с высокими черепичными крышами, пять лет назад, когда они приютили меня в Жуковке. А ещё в то лето дважды приезжал к нам В. Е. Максимов. Взяв эмиграционную визу почти день в день с моей высылкой, в начале февраля, он уже вот несколько месяцев в Европе, и осматривался и метался: как же приложить силы? Его тут знали мало. Он – не знал ни одного языка. Начать эмиграцию с того, чтобы сесть и тихо писать следующий роман по-русски, – было не по нраву его, бурно-политическому, да и не давало перспективы: нуждался он в положении, и в средствах к жизни, приехал он с семьёй. Он задумал выпускать в Париже литературно-политический эмигрантский журнал, по карманному формату удобный для провоза в СССР. Но в Париже уже год восседал другой эмигрант – А. Д. Синявский, как писатель известный менее Максимова, но громкий на весь мир своим судебным процессом и уже создавший себе и в Сорбонне и в эмиграции почтительно-уважительное окружение. Итак, кандидата в главные редакторы было два, а создавать журнал не на что. Но Максимов, в отличие от Синявского искренний и горячий противник коммунизма, уже выглядел, кто бы мог дать деньги на подобный журнал – германский богатейший издатель правого направления Аксель Шпрингер, с его таким же искренним неприятием коммунизма. Однако чтобы Шпрингер дал на журнал деньги, весьма значительные, он должен был получить основательную рекомендацию, письменное поручительство, и Максимов не видел другой возможности, как от меня. С этим он и приехал в Цюрих. С Максимовым я до того встречался лишь один раз: сидели мы с ним рядом в "Современнике" на спектакле. Отметно было – и вполне понятно мне клочотание гнева в его груди и против советского чиновничества и против литературных лизоблюдов. По повести его в "Тарусских страницах" видно было, что

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru Максимов глубоко черпнул реальной жизни, да и лагерей коснулся, да и детство у него было беспризорное. В напряжении моих последних лет в СССР я успел прочесть две части из его "Семи дней творения" и нашёл их очень основательными, писатель без подделки и без самоукрасы. Теперь – этот журнал? Что он будет непримирим к коммунизму – это не вызвало сомнений. Но всё ли – в том одном? А как он ляжет между эмиграциями? Уже отменно было, что Третья эмиграция отшатывается от Первой-Второй (да и против коммунизма никакой ретивости не проявляет). А сам Максимов проявлял тогда к белым холодность, а судьбу "остовцев" и военнопленных ему негде было перенять, ощутить. Безалаберно-неукладистая судьба вряд ли связала его душой с историческими и духовными традициями России. Так что надежда на него была, как говаривала моя Матрёна, – горевая. Именно русскую линию Максимов вряд ли удержит. Я так и сказал ему, в шутку: "Не рассчитываю и не настаиваю, чтобы вы защищали "Русь Святую", но по крайней мере – не охаивайте её!" И всё же я представлял себе Максимова в русских сыновних чувствах определённое, чем он был. Да в тот год, все мы посвеже на Западе, ещё невозможно было вообразить уже близких трещин размежевания. Но как не поддержать заведомо противобольшевицкое мероприятие? Только вот какую идею я ему предложил – в укреплении фундамента и смысла журнала – и он её воспринял и потом осуществил: этим журналом объединить силы всей Восточной Европы, чего более всего должны бояться на Старой Площади, дружного объединения восточноевропейских эмиграций. (В таком духе я потом послал и приветствие в их первый номер, впечатлевая это направление в рождаемый журнал. И само название подсказал: "Континент", а то Синявский уже предлагал Максиму собезьянничать с Кафки "Процесс".) И – написал Максиму требуемую бумагу, так и заложив помощь от Шпрингера. Максимов был не один, с милой молодой женой. Уже в сумерки и в вечер засиделись по-русски за чаепитием у нас на первом этаже, а со второго что-то стал кричать Стёпка. Я оставил Алю с гостями, а сам пошёл его утишить. Было ему тогда месяцев девять. Взял его на руки, он сразу успокоился. Подержал его, положил – тут же опять кричит. Только взял на руки – он опять успокоился. И так вдруг – понравилось мне держать его на руках и прижимать, по-матерински. Как будто какая-то невидимая сила или радость переливалась то ли от меня к нему, то ли от него ко мне. И что мне идти туда вниз, за чаем сидеть? Стал я тихо-медленно похаживать с сыном то по комнате, то выходил на балкон. Он посапливал счастливо. Начался тихий дождик. В соседней комнате смирно спали старшие дети. А я держал это сокровище, своего младшенького, и думал о чуде продолжения жизни. (Он и Степаном-то назван вместо меня: я родился – на Степана, но мама хотела сделать меня Саней по только что умершему отцу; ныне я вернул долг.) И когда он ещё вырастет, при моей ли жизни? И кем станет? И насколько и в чём продолжит меня, комочек крохотный? мы с ним как союз какой-то заключили в тот вечер. Но когда же, когда ж я начну снова работать? Ведь на родине писал, под всеми громами, до последнего дня, – а тут вот уже два месяца – и не могу? Задушили перепиской, заклевали вопросами, требованиями, визитами через калитку и окриками поверх заборчика. Да главное: архива моего всё нет и нет. Хотя Аля уверена: отправка – самая надёжная, дойдёт! Письма, большей частью иностранные, приходят к нам разбирать, сортировать (уже от чешской помощи отказались) то Аликс Фрис, дочка Ксеньи Павловны, то Мария Александровна Банкул. Даже физический объём этой переписки страшен, никаких комнат в нашей квартире скоро не хватит, а уж – по содержанию? у какого человека станет сил во всё это вникнуть? Изредка на какие-то вопиющие отвечаю. А вот – приехали раз, и второй от НТС (Народно-Трудовой Союз, давние стойкие антибольшевики), этих нельзя не принять. А вот – вторым или третьим письмом добиваются встречи со мной деятели Международной Амнистии. Это и понятно: я стал известен как борец против тюрем и лагерей, – но и они же, они же? Однако я ещё из СССР, через западное вещание, понял: они ищут двугривенные только под фонарём, где их видно (западные страны, просвеченные информацией), а которые закатились в тоталитарный тёмный угол – тех и искать не будем. Просто – не ответил им ни разу (объяснить им – безнадежно), и не встретился никогда. А между писем приходили же ещё книги, книги, только успевай распечатывать, упаковки в хлам, а книжки – на чердак, по крутой и тесной лестничушке. Чтбо иностранцы шлют на языках – и не смотрю пока, времени нет, но – чтбо русские? Когда спохватился, стал сортировать – названья частью слышанные, частью неслыханные, да и журналы цельными комплектами – "Белое дело", "Белый архив", "Первопоходник", – да в СССР никогда бы мне и глазом их не увидеть! Не успеваю осмыслить, объять, – а ведь у меня сами собой, без усилий, от доброжелательства и доверия ко мне старой Первой эмиграции, – собираются самонужнейшие и редкие книги, бесценная библиотека по российской революции (80% того, что нужно для "Красного Колеса", потом пойму). Так надо же дарителей благодарить! (А не всем, не всем ответил, иные так и скончались.) Есть ещё одна, совсем не второстепенная подготовка к большой работе. Чего никогда б я не придумал в СССР, как и где добыть, заказали мы через

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru милого соседа Гиги четыре серии разноцветных и разноформатных картонных папочек, размеров, которых и не делают нигде и не продают: 10414 см (это – в предвидении многих картотек для исторических личностей времён начала века в России и 1917 года), 12417 (для моих вымышленных персонажей) и 15420 (для всех листочков по темам, по темам) – получилось и компактно, и такое цветное и гляцевое загляденье, и руками не нагладишься. Это теперь – на всю жизнь. А будут у меня – тысячи листиков, без этого – затеряешься; от правильной организации сотен и тысяч бумажек зависит и темп и успех такой обширной работы. И наконец – наконец! – 16 апреля, на третий день православной Пасхи – не могли мы заранее угадать, в какой форме и через какого ангела это явится подъехал к нашей калитке обычный легковой автомобиль немецкой марки, из него вышла молодая немецкая пара и выразила желание видеть меня. У нас был сын Хееба, завёз какую-то почту, и при нём приезжий не назвал себя вслух, а протянул мне прочесть своё удостоверение, – теперь, наконец, я могу его и назвать: сотрудник германского министерства иностранных дел Петер Шёнфельд. Познакомил Алю и меня также и со своей женой Хильдегард и маленькой дочкой. И скромно передал нам два чемодана и сумку, всего – чуть не на пуд. Аля кинулась в другую комнату посмотреть содержимое. Боже мой! – первая, но главная часть моего архива "Красного колеса" – рукопись неоконченного (и нигде же не сдублированного!) "Октября шестнадцатого", главных конвертов заготовок штук сорок и тетрадь "Дневника Р-17" – моего уже многолетнего дневника вокруг написания "Колеса". Готов я был Шёнфельда расцеловать! Ощущение Чуда: архив спасён из пасти Дракона, невидимо перепорхнул из-под его лапищ, через пол-Европы, – и вот теперь на наш стол, на наш диван! Ликование – не могу сопоставить равного: как выздоровление от рака! С этого дня – можно было и начинать работу. Можно – да нельзя. О, сколько же помех. Союз итальянских журналистов присудил мне премию "Золотое клише" (её вручали и пражской молодёжи за август 1968) и ждёт, когда я приеду получать. (Ехать? никуда не в силах. Но если они сами приедут в Цюрих – тогда... ну, тогда надо готовить речь.) – А в эмигрантской русской прессе разгорается жаркая дискуссия о моём "Письме вождям", теребят, чтоб я участвовал и отвечал на критику. – А Видмер звонит: вызывает меня президент Швейцарии, надо ехать, и он меня повезёт. Эта поездка прошла в солнечный весёлый день. Разговаривали с Видмером не переставая – как я не устал, не знаю. А ехали из одного "ленинского" города в другой "ленинский", предчувствовал я победу над ним: вот, уж, напишу! А вот – проезжаем мимо подъёма на Зёренберг, где Инесса осенью 1916 отсиживалась, не желая встречаться с Лениным; если её описывать – подняться, посмотреть? (Уже посещал меня американский славист, рассказавший, что обнаружил: в те недели, когда для Ленина числилась она в Кларане, – тут, в долине, нашёл в гостиничной регистрации и Арманд, и Зиновьева). Но нет, Инессу я не буду описывать. Вот и Берн. И мы – у Фурглера. (В Швейцарии нет постоянного президента, это сменное дежурное лицо.) Фурглер встречает меня торжественно и, после короткой беседы, торжественно же объявляет, что мне, без испытательного срока, даётся Niederlassungs-bewilligung (разрешение на постоянное жительство). А мне стыдно-то как: ведь и Видмер не знает, что мы с Алей решили уезжать... (Вслед за тем цюрихская полиция выдаёт всей нашей семье швейцарские паспорта.) Ещё успеваем с Видмером посмотреть на характерный Берн, поднявшись сотнями ступеней на соборную башню, и оттуда глянуть на черепичное море крыш, на слитную стиснутую черепичность старого города, и готические сталагмиты на самом соборе. (Его построили в XV веке перед Реформацией. В решимости Швейцарской Реформации подчеркнуть, что истиной обладают все, – отдёрули занавес алтаря и прихожан посадили в алтарь, лицами назад.) А итальянские журналисты – ну конечно же согласились приехать в Цюрих, конечно, для них это вовсе не труд. В назначенный день сняли зал в здешней гостинице, мы приехали, ахнули: больше тридцати человек, да живые, подвижные, жадные поглядеть и послушать, и глаза и речь у них какие заряжённые. Расселись. Переводила Аликс Фрис, знающая итальянский как родной. Сперва один итальянец выступил, второй, вручили мне эту коробочку. Теперь – моя очередь отвечать. Говорю по фразе, останавливаюсь, Аликс переводит. А приготовил-то я, оказывается, речь ого-го какую серьёзную*. Ещё находясь в состоянии неоконченного перелёта из одного мира в другой, ещё не усвоив ни точек отсчёта, ни реальных уровней, но уже и давимый нагромождением торжествующей западной материальности, заслонившим всякий дух, – я, опережая догадками равномерный опыт, составил для итальянских журналистов речь – вот уж не в коня корм. Мне казалось: пора подниматься в оценках на вершины – а ещё на низменности ничего не было разобрано! И журналисты бедные – угасали на глазах от мудрёных этих высот. После церемонии подошёл ко мне один молодой журналист попроще и едва не плачущим голосом спросил: "Ну, и что ж я из этого всего могу дать своим читателям? Вы поясной чего-нибудь не можете сказать?" Удивительно: провалилась вся моя эта речь в глухоту, в немоту, как неслышанная и несказанная. Через четыре года её

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru же, те же мысли сводя в тот же купол, произнёс я в Гарварде – она взорвалась на всю Америку и на весь мир. Очень неравно в западном мире – где именно произнести или печататься. И даже из рафинированных стран Европы, как Франция или Англия, в Америку проникает плохо. Но сказанное в немудрящей Америке – почему-то громко летит на весь мир. Анизотропная среда, как физики говорят. А именно в Америку, даже за почётным гражданством, я в тот год и не поехал, сберегая время и простор себе для возобновления работы, наконец. Неумело, разбросанно, нервно, в запуте прожил я на Западе свои первые месяцы, да и весь год сплошных ошибок, тактических и деловых. И утешенье было только: уезжать из этого Цюриха – да писать. Пытаться – писать. Не самое лучшее место для уединения был Штерненберг: стояла дача Видмеров на узком гребне между двумя горными чашами, и с одной стороны к дому вплотную лепилась автомобильная дорога, правда с редким движением, а с другой, под самыми окнами, шла пешеходная тропа для осмотра красот, и каждую субботу-воскресенье и каждый праздник (а их, после СССР казалось мне, в Швейцарии поразительно много) шли и шли швейцарцы, в шерстяных чулках до колен, парами, компаниями, гурьбами, от стариков до школьных классов, – и не только мешали мне движеньем и разговорами, но и засматривали в окна. Чтоб не работать в жарких комнатах, устроил я стол под вишней – но и то место было под надзором тропы. А ещё это всё размещалось на альпийском лугу, и несколько раз в лето сгоняли меня шумом при косье, ворошении сена и уборке. Однако сельский труд добрых соседей своей разумностью и неутомимостью укреплял мир души, не мешало рабочее их движение, навозный полив лугов, обдающий крепким запахом, неумолкаемый звон коровьих колокольцев и даже шум трактора. А особенно светло действовал вид с высоты. В обзорном глядении сверху и далеко вниз, а особенно повторительном, ежедневном, ежеутреннем, есть что-то очищающее душу и просветляющее мысль. Простое стоянье и осмотр уже есть работа души и ума. И облегчается задача оценить свою минувшую жизнь и преднаметить будущую. Одна чаша, удивительной красоты, сочетание круто спадающего луга, лесных клиньев и островков, извитых рабочих колеи, рабочих строений, была постоянно под моими глазами, лишь перевести вперёд с листа бумаги. А особенно удивительны были в этом вертикальном пейзаже игры туманных полос или обрубленных радуг. Ко второй объёмной, обширной чаше надо только дом обойти, это был просторный швейцарский вид с далеко разбросанными хуторами как птичьими гнёздами. А прямо над нами, близко, сторожила манящая крутая высота, богатая для глаза (лазил туда я за год всего лишь раза три, один раз с о. Александром Шмеманом, нашли там дот швейцарской армии). Километрах в пяти высилась наибольшая тут вершина Хёрнли, в цепи других, не на много меньше. А кусок пешеходной тропы над ещё третьей, соседней, чашей был моим излюбленным "капитанским мостиком". Когда было не ждать гуляющих, я, по тюремному обычаю, ходил по этой тропе туда-сюда, туда-сюда, вбирая себе ясности и разума то от верхнего вида, то от нижнего – от горного прорыва в долину речёнки Тёсс, где иногда промелькивали вагончики поездов и каждый вечер светились одни и те же несколько неподвижных огней посёлка. Ещё особую игру этим трём чашам придавала луна, ежедневно изменяемая в форме и сдвигаемая по небу на час. И уж ни на что не похож был вечер 1 августа – швейцарской независимости, когда вспыхивает огромный костёр на вершине Хёрнли и там и сям костры поменьше, горы перекликаются дрожащими огнями, а в долинах до полуночи хлопущи, стрельба. Стояла и так моя кровать в доме, что первый взгляд утра через распахнутое окно всегда был на дальние горы; глубина и высота видимых гор менялась от ясности прозора, но в лучшие чистые утра первооткрытыми глазами я видел сразу снеговые Альпы. Отец Александр Шмеман провёл у меня тут чуть не трое суток. Это было первое наше свидание, после тех его великолепных радиопроповедей по "Свободе", которые я лавливал в СССР. Много-много переговорили мы тут с ним – о духовном, о положении православной Церкви, разбитости на течения; об историческом, о литературе (помню его острое замечание о внутренней порче Серебряного века: добро ли, зло, – "есть два пути, и всё равно, каким идти"). Много ходили по откосам. Помню, лежали на траве над одной из чаш он закинулся в проект, как бы нам устроить свою русскую радиостанцию? (Поработал он на "Свободе" – слишком стала не та и не то.) О, ещё бы нет! Это было бы подейственней "континента"! Да только кто же даст для русских десятки миллионов долларов? День ото дня я в Штерненберге здоровел и телом и духом. И, спрашивается, как же они могли меня выслать? Сами устроили мне Ноев ковчег – переждать их потоп. (Сдали их нервы после сентябрьского встречного боя, после моей январской контратаки, и всё ж – на виду у Запада, а с Западом нужна разрядка, усумнились они в своём всемогуществе.) И вот теперь, в 55 лет, я смотрел, смотрел в эти три чаши: уже прокричал я правду о нашей послереволюционной истории – и удалось? и даже выше мечты? Изил-под бетонных плит пробился слабенький стебелёк, и бетонная хватка могучего насилия не смогла его разможжить; и отравные испарения самой настойчивой в мире лжи не смогли

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru задушить. С Божьего благословения – жизнь уже удалась. Теперь заработал я и право заниматься чистой литературой? И русской историей? Всё ж, на "капитанском мостике", бодро высагивал я разные проекты. И проект нашего окончательно решённого переезда в Канаду. И проект: устроить в Канаде Русский Университет? Я ещё не начинал знакомиться с русской эмиграцией, но любил её уже давней многолетней любовью, как хранительницу наших лучших традиций, знаний и надежд. Я годами воображал её большой человеческой силой, которая всё сбережёт и когда-нибудь исцеляющим вливанием отдастся нашей стране. И я – высагивал и записывал проект Университета, у меня он так и сохранился. И факультеты. (Кроме широко гуманитарных, с отечественной традицией, непременно и – освоение пространств без гибели их, инженеры земли, и ведение народного хозяйства с западным опытом.) Уплотнённая программа, каникулы – месяц, хватит, а ещё месяц – работать для русского рассеянья. Стипендия, но для умеренного образа жизни. А потом бы – при университете открыть и русскую школу-десятилетку, с программами не оторванно-эмигрантскими, но и не искажённо-советскими. Я всеми мерами хотел бы укрепить будущих воспитанников, пробудить от западной убогости, обратиться к суровости родины. На это тоже хотел я положить деньги созданного мною фонда. Я ещё не представлял нынешней слабости эмиграции, её растёка этнического, что после шестидесяти лет нету тех слоёв, из которых бы набирать учеников, и никто так строго учиться не захочет, никто не примет на себя суровости добровольно. А по нынешним реальным силам эмиграции – можно бы набирать только из Третьей, однако не для того же бежавшей из "этой страны", чтобы в неё вернуться. Да и – денежно такого Университета не вытянуть. В Штерненберге я сосредоточился писать – скорее убедиться, что эту способность не потерял в изгнании. Не так я много в это лето написал (отрывался, часто ездил в Цюрих, к Але, к семье) – Четвёртое Дополнение к "Телёнку", да начал "Невидимки". И думал: ну всё, больше писать "Телёнка" не придётся: если писатель уже не бездомен, не должен гонять от чужого крова к чужому, рукописи свободно лежат в разных комнатах, в тревоге не прячутся при каждом стуке, и начало с концом можно сравнить на столе, а окончив – не надо зарывать в землю, – так, по советской мерке, очерки литературной жизни и кончились?? неудобно бы их и продолжать? Такую концовку я думал приставить после "Невидимок". О, не знаешь, что ждёт впереди. По западной мерке – опять вот очерки потекли, и совсем неожиданные, в новом направлении. А снова за "Красное Колесо" не мог приняться – значит, сотрясение глубже, чем я сознавал. В растерянности то брался писать воспоминания о давних днях своей жизни, то повышенно много работал над случайной попутной публицистикой, да над письмом Собору Зарубежной Церкви*. К осени принимался за Ленина, тоже не очень сдвинул. Однако здешняя горная (почти – горная...) объёмность и мудрость быстро возвращали меня в рабочую форму и успокаивали, что писать я тут буду нисколько не хуже, чем в России, – пока ещё налёживается во мне уплотнённый жизненный русский опыт. А 27 июня героический – а для меня легендарный, я его до сих пор не видел норвежец Нильс Удгорд, крупноростый, добрый, умный, с женой Ангеликой, привёз нам вторую часть архива. (Осенью пришла третья, последняя, и самая объёмная партия – от Вильяма Одома, через Соединённые Штаты. А мою "революционную" библиотеку перевёз Марио Корти. Так к октябрю я был собран весь.) Удгорды поехали к нам в Штерненберг – и только там мы с Алей впервые узнали, как же был спасён и двигался архив "Красного Колеса", – о чём и в "Невидимках" (очерк 13) я умолчал, по тогдашней просьбе участников. В том доверенном письме от Али 14 февраля 1974 было написано: "Прошу считать г. Нильса Удгорда моим полномочным представителем для сношений с послом ФРГ в СССР". И на следующее утро, 15 февраля, Удгорд написал на имя западногерманского посла Ульриха Зама (Sahm) письмо, по-английски: что говорил с женой Солженицына, та боится за сохранность архива и удастся ли его вывезти. По-видимому, западногерманское правительство помогло советскому отправить Солженицына за границу. Это возлагает на ФРГ моральное обязательство помочь ему. (И возможный объём архива был указан в письме: примерно два чемодана.) Отлично это было нацелено и обосновано. Сам Ульрих Зам, хотя, вероятно, и сочувствовал мне (это он через Ростроповича тайно сговаривал нашу встречу с Гюнтером Грассом в Москве в сентябре 1973, потом испугался размаха травли, послал Грассу совет не приезжать, был публично им опозорен: "наш посол в Москве состоит на службе у германского или советского правительства?" – а не мог ответить), – сочувствовал, но и: мог ли он действовать самостоятельно? да к тому ж, говорят, он был и личным другом Брандта. Удгорд не сомневается, что Зам запросил или хотя бы предупредил своё министерство иностранных дел. Жена Удгорда Ангелика тотчас отвезла и отдала письмо дежурному чиновнику германского посольства. (Она – немка, Германия была и для Удгорда как бы второй родиной, очевидно, и в западногерманском посольстве знали их.) На тот же вечер Удгорд получил приглашение присутствовать на концерте посольского хора, устроенном на дому у

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru советника посольства – третьего по значению в посольстве лица. Приёмы опытных дипломатов! – советник ни во что посвящён не был. Ему было поручено только: пригласить этого скандинавского корреспондента и дать ему прочесть странную, без обращения и без подписи, записку посла (после чего вернуть её автору): 1. Согласен. 2. Только два чемодана. 3. Только через начальника и его заместителя. – Вы понимаете? – спросил советник. Удгорд кивнул. Так – архив "Красного Колеса", революции, все события которой потянулись от той безрассудной, взаимно пагубной войны с Германией, – именно Германия мне и спасла! Так – забываем мы теперь побеседовали "не под потолками", и вернулись в Цюрих, где уже могли быть "потолки". И что ж? – теперь-то и засесть писать? Э, нет! Э, нет. Тряска и дёрганье продолжались всё лето. Вдруг, в июне, сообщают мне по телефону, что в Женеве на территории ООН властями её запрещена продажа французского и английского "Архипелага" – как книги, "оскорбляющей одного из членов ООН". Очень громко можно было вмешаться, в таких случаях рука моя сразу тянется к бумаге, и черновик заявления готов через 10 минут: "Генеральному секретарю Вальдхайму. Считаете ли вы предосудительным оскорбить правительство и допустимым оскорбить целый народ? Я ждал бы, что ООН не запретит эту книгу, а поставит её на обсуждение Ассамблеи. Среди обсуждаемых ею вопросов не часто встречается уничтожение 40 – 45 миллионов человек". Но... Нет. Невозможно дёргаться по каждому случаю. Надо научаться и молчать. Протечёт как-то без меня. Не самому автору книги защищать её. Смолчал. И протекло – печатали газеты, как-то компромиссно исправилось потом. Летом – получаю частное письмо из Израиля: караул! почему так дорого продаётся русский "Архипелаг", недоступно купить. Да что такое, да ведь я же всем издателям поставил условие низкой продажной цены! чтобы весь мир читал! Но вишь – транспортировки, какие-то торговые наценки, прибыли книжных продавцов, – и вот книга опять дорога. В горячности шлю письмо в израильские газеты. [13] книжные торговцы там очень возбудились, по своим расчётам они оказывались правы, и хотели в суд на меня подавать (антисемитизм!), да удержало общее моё положение первого года. И тогда же, в конце лета, узналось про случай с рязанкой Светланой Шрамко, благодаря её редкой настойчивости прорвалось, а то ведь из Рязани и знать не дашь, всё глухо. Протестовала она против той самой отравы от завода искусственного волокна, которая невидимым сладковатым шлейфом травила целую полосу города, и меня тоже – в моём ближнем сквере и через форточку в квартире. Но я вот не протестовал – а она, безвестная, беззащитная, посмела! как было мне теперь не подать ей помощи своим голосом? Послал письмо в "Нью-Йорк таймс"*. Там ещё долго перебирали, больше месяца не печатали – а когда и напечатали, так что? Помогло ли это Светлане хоть чуть? И что с ней будет дальше? Долго мы этого не узнаем или даже никогда...** А тут – Ростропович, с обычной стремительностью, привёз ко мне австрийского кардинала Кёнига. Зачем? в чинной беседе кардинал объясняет мне неизбежность союза моего с католической Церковью в борьбе против коммунизма. Еле отдышиваюсь: да отпустите ж душеньку, не могу я разорваться. А тут – после интервью CBS неудачливый в нём переводчик Дэвид Флойд, корреспондент "Дейли телеграф", стал теперь писать мне, и приезжал – и говорил, что другой мечты в своей жизни не имеет, как переехать бы ко мне и стать моим секретарём. Я отклонил. Тут он стал уговаривать встретиться с польским эмигрантом Леопольдом Лабедзем, который жаждет создать Международный Трибунал, судить советских вождей. Я уже пробыл в изгнании с полгода и понимал, что, при всей моральной правоте и заманчивости такого Трибунала, его невозможно создать вопреки силам, ветрам, течению истории: в отличие от нацизма – никто никогда не будет судить коммунизм, а значит, не собрать ни обвинителей, ни суда. Всё это мне было уже понятно – но имел я слабость согласиться на встречу: так трудно привыкнуть к полной свободе жизни и усвоить золотое правило всякой свободы: стараться как можно меньше пользоваться ею. Встретились. (Флойд настоял присутствовать непременно.) Поговорили впустую. Сколько мог, я убеждал Лабедзя, что – не созрело, не вовремя, сил не собрать, опозоримся. А он – горел, и хотел меня видеть в главных организаторах и приглашителях. Я не согласился. Разъехались ни на чём. Прошло месяца полтора – вдруг в западногерманском "Шпигеле" сообщение: высланный с родины Солженицын не хочет удовлетвориться только писанием книг, а хочет – непосредственно делать политику, для этого он организует Международный Трибунал против своей родины (!), Советского Союза. Солженицын планирует открытый показательный процесс от Ленина и, возможно, до Брежнева. Обсуждения состава уже начаты. Нобелевский лауреат имел свою самобытную идею: предоставить судейские места только пылким противникам режима, – но оставил её не в последнюю очередь под благодетельным влиянием своей супруги Наташи Дмитриевны. Я – как ужаленный: ну что за гадство? Ну, что такое эта пресса? Ну как можно жить среди этих чудовищ: ни слова правды! и почему такой трибунал был бы "против своей родины" (чисто советская формулировка)? и при чём тут жена, её и при беседе не было? С меньшей

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru вероятностью допускаю, что истекло от Лабедзя, с большей – что от Флойда. Но не с ними мне разбираться, а как раньше "Штерн" мне плюнул в лицо, так теперь "Шпигель", два сапога пара. Мне – досадно, мне – позорно: и – невыполнимая же затея, и – разве этим я сейчас занят, разве не к одному писанию лежит душа? Но теряю время, теряю спокойствие – теперь надо отмываться, оправдываться. Прошу Хееба написать в "Шпигель" протест, требовать опровержения. Он пишет что-то маловыразительное. Через день же с искровой быстротой приходит ответ ему от главного редактора Рудольфа Аугштайна: "Мы в состоянии доказать перед судом, что ваш мандант проводил такие собеседования, которые не могли остаться тайными и представляют мировой интерес. И никогда мы не сделаем опровержения тому, что считаем истинным. Спор об этом не послужил бы на пользу Вашему манданту и самому делу. Мы не видим основания для гнева Вашего манданта, тем более, что он уже совершал тяжелейшие ошибки, даже такие, которые могли быть без труда избегнуты". Не понимаю, о чём и говорит, но тон угрозы по грубости – не легче советского. "Мы не разрешим Вашему манданту диктовать нам, что правда, а что неправда". Даже нельзя понять источник такой накопленной ненависти – что я им сделал? чем поперёк дороги? И вот что ж – хоть иди на суд! Готов. Хоть с этого начинай западную жизнь, тьфу! Написал резкий ему ответ, доводя до самой грани столкновения. [14] И редактор Р. Аугштайн очнулся (может – проверил своего информанта, а тот попятился) – и в следующем номере "Шпигеля", явно отступая, напечатал моё письмо – и в русской копии и в немецком переводе, – таким образом, всё было сказано моим языком и в самых сильных выражениях. (Сохраняя лицо, он добавлял, что если я буду требовать опровержения – а теперь зачем? – то он "сделает соответствующие шаги".) При моей неспособности вести тяжбу, найти время – я считаю, что этот конфликт кончился очень благополучно. А мог бы ещё сколько помотать душу, совсем отрывая от работы. Этот конфликт я выиграл, можно сказать – по неопытности: я ещё не понимал, как, от небывалой обретенной свободы, вполне можно сбиться и на суды. Вскоре за тем получив сведения, что в Италии готовится публикация моих фронтовых писем к первой жене (они все остались у неё), и даже факсимильная, и не считаясь, что я жив, – я неосторожно дёрнулся к суду, привёл в движение адвоката. Но первичный итальянский суд признал, что печатать письма без разрешения – можно! Адвокаты заманивали меня вести юридический процесс дальше – но тут я очнулся. В моём положении проще заявить вслух и не судиться. [15] (От этой публикации отказались ли все издатели, или само КГБ потом: в моих письмах слишком многое свидетельствовало и в мою пользу, а гебистам нужен был эффект односторонний.) Когда же вышло в свет "Стремя Тихого Дона" – удивляюсь, почему Шолохов (Советы) не подал на меня в суд за моё откровенное предисловие к той книге. Советские – любят такой приём, западные суды открыты для любого иска, и потянулось бы, и потянулось на много лет (а у КГБ денег хватает). Конечно, эти все мои колебания между страстью тихого писания и страстью к политическим выпадам – они в моём темпераменте, без того я не попадал бы на такие разрывы. И всё же я считаю, что я на Западе справился, не поддался политическому водовороту. (Впрочем – это скорей по инстинкту, а я тогда ещё не соразмерял ясно, насколько ничтожны физические силы наши и объём времени – против всего Несделанного.) Тем летом утверждался в Берне созданный мною фонд, всё это шло через Хееба, я и поселе не имел времени вникнуть в его действия. Сперва – благополучно и быстро утвердили, и название: "Русский Общественный фонд". Но вскоре, видимо, чьи-то чиновничьи души зажал страх: ведь такое название – это не вызов ли Советскому Союзу? не намёк ли здесь, что русские общественные дела текут как-то помимо советского правительства? Нет, название недопустимое. "Фонд помощи политзаключённым", предложили мы. – Ни в коем случае! Слово "политический" неприемлемо для нейтральной Швейцарии. И потянулась торговля. Кое-как убедили мы, пусть так: "Русский Общественный фонд помощи преследуемым и их семьям". (Название обрезало культурные и созидательные задачи фонда, но в Уставе они есть. Пока сидим за границей – пусть звучит так, что поделаться?) К осени – всё же потекла у меня работа в Штерненберге. Радость какая, я больше всего и боялся: а вдруг за границей – да не смогу писать? Не тут-то было! В сентябре 1974 Владимир Максимов звонит мне тревожно в Цюрих. Передатный звонок Али застиг меня в Штерненберге в тихий осенний день, когда так хорошо работается, – просит моего заступничества Сахарову: Жорес в Стокгольме назвал Сахарова "едва ли не поджигателем войны" и возражал против Нобелевской премии мира ему. На свой личный бы ответ Максимов не полагается, а, мол, только мой голос может быть услышан и т. д. Как всегда в таких поспешных нервных передачах и нервных просьбах отсутствует прямая достоверность, отсутствует текст, стенограмма – да где и когда их добудешь? – а вот надо протестовать! помогите! ответьте! за смысл мы ручаемся! (А всё вздул стокгольмский член НТС, и вполне возможно, что с перекосом.) Ах, как больно отрываться от работы! Но и – кто же защитит Сахарова, правда? Какой низкий укус! После прежних подножек Сахарову от

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru братьев Медведевых сразу верится, что и эта – произошла, так. В действиях этих братьев, правда, – элементы спектакля. Рой остался в Союзе как полулегальный вождь "марксистской оппозиции", более умелый в атаке на врагов режима, чем сам режим; а Жорес, только недавно столь яркий оппозиционер и преследуемый (и нами всеми защищаемый), – вдруг уехал за границу "в научную командировку" (вскоре за скандальным таким же отъездом Чалидзе, с того же высшего одобрения), вслед лишён советского паспорта – и остался тут как независимое лицо; помогает своему братцу захватывать западное внимание, западный издательский рынок, издавать с ним общий журнал и свободно проводить на Западе акции, которые вполне же угодны и советскому правительству. Да братья Медведевы действовали естественно коммунистично, в искренней верности идеологии и своему отцу-коммунисту, погибшему в НКВД: от социалистической секции советского диссидентства выдвинуть аванпост в Европу, иметь тут свой рупор и искать контактов с подходящими слоями западного коммунизма. Роя я почти не знал, видел дважды мельком: при паразитальном его внешнем сходстве с братом он, однако, был несимпатичен, а Жорес весьма симпатичен, да совсем и не такой фанатик идеологии, она если и гнездилась в нём, то оклубливалась либерализмом. Летом 1964 я прочёл самиздатские его очерки по генетике (история разгула Лысенки) и был восхищён. Тогда напечатали против него грозную газетную статью – я написал письмо ему в поддержку, убедил и "Новый мир" отвахитесь печатать его очерки. При знакомстве он произвёл самое приятное впечатление; тут же он помог мне восстановить связь с Тимофеевым-Ресовским, моим бутырским сокамерником; ему – Жорес помогал достойно получить заграничную генетическую медаль; моим рязанским знакомым для их безнадежно больной девочки – с изощрённой находчивостью добыл новое редкое западное лекарство, чем расположил меня очень; он же любезно пытался помочь мне переехать в Обнинск; он же свёл меня с западными корреспондентами – сперва с норвежцем Хегге, потом с американцами Смитом и Кайзером (одолжая, впрочем, обе стороны сразу). И уже настолько я ему доверял, что давал на пересъёмку чуть ли не "Круг-96", правда, в моём присутствии. И всё же не настолько доверял, и в момент провала моего архива отклонил его горячие предложения помогать что-нибудь прятать. Ещё больше я его полюбил после того, как он ни за что пострадал в психушке*. Защищал и он меня статьёй в "Нью-Йорк таймс" по поводу моего бракоразводного процесса, заторможенного КГБ. А когда, перед отъездом за границу, он показал мне свою новонаписанную книгу "10 лет "Ивана Денисовича"", он вёз её печатать в Европу, – то, хотя книга не была ценна, кроме как ему самому, – я не имел твёрдости запретить ему её. (Вероятно, допускаю, я тут сказал ему какое-то резкое слово о Зильберберге, что знать его не знал, и не поручусь, что это за личность, Жорес грубо вывел его в книге так, что Зильберберг будто сам навёл на мой архив и тем заработал отъезд за границу, я никогда такого не предполагал, но затем Жоресу пришлось в Англии выдержать стычки с Зильбербергом, смягчать текст, а пожалуй всем тем – и подтолкнуть Зильберберга на его пакостное сочинение.) И наши общие фотографии Жорес спешил печатать, и мои письма к нему, и пригласительный билет на нобелевскую церемонию, с подробным планом, как найти нашу московскую квартиру, потерял голову от западной беспечности сразу. Затем вскоре стали приходиться от Жореса новости удивительные, да прямо по русскоязычным передачам, я сам же в Рождество-на-Истье прямыми ушами и слушал. То, по поводу сцены отобрания у него советского паспорта, ответил корреспонденту по-русски, я слышал его голос, на вопрос о режиме, господствующем в СССР: "У нас не режим, а такое же правительство, как в других странах, и оно правит нами при помощи конституции". Я у себя в Рождестве заёрзал, обомлел: чудовищно! самое прямое и открытое предательство всех нас!!! То он сравнивал Сахарова (опаснейше для последнего) с танком, ищущим помощи западных правительств. Тогда вскоре, осенью 1973, я имел оказию отправить ему письмо по "левой" в Лондон и отправил, негодующее. (Признаться, я не знал тогда, а надо бы смягчить на то: у Жореса остался в СССР сын, притом в уголовном лагере.) Переселился я на Запад – Жорес из первых стал называться приехать в Цюрих и даже в первые дни, – продолжать внешнюю иллюзию нашей дружбы? она очень запутывала европейцев, смазывала все грани. Я отклонил. Личные отношения не возобновились. И вот – теперь он напал на Сахарова. И я – ввергаюсь ещё в одну передерягу: написать газетный ответ Жоресу на не слышанное и не читанное мною выступление – а значит, осторожнее выбирая выражения*. Только потому я писал не колеблясь, что знал, в какую сторону Жорес эволюционировал все эти месяцы. А всё тот же угодник фloyd (ещё не заподозренный, это – до "Шпигеля") берётся поместить в "Таймс". Я пишу в Штерненберге, Аля шлёт телефонами в Лондон – проходит день, второй, третий – что-то застряло, новые волнения, новые презвоны, вдруг заявление появляется в "Дейли телеграф" в ослабленном, искажённом виде, – значит, уже в "Таймсе" не будет, почему? "Таймс" опасается слишком прямых выражений о Ж. Медведеве, которые могут быть опротестованы через

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru суд. И надо сказать, что "Таймс" почувствовал верно. Жорес и через норвежскую "Афтенпостен" и прямо мне отвечал: что при его выступлении не было ни магнитной, ни стенографической записи, дословно он не говорил так, как ему приписывается, но даже и в приписываемом нет "вклада Сахарова в дело разжигания войны" – как я написал в статье на основе взбалмошной информации от Максимова. Так что, по западным правилам, Жорес вполне мог и судиться. Но правоты-то всё равно за ним не было, и он не решился. Да ведь так же он и отрицал, будто говорил для радио: "у нас в СССР не режим, а такое же правительство, и управляет нами на основе конституции", – но я-то слышал своими ушами! Вот в таких издёргах проходит первое лето на Западе, я выкраиваю себе недели поработать в горах – и не догадываюсь, что тем временем адвокат Хееб всё безнадежнее запутывает мои дела, – мне невдомёк поинтересоваться и доспроситься. Тем временем на английском, на итальянском, на испанском, не говоря о греческом, турецком и других, неумелые переводческие перья безнадежно портят или испакощивают мои книги – а мне этой проблемой некогда заняться: переводы? А что ж для писателя в моём положении важнее? Настолько ещё я не осознался, не умерился, что тороплю немецкий и английский стихотворные переводы "Прусских ночей", хотя уже ясно, что ни ритма, ни рифм соблюсти в них не берутся – это будет непрочитываемая каша, неуклюжая поделка, – ну зачем бы мне спешить? Отчего не отложить на пять, на десять лет? Разгон! Не в тех темпах живу. Ещё неожиданно для меня было, какую бурю вызвало "Письмо вождям" в образованщине: и понимал я, и всё ещё не понимал глубину начавшегося раскола в отечественном обществе. "Письмо" моё бранили резко, страстно – и это было для меня свидетельством, что я сделал ход важнее, чем и сам думал, коснулся коренного. В самиздате составляли даже сборник критических статей, не знаю, печатали ли его когда-нибудь. И в эмигрантской прессе шёл о "Письме" напряжённый спор, были и за, и против. Так же неожиданно для меня выступил М. Михайлов, которого я не привык считать участником русской жизни, но – "нашим" преследуемым союзником в Югославии, издали. А вот понятие "наши" сильно менялось и дробилось – и Михайлов меня поразило просвечивающим сочувствием к марксизму (защищал от меня чистоту этой идеологии) и к эсерству. И "Письмо" моё объявляло антихристианским и антирусским (до сих пор обвиняли: слишком русское и православное). И Михайлов берётся теперь "отделить художника от идеолога" (старая советская кирпотинская песенка); и всё это выносится из Сербии на мировую арену почти неправдоподобным тоном: "ну, так раз и навсегда надо – (Солженицыну и его читателям) – уяснить вот что", "Солженицыну не дано осмыслить собственный опыт", "ну что ж, придётся просто повторить то, что для европейской юридической мысли давно уже стало аксиомой"... И ещё более поразило приёмами, которыми ведётся дискуссия: неоднократно подставляется вместо меня Владимир Осипов, а затем (ленинская ухватка) все его мысли валяются на меня вместе с "прокитайскими группировками, итальянскими неонацистами, эмигрантами-монархистами", и "Солженицын повторяет грех Ленина", и "Письмо" состоит из тех же частей, что "Коммунистический Манифест". И чутко развивая намёк Сахарова: "Найдутся последователи и договорят, что Солженицын удержал про себя"... О-го-го, какие же рогастые вырастают из славных отважных диссидентов! А в начале октября вышел 1-й номер "Континента" – я вскипел от развязно-щегольской статьи Синявского, от его "России-Суки". Увидел в том (и верно) рождение целого направления, злобного к России, – надо вовремя ответить, не для эмиграции, для читателей в России, ещё связь не была порвана, – и вот, сохранился у меня черновик, писал: "Реплика в Самиздат. Как сердце чувствовало, оговорился я в приветствии "Континенту": "пожелания нередко превосходят то, что сбывается на самом деле". Пришёл № 1. И читаем: "РОССИЯ-СУКА, ТЫ ОТВЕТИШЬ И ЗА ЭТО..." Речь идёт о препятствиях массовому выезду евреев из СССР, и контекст не указывает на отклонение автора, Абрама Терца, от этой интонации. 10-летнее гражданское молчание прервано им вот для такого плеска. Даже у блатных, почти четвероногих по своей психологии, существует культ матери. У Терца – нет. Вся напряжённая, нервная, острая его статья посвящена разоблачению "их", а не "нас", – направление бесплодное, никогда в истории не дававшее положительного. Абрам Терц справедливо настаивает, что русский народ должен видеть свою долю вины (он пишет – всю вину) в происшедшем за 60 лет, – но для себя и своих друзей не чувствует применимости этого закона. Третьей эмиграции, уехавшей из страны в пору наименьшей личной опасности (по сравнению с Первой и Второй), уроженцам России, кто сами (комсоргами, активистами), а то отцы их и деды, достаточно вложились уничтожением и ненавистью в советский процесс, пристойней было бы думать, как мы ответим перед Россией, а не Россия перед нами. А не плескаться помоями в её притерпевшееся лицо. Мне стыдно, что идея журнала Восточной Европы использована нахлынувшими советскими эмигрантами для взрыва сердитости, прежде таймой по условиям осторожности. Мы должны раскаиваться за Россию как за "нас" – иначе мы уже не Россия". Не помню почему, но в Самиздат, в СССР, не послал. Вероятно

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru потому, что подобное предстояло вскоре сказать при выпуске "Из-под глыб". Но вот так - характерно чётко, уже на первых шагах, прорисовалась пишущая часть Третьей эмиграции, - и куда ж ей хлынуть, как не в открывшийся "Континент"? В следующие два-три года он станет престижным пространством для их честолюбивого скученья, гула, размаха рук (и для такого, что невозможно тиснуть в первоэмигрантских изданиях). Впрочем, противобольшевицкую линию Максимов выдерживал вполне. За август я преодолел опасную отвычку, отклон от "Колеса": ведь с бурной осени 1973, в нарастающей тряске, я уже не работал с полной отдачей. В Штерненберге постепенно устоялось душевное настроение и мысли. Взял недоконченный "Октябрь", теперь так обогащённый цюрихскими ленинскими подробностями, это собиралось замечательно (и детали о цюрихских социалистах, и даже метеосводки по Цюриху за любой день октября 1916 или февраля 1917, не надо придумывать погоду), - так уткнулся в новую трудность. В предыдущие годы, планируя "Колесо" по Узлам и стремясь скорей прорваться к февральской революции, я решился пропустить весьма-таки узловый, "узельный" август 1915: с катастрофическим отступлением русской армии, созданием буйного Прогрессивного Блока, его яростной атакой на правительство, уступательной перетасовкой министров и мучительным переёмом Верховного Главнокомандования царём, да там же и Циммервальдская конференция. А теперь, в октябре 1916, допущенный мною пропуск сильно давал себя знать: требовал вставки многих ретроспекций, и настолько сильно требовал, что я кардинально заколебался: да не вставить ли "Август Пятнадцатого"? Но стал смерять, сколько же других - исторических и личных - линий придётся перестраивать? нет, это ещё худший разлом. Остался при прежнем плане Узлов - и теперь готов был уверенно вести в "Октябре" ленинскую линию. А число возможных глав о Ленине теперь нарастало лавиной. (Увы, уже не существует тот рестораник "Штюсихоф", где заседал ленинский "Кегель-клуб", - ищем с Алей сходный другой ресторан, с такими же фонарями на деревянных столбах.) Наконец осенью, после Штерненберга, мне кажется, что мы с женой заработали право четыре дня поехать по Швейцарии. Маленькая Швейцария, а для нас как огромная, мы нигде ещё не были, кроме той моей поездки с Видмером к президенту Фурглеру. По ровной части маршрута - опять на Берн, большой дорогой, затем на Лозанну и Женеву - мы поехали с Алей вдвоём, с тем, что потом, через горы, нас поведёт Видмер. Переезд во французскую Швейцарию прошёлся по сердцу мягкостью: сразу как отвалилась та нахохленная чопорность, которую в Цюрихе мы уже и не замечали. Округа Берна и округа Женевы - как две разные страны, трудно поверить, что они в одном государстве. Женева - чем-то умягчает сердце изгнанника, вероятно не так тяжело переживать здесь и годы. Поехали мы путешествовать, а головы были полны покинутыми заботами, и путешествие не казалось приятной реальностью, но какой-то сон. И в Лозанне, в приозёрном парке, бродили, как не понимая, будто ещё не совсем придя в себя от перелёта из Москвы, наши мысли и привычки не успевали за передвижением тел. Да все эти восемь месяцев мы как будто ещё и не жили нигде, ни к чему не прикрепясь, - а вот уже за океан собирались. В Монтрё, на восточном берегу Женевского озера, почти на ощупь мы попали к замку Шильонского узника. Туда, после закрытия решётчатых ворот, не пустили бы нас - но немецкие экскурсанты узнали меня через ворота и стали со смехом кричать, что я - из их группы. Збамок на малом островке, внутренние каменные дворики, вот и цепь для приковки узника к стене, уж и не та и в том ли месте? - но отзывает зэческое сердце: как легко устраивается тюрьма, непроницаемая для одних, легко-прогулочная для других! В детстве по многу раз читал я все свои домашние книги, так и поэму Жуковского. Как-то грезилось это всё намного мрачней, грозней, и волны не озёрные, - и вдруг невзначай вступаешь в грёзу, с комичным эпизодом непускания. Эти жизненные повторы, всплывы, замыканья жизни самой на себя - до чего мы их не ждём, и сколько ещё встреч или посещений наградят нас в будущем. (В России бы!..) В Монтрё же предполагалась встреча с Набоковым, но, по недоразумению (он как будто ждал нас в этот день, но не прислал условленного подтверждения, мы ещё и с дороги проверяли звонком в Цюрих), оставалось нам миновать его роскошную гостиницу. (А как странно жить постоянно в гостинице.) Я жалел, что не увиделся с Набоковым, хотя контакта между нами не предвидел. Я всегда считал его писателем гениальным, в ряду русской литературы необыкновенным, ни на кого не похожим. (Непохожим на предшественников. Но первое знакомство с его книгами ещё не предвещало, сколько возникнет у него последователей: во второй половине XX века эта линия оказалась весьма разработочной. Ещё тогда не видно было, насколько полное течение родится вслед ему.) Сетовал я, ещё в СССР: зачем не пошёл он по главной дороге русской истории? вот, мол, оказался на Западе - выдающийся и свободный русский писатель, тотчас после революции, - и отчего ж он - как и Бунин, как и Буинк! - не взялся писать о гибели России? Чем другим можно было жить в те годы? Как бесценен был бы их труд, не доступный уже нам, потомкам! Но оба они предпочли дороги частные

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru и межвременные. Набоков покинул даже русский язык. Для тактического литературного успеха это было верно, чтобы могла обещать ему эмиграция на 40 лет вперёд? Он изменил не эмиграции – он уклонился от самой России. Ещё из СССР в 1972 году я, "по левой", послал письмо в Шведскую Академию, выдвигая Набокова на Нобелевскую премию по литературе*. И самому Набокову послал копию при письме. [16] Я понимал, что Набоков уже в пожилом возрасте, что поздно ему себя переделывать, – но ведь и родился и рос он у ствола событий, и у такого нерядового отца, участника тех событий, – как же быть ему к ним равнодушным? Когда я приехал в Швейцарию – он написал мне дружественно. И в этом письме было искреннее: "как хорошо, что дети ваши будут ходить в свободную школу". Но, по свежести боли, покорило меня. Я ответил, тоже искренне: "Какая ж это радость, если большинство оставшихся ходят в несвободную?" Вот так бы, наверное, шёл и диалог между нами, если бы мы встретились в Монтрё. Русло жизни нашей глубеет с годами – и всё меньше нам возможностей перемениться, выбиться в иное. Окостенел на избранном пути он – да ведь и я костенею, мне бы тоже, ах, когда-нибудь испробовать руслом другим! А вряд ли когда удастся. Дальше поехали мы долиной верхней Роны – недалеко от Рарона был ещё один домик Видмеров, где и ждали они нас. Холодоватым солнечным вечером эта старинная долина с наслоенными вековыми цивилизациями, и античной, и европейской, как бы вечно обитаемая, сколько вертится Земля, и каждый придорожный камешек, черепок, пенёк – свидетель веков и веков, – произвела величавое впечатление: нестираемая культура, не вовсе ушедшие предки, неуничтожаемая земля! (Вот, например, в это – как хотелось бы! и когда? мне окунуться?) На скале как крепостца стоит малая церковь, и подле стены её – отдельная, одинокая могила, вся в тёплом жёлтом збаливе закатного солнца. Чья же? Мы с Алей были потрясены и награждены: Райнера Рильке! (Хотя умер он подле Монтрё.) Благоговейно стояли мы, в долгом закате. Вот где привелось... Он выбрал себе эту долину и эту скалу – можно понять! Выбор могилы... С Видмерами пошли навестить милейшего старого пастора, который когда-то их венчал. Переночевали в их строгом каменном доме такой старобытной и несогреваемой постройки: по кладке, по дугам, по выступам – ну веков пять ему, не меньше. А дальше вёз нас твёрдыми руками Видмер – моего автомобильного опыта тут бы не хватило. По Швейцарии не так легко проложить маршрут, не всегда прокатить прямо. Пришлось переваливать Симплон, там начался снег, ехать нельзя, машины скользят, все ждут. Привезли, насыпали на весь южный спуск песка, тогда поехали. Ниже снег превратился в проливной дождь. Въехали на несколько часов в Италию – всего лишь, чтобы пробраться покорооче в южную часть Швейцарии. (А несколько дней оформляли визы на эти несколько часов; и итальянские пограничники тут задержали нас на добрых полчаса безо всяких объяснений, оказалось: бегали за моими книгами, получить автограф.) Через Домодоссолу проехали к Лаго-Маджиоре, на берегу его нас пригласили в частную староитальянскую виллу. (Тучевой мрачный день, полутёмные богато убранные комнаты, и хозяйка с дочерьми, угасающий знатный род, чувствовали себя обречёнными на конфискацию коммунистическим правительством, которое вот-вот всеми тут ожидалось. От тени коммунизма всё в вечной Италии казалось временным.) В тот день уже не видели доброго, лило и грязно, а наутро опять солнце – и мелькали, путаясь, Локарно, Лугано, – как видели их, и как не видели, Моркоте с возвышенным кладбищем над голубым озером, и назад на север, снова возвышаясь, Сен-Готард закрыт, машина вкатывается на поездную платформу, а на северном выходе ещё поднимаемся выше посмотреть леденящий суворовский Чёртов мост, да в погоду холодную, мрачную, – незабываемо! На скале – выбито по-русски, выпуклые крупные буквы, старым стилем: Доблестнымъ сподвижникамъ генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова-Рымникскаго князя Италийскаго, погибшимъ при переходъ черезъ Альпы в 1799 году действительно, богатыри! – что скажешь! И можно только изумляться Суворову: в горной стране, куда на зиму безголово загнал его капризный австрийский Гофкригсрат, при небрежении Павла, – в этой стране, глядя на зиму и вдали-вдали от родины, – воевать и не проиграть! (А русские косточки-то как жаль! А – зачем его гоняли сюда? – вся война лишняя.) Всего четыре дня дома не были, а уже и новости, по радио: американский Сенат единогласно избрал меня почётным гражданином Соединённых Штатов! Позже пришла официальная бумага – и я ответил письмом*. Я сам не знал, зачем мне это избрание, но тогда казалось важным. Во всяком случае – могло помочь моему делу и сильно перчило Советам. Однако это прекрасно понимал и Киссинджер. Процедура требовала теперь подтверждения палаты представителей, и звание будет решено. Госдепартамент задержал обсуждение в палате. (Тем временем переизбран Сенат. Потребовалось вторичное утверждение изменённым Сенатом. Оно всё же произошло весной 1975. Но тогда Киссинджер снова затормозил, известен пространный об этом документ Госдепартамента: это испортит отношения с Советским Союзом.) Неудача с моим почётным гражданством в США – такая же закономерность (и такая же благостная), как когда-то неудача с ленинской премией в СССР: я не ко двору

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru обеим системам, вот и находятся вовремя противодействующие силы. С ленинской премией я в тот же момент понял как дополнительное, к моей уже принятой решимости, освобождение; с американским гражданством – годами двумя позже. Теперь пришлось выступить по швейцарскому телевидению. Придумали они, чтоб я по-немецки читал кусок "Архипелага". Затем какие-то малозначащие вопросы, а дошло до самого лакомого – почему я выбрал Швейцарию? – тут истекло время прямого эфира. (К моему, опять же, облегчению. Чтбo говорить, когда ничего мы ещё не выбрали, нигде ещё не живём, тайно решён отъезд.) В эти месяцы я должен был доделать важные дела, которые тянулись ещё с родины: напечатать горько-неоконченное исследование покойной И. Н. Томашевской о "Тихом Доне" – и совместно с моими соавторами, Шафаревичем, Борисовым, Барабановым, Агурским, Световым ("Корсаковым"), Поливановым ("А. Б.") объявить одновременно в Москве и в Европе "Из-под глыб". Гранки ещё не вышедшей книги Томашевской были у меня в Цюрихе, когда приехал Нильс Удгорд и попросил их с собой, намереваясь подготовить рецензию. А так как ехал он снова в Москву, оканчивая свой корреспондентский срок, я попросил его показать эти гранки Рюю Медведеву. Потому что предвидел грандиозную битву вокруг Шолохова, свист и вой советской лит-номенклатуры и вот, не пренебрег таким уж вовсе не союзником, как Рой Медведев. (Несколько лишних месяцев он приобрёл, изучить наши аргументы и использовать их в развитие своей самиздатской книги. Но отдать ему должно: не побоялся же двигать этот остро-запретный вопрос, находясь в Союзе.) Если бы не выслали меня в феврале, то к марту, самое позднее к апрелю, "Из-под глыб" были бы уже готовы и объявлены. Мой отъезд сильно затянул дело, усложнилась связь, последние согласования, – и растянулось это до осени. Весь октябрь и ноябрь мы ждали от друзей из Москвы сигнала: когда назначена их пресс-конференция, чтобы нашу назначить через день. Андрей Тюрин, звоня из Москвы как бы по частному делу, условной фразой открыл нам, что они дают – 14 ноября. Тотчас стал я собирать свою пресс-конференцию на 16-е. В то время КГБ ещё давало нам свободный телефонный перезвон с Москвой, и вечером 14-го я позвонил И. Р. Шафаревичу открыто, узнать: как прошло. Разговор я записал подробно, и сейчас освежил в памяти. Черты этой пресс-конференции при немалом событии – декларативном самообъявлении нового направления русской мысли, с острой опасностью для участников, – так характерны для "новостийно"-газетного, легкоплавающего восприятия. наших выступало четверо (не-анонимы). Из пришедших корреспондентов ни один не владел русским языком настолько, чтобы понимать теоретические положения. (Да от газетчиков – и не ожидается к ним интерес. Это была наша ошибка.) Вместо этого все два часа мучительно растолковывали им элементарные вещи – в стране, где они аккредитованы годами и должны бы понимать пронзительно и стремительно! Им говорили об основных признаках советской жизни погубленной деревне, разоряемой природе, подавленных верующих, обширных лагерях, об отсутствии самосознания, – изо всего их тревожила только нынешняя еврейская эмиграция, и не тем, что образованные люди толпами покидают страну, а: каковы перспективы этой эмиграции развиваться свободно, без правительственных ограничений? – ведь эмиграция вполне обоснована, раз в этой стране упадок культуры, а эмигрантам будет лучше на новом месте. Сходные ошибки допустил и я в своей цюрихской пресс-конференции. Для мощной поддержки наших ребят я размахнулся устроить её как можно шире, громче, международной. Да ведь и символ же какой виделся в том, что вот из Цюриха оглашается документ, сводка выводов, в которых группа русских людей рассказывает Западу, чем кончилось то 60-летнее злодейство, которое Ленин поехал совершать именно из этого самого Цюриха. Сперва добивался я в городе зала с оборудованием для одновременного многоязыкового перевода. Не удалось. Ладно, решили просто у себя дома, растворив дверь между двумя комнатами. Долго составляли список приглашаемых. Хотелось – побольше, но более 30 человек поместить было невозможно. Ещё я переоценил значение русской эмигрантской прессы: я придавал ей значимость соединения русских сил за рубежом – одна достойная бы для неё роль, но именно её русская пресса не несла, все группы, напротив, ожесточались в разъединении. Итальянцев я уже не приглашал, насытившись однажды, да и нельзя было в комнате рассадить слишком много языков: все переводчики должны были звучать одновременно вслух и не мешая друг другу. Ещё столкнулись с районированием корреспондентских округов: известных лично нам корреспондентов крупных газет нельзя было пригласить, так как Цюрих не входил в их округ, а надо было звать непременно местных, из Женевы, они же понимали в философском сборнике как сом по библии. И советовала мне Аля как можно короче говорить, свести к факту появления, мужеству составителей и самым ярким местам книги, – я же не мог себя подавить и отказаться от подробного обзора статей, и даже истории нашего спора со статьями "Вестника РХД" № 97, перевод шёл последовательный, час моей речи да час перевода, корреспонденты осовели, только крутились магнитофоны русскоязычных западных радиостанций, только они что-то и

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru спасли. После перерыва перешли к вопросам. По существу проблем сборника их, конечно, не было, а тоже сбились на политику: как понимать наш сборник – как "левый" или как "правый"? – только так, в плоскости, могли они расположить и усвоить. Появление сборника – является ли частью международной разрядки? (И это спрашивает Европа – Россию! Дожили.) Сложное петлистое развитие, которое предстоит совершить России, да и многим народам, попавшим под коммунизм, неуместимо в линейность современной западной информации. Возможно, мы в этом сборнике преувеличили "нацию как личность" сравнительно со всечеловечеством христианства, – но мы дружно чувствовали так. Вероятно оттого, что – мучительное состояние, и нам предстоит ещё много в нём проработать: русская нация уже умирает, и вот через наше горло прокричала о своей боли. (А из приехавших на пресс-конференцию эмигрантов вожди НТС и Пирожкова, редактор "Голоса Зарубежья", ждали от нас обещания скорой революции в СССР – и никак не устраивало их всего лишь "жить не по лжи", революция нравственная. В. Максимов – просидел безучастно и потом никак не отразил в "континенте", отчётливо не примкнул к нам.) Но так или иначе, от дерзкой ли нашей выступки, достаточного международного ботгула и потом широкого издания "Из-под глыб" в Соединённых Штатах и Франции, – никакого движения советских властей по этому сборнику не произошло, не преследовался прямо никто – хотя не обвинишь Советы в потакании русскому национальному сознанию. Вот только теперь я мог ответить и Сахарову, на его громкую критику в апреле. Я отозвался как мог сдержанно, лишь о самом главном, в "континенте" № 2*. Сыграла роль и передышка, Сахаров ничего мне не ответил, дискуссия не возгорелась. Впрочем, ответ мой и мало был замечен. (Ещё годами спустя меня спрашивали, отчего же я никогда не ответил на сахаровскую критику?) В самые напряжённые дни выпуска "Из-под глыб" – нба тебе, приглашение из Оксфорда: получить степень доктора литературы, да когда? – в конце будущего июня, а ответить непременно тотчас. Да можно бы и получить, почёт, получали в Оксфорде и Чуковский, и Ахматова, да мы так напряжены со временем, и – да милые мои, разве можно вам открыть, где я буду в будущем июне? Уже за океаном. Ещё одна неоконченность прошлых лет оставалась – получение Нобелевской премии. Подошёл и декабрь. У прекрасного старого цюрихского портного сшили фрак – на одно надевание в жизни? Чтобы больше видеть Европу глазами, мы с Алей поехали поездом. Какой прекрасной описывает Бунин свою железнодорожную поездку в Стокгольм, из тех же почти мест. А я – не нашёл лучшего расписания. Почему-то в Гамбурге утром наш спальный вагон отцепили перетаскивая с чемоданами в другой вагон или в другой поезд, а позже опять, и опять. Так до Швеции мы испытали пять пересадок. По Швеции ехали долгим тёмным вечером, не видя её, а спутник по купе, бывший западногерманский консул в Чили, рассказывал нам о бесстыдстве и шарлатанстве тамошних "революционеров". – "Да вам бы об этом книгу издать!" – "Что вы, разве можно? Заклюют. ФРГ – уже почти коммунистическая страна". Чтоб избежать корреспондентской суматохи, мы уговорились приехать тайно и не с главного стокгольмского вокзала (да подлавливать-то могли скорей на аэродроме). Шведский писатель Ганс Бьёркегрэн, он же и мой шведский переводчик, и ещё один переводчик Ларс-Эрик Блумквист вошли к нам в поезд за час до Стокгольма. А на последней перед ним станции мы сошли – и на пустынном перроне нас приветствовал маленький худощавый Карл Рагнар Гиров. Вот как закончилась наша длинная нобелианская переписка и вот где мы встретились наконец: без единого западного корреспондента, но и без единого советского чекиста, совсем было пусто. Оттуда просторным автомобилем поехали в Стокгольм и достигли того самого Гранд-отеля, от которого меня в 1970 отговаривал напуганный Нобелевский комитет. Всё же на ступеньках уже дежурили фотографы и щёлкали, совсем тихо приехать не удалось. Стоит отель через залив от королевского дворца, фасадом к фасаду. По мере прибытия, в честь приехавших лауреатов поднимаются на отеле флаги. В нашей советской жизни праздники редки, а в моей собственной – и вообще не помню такого понятия, таких состояний, разве только в день 50-летия, а то никогда ни воскресений, ни каникул, ни одного бесцельного дня. И вот теперь несколько дней просто праздника, без действия. (Впрочем, натолкались и дела – визитами, передаваемыми письмами. Навязали мне внезапную встречу с баптистским проповедником Биллом Грэмом, исключительно популярным в Америке, а мне совсем неизвестным. Приходил эмигрант Павел Веселов, ведущий частные следствия против действий ГБ в Швеции, и со своей гипотезой об Эрике Арвиде Андерсене из "Архипелага".) Следующий день был совсем свободен от расписания – да день ли? даже после невских берегов поражает стокгольмский зимний день своею краткостью: едва рассвело – уже, смотри, вот и полдень, а чуть за полдень заваля – и темно, в 3 часа дня, наверно. В эти дневные сумерки наши дружественные переводчики повезли нас в Скансен. Это – в пределах Стокгольма чудесный национальный заповедник на открытом воздухе: свезенные с разных мест Швеции постройки, кусок деревни, ветряная и водяная мельницы (всё в действии), кузня, скотный двор,

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru домашняя птица, лошади и катанье детей в старинных экипажах, само собой и зоологический сад. Зимой под снегом многое приглушено, но тем ярче и привлекательней старинные жилища с пылающими очагами, раскаткой и печевом лепёшек на очаге, приготовленьем старинных кушаний при свечах, старинными ремёслами – тканём, вязаньем, вышиваньем, плетеньем, резьбой, продажей народных игрушек, стеклба, – а базарные ряды гудят, и в морозной темноте снимают вам с углей свежее жаренную рыбу. Все веселятся, а дети более всех. Вот это, пожалуй, и было самое яркое впечатление изо всех стокгольмских дней. Непривычные часы праздничного веселья. И радости-зависти, что ведь у нас могли бы быть народные заповедники не хуже, без проклятого большевизма, – а всю нашу самобытность вытравили, и наверное навсегда... (А ведь и у нас затевал Семёнов Тянь-Шанский в 1922 году из стрельнинского имения великого князя Михаила Николаевича устроить "русский Скандинавия", – да разве в советское лихолетье такое ко времени? Пописали в "Известиях" и закинули. Не к тому шло.) Ещё на следующий день удалось нам побродить часа два по старому городу на островах – вокруг королевского дворца старыми улочками, и по Риддархольмену с его холодными храмами. А все памятники Стокгольма едва ль не на одно лицо: все позеленевшие медные, все стоямя и все с оружием (умела когда-то эта нация воевать). Стокгольм как бы не гонится за красотой (чрезмерные водные пространства мешают создавать ансамбли через воду, как в Петербурге) – но оттого очень пбодлинен. И угластые площади его – не определённой формы, не подогнанные. Затем был обед, традиционный даваемый Шведской Академией – лауреату по литературе, в данном случае нам троим, этого года лауреаты были два милых старичка-шведа – Эйвин Ёнсон и Харри Мартинсон, и третий к ним – я, на четыре года опозданный. Это происходило в ресторане "Золотой якорь", очень простой старый дом, и досчатые полы, и домашняя обстановка. Тут и собираются академики каждый четверг обедать – обмениваться литературными впечатлениями и подготавливать своё решение. Едва мы вошли в залик – и уже какой-то плечистый, здоровый, нестарый академик тряс мне руку. С опозданием мне назвали, что это – Артур Лундквист (единственный тут коммунист, который все годы и возражал против премии мне). А всего академиков было, кажется, десять, больше (но не только) старички, были весьма симпатичные, а общего впечатления высшего литературного ареопага мира не составилось. И покойное течение шведской истории в XX веке, устоявшееся благополучие страны – может быть, мешали вовремя и верно ощутить дрожь века. В России, если не считать Толстого, который сам отклонил ("какой-то керосинный торговец Нобель предлагает литературную премию", что это?), они пропустили по меньшей мере Чехова, Блока, Ахматову, Булгакова, Набокова. А в их осуществлённом литературном списке – сколько уже теперь забытых имён! Но они и присуждают всего лишь в XX веке, когда почти всюду и мировая литература упала. Никто ещё не создал объективное высшее литературное мировое судилище – и создаст ли? Остаётся благодарить счастливую идею учредителя, что создано и длится вот такое. Но мечтается: когда наступит Россия духовно оздоровевшая (ой, когда?), да если будут у нас материальные силы, – учредить бы нам собственные литературные премии – и русские, и международные. В литературе – мы искуслены. А тем более знаем теперь истинные масштабы жизни, не пропустим достойных, не наградим пустых. Наверно, никогда за 70 лет Нобелевская литературная премия не сослужила такую динамичную службу лауреату, как мне: она была пружинным подспорьем в моей пересилке советской власти. Накануне церемонии собирали лауреатов на потешную репетицию: как они завтра вечером будут перед королём выходить на сцену парами и куда рассаживаться. 10 декабря так мы вышли, и неопытный молодой симпатичный, довольно круглолицый король, первый год в этой роли, сидел на сцене рядом со своей родственницей, старой датской принцессой Маргрете, она – совершенно из Андерсена. Уже не было проблемы национальных флагов над креслами лауреатов, как в буинское время, их убрали, – и не надо было мучиться, что же теперь вешать надо мною. При каждом награждении король поднимался навстречу лауреату, вручал папку диплома, коробочку медали и жал руку. После каждого награждения зал хлопал (мне – усиленно и долго), потом играл оркестр – и сыграли марш из "Руслана", так хорошо. Господи, пошли и следующего русского лауреата не слишком нескоро сюда, и чтоб это не был советский подставной шут, но и не фальшивая фигура от новоэмигрантской извращённости, а его стопа отмеряла бы подлинное движение русской литературы. По забавному предсказанию Д. С. Лихачёва литература будет развиваться так, что крупные писатели станут приходить всё реже, но каждый следующий – всё более поражающих размеров. О, дожить бы до следующего! Да, в этот день были же и дневные часы, короткий утро-вечер, но сегодня ведренные, без облаков, с холодным низким солнышком, резко-морозным ветерком. Нобелевская лекция моя напечатана уже два года назад, заботы нет, да и банкетное слово тогда же сказано, урезанное, но сегодня не обойтись без нового банкетного слова. Я составил его ещё накануне. Однако рассеянное состояние головы, много впечатлений, отвлечений, – и эти

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru короткие фразы не ложились уверенно в голову, а никак не хотелось мне читать с бумажки, позор, – но и сбиться не хотелось. И я пошёл прогуливаться невдали по узкому полуострову Скепсхольмену, с видом на Капельхольмен, с редко расположенными в парковой обстановке перемененно – домами старинными и новыми; и, по-тюремному, ходил по аллее туда-сюда, туда-сюда, туповато запоминал наизусть и посматривал на красное, как бы всё время заходящее на юге солнце. А два полицейских дежурили тактично в стороне, наблюдая за подходами ко мне. Почти это было – как спецконвой сопровождает и охраняет избранного зэка. В ратуше опять мы церемонийно шагали с предписанными в программках дамами и, ни позже ни раньше, в какой-то момент, вослед за королём, садились на свои места, обозначенные табличками. (Со мною была дама из рода Нобелей, ещё говорящая по-русски. Аля сидела напротив с видным посланником.) Банкет был в этом году в самом большом зале ратуши, и столов 20 гостей уже были плотно усажены прежде нас. Где-то тут совсем близко сидели приглашённые мною Стиг Фредрикссон с Ингрид, верные спутники нашей борьбы, однако они терялись в массе гостей, мне очень хотелось выделить их, подойти к их столу, – но соседка моя объяснила, что это было бы дерзким и невиданным нарушением церемониала: пока король сидит, никто из гостей не смеет приподняться. Еле я удержался, насильственно. А потом подошёл и момент, когда подняться требовалось – идти к трибуне, говорить своё слово. Все лауреаты читали по бумажкам, мне удалось прочесть на память, неплохо. (Би-Би-Си, "Свобода" донесут голос до наших.)* А в общем, наивен я был четыре года назад, призывая их за этим чопорным банкетом думать о голодовке наших заключённых. Но больше: продешевился бы я крепко, вот только ради одного такого церемонийного дня – уехавши бы из России добровольно, да от неё тут же и отсеченный: тут в Стокгольме и узнать о лишении гражданства: упала секира, сам уехал? Хорош бы я был? (Аля поняла это в 1970 раньше меня.) И чем бы я тогда отличался от Третьей эмиграции, погнавшей в Америку и Европу за лёгкой жизнью, подальше от русских скорбей? Сейчас хор студентов с галереи зала пел мне, с сильным акцентом, "Вдоль по улице мятелица мятёт", – так, слава Богу, не сам я эту улицу избрал, но шёл, как каждый зэк идёт, судьбою принуждённой. На следующий вечер, 11 декабря, был ужин у короля во дворце, и к нам с Алей приставлен ещё один русскоговорящий старичок из рода Нобелей. Дворец был мрачен и пуст, так огромен – совсем уже не по маленькой Швеции. Где-то в одном его крыле жил молодой король, ещё не женатый, – из нашего Гранд-отеля, через залив, многие окна дворца были видны тёмными. Теперь в зале нас выстроили изогнутой вереницей, попеременно дам и мужчин, впереди стал самоуверенный премьер социалист Пальме, истинный хозяин положения, и король начал обход с него. А рядом со мной была тоже дама социалистическая госпожа Мирдаль, то ли бывший, то ли нынешний министр экономики, говорили мы с ней по-немецки, а политический диссонанс между нами был – как скрести ножом по тарелке. Обеденный зал, как галерея-коридор, с длинным столом вдоль, очень эффектные старинные стены, мебель, церемониймейстер за стулом старой королевы, – а обед был скучный, да и скудноватый, шутили мы с Алей, что Пальме совсем до ноля срезал королевский бюджет. После обеда было церемонийное стояние с кофе и напитками в предзалье; минут сорок, пока король не ушёл, – все должны были стоять. Аля не удержалась и через нашего старичка спросила короля: трудно ли быть королём в наш век? Он отвечал очень просто и серьёзно. Ещё на следующий день я назначил пресс-конференцию, а перед тем ездил к несчастной матери Рауля Валленберга, 29 лет уже сидящего, если не умершего, в советской тюрьме. (Его я первоначально понимал как моего Арвида Андерсена, – "Архипелаг", ч. II, гл. 2, – но не сошлось.) И пресс-конференция если была чем полезна и нужна, то только тем, что я пространно говорил о Валленберге и упомянул потом Огурцова, в то время пробно сажаемого в психушку. Конференцию эту я созвал, предполагая отдать свой долг прессе за целый год пребывания на Западе, – и опять ошибся. Корреспондентов было больше половины шведских да русско-эмигрантских, со своими специфическими вопросами. А для западной прессы Стокгольм был – отдалённый угол, где ничего важного не могло быть сказано, никого серьёзного и не прислали. А для меня, для писателя, форма пресс-конференции, как, впрочем, и интервью, – совершенно ненужная, чуждая форма. У писателя есть перо – и надо выражаться самому и письменно. Всё не находил я правильно, как же с этой прессой обращаться. На обратном пути заехали мы на день во Франкфурт-на-Майне, познакомиться с "Посевом" и ведущими НТСовцами. Моё первое касание их было – Евгений Дивнич в Бутырках 1946 года. Он производил сильнейшее впечатление своей пламенной (и православной) убеждённостью, но никакого НТС я тогда не расчуял, даже название не уловил. Потом в СССР годами нас страшили НТСом как самым ужасным пугалом. (Отчего думать надо, что советская власть их всё-таки побаивалась: ведь единственная в мире организация против них с открытой программой вооружённого свержения.) Из радио знал я потрясающий случай, как агент госбезопасности Хохлов отказался убить их

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru лидера Околовича (теперь повидали мы и старичка Г. С. Околовича, уже без трагического флёра). Потом наезжали к нам в Цюрих то В. Поремский, то Р. Редлих, присылали свою программу-устав, читал я их. Душой – я вполне сочувствовал начинателям их Союза, молодёжи русской эмиграции в Европе в 20-е-30-е годы: естественный порыв переосмыслить и прошлое и будущее, искать собственные пути к освобождению России. Но вот читаю теперь – и ощущение какой-то неполномерности, недотянутости до полного уровня и полного объёма. Программа их с использованием мысли о солидаризме (а не классовый борьбе!) как главной движущей силе развития человечества составлена была настолько безнационально, без всякого даже упоминания русской истории или её особенностей, что довольно было бы вместо "наша страна" везде подставить Турцию – и равно пригодилось (не пригодилось) бы для Турции. Теперь мы наблюдали НТСовцев сутки, устроено было теоретическое заседание со всем их руководством, – и впечатление, увы, подтверждалось: не слишком живоносная ветвь поражённой, рассеянной, растерянной русской эмиграции. В революцию затмилось русское небо и не стало видно вечных звёзд, утерялась связь с уверенным ходом их – и остались мерки подручные. И для освобождения России никак бы не могли в те годы придумать НТСовцы другой формы и метода, как создать такую же централизованную заговорщицкую партию, как большевики, только с другим знаком, чистую. Однако и признаться: если кто в эмиграции ещё и держал какой-то живой обмен с кем-то в советском населении, то именно НТС. Их долгой истории я не изучал, были у них и конфликты, разрывы, отходы, были большие сложности в подгитлеровское время – однако ж вот устояли. Все они жили весьма скудно, всё отдавалось борьбе, как у прежней революционной интеллигенции, но ветер века не подхватывал их паруса, а, напротив, больно сбивал. И из атакующего брига они невольно дали большевикам превратить себя в пугало с опавшими чёрными парусами, которого наши соотечественники только боятся, сторонятся. Внушительно говорили НТСовцы о своей подрывной противобольшевицкой деятельности и агентуре в СССР – и можно было бы поверить, если б мы не были сами из той страны и не ощущали, что тут больше самовнушения, а до "подрывной деятельности" далеко. Главные мыслители их не поражали крупностью, просто непременные теоретики, нельзя же партии без них. Но и не без живых умов было их руководство – а не было под ними истой почвы, в которой бы им укрепиться, не было слияния с той народной жизнью, как она развивается под большевиками, – да ведь это искусственно как воссоздашь? При всём их идеализме, динамизме – как присоединиться к текущей, значит подсоветской, российской жизни, и как повлиять? Все они сильно дисциплинированные, централизованные, политизированные, – а какого-то вольного дыхания, жизненной простоты не могли добрать. Все они православные, построили свою церковь, все посещали службы, отличный хор, – но и это ведь скорее мысленная Россия, прошлая, будущая, а не сегодняшняя. Состарились те молодые, которые когда-то начинали Движение, потом вливалась в них часть Вторая эмиграция, затем выростала тут своя молодёжь, – а стоит ветка как отдельная, не соединённая со стволом. Таково заклятье жизни вдали от своего народа... И это ж ещё насколько лучше тех тысяч из эмигрантской молодёжи, кто без сопротивления дал себе уплыть дорогой западного благополучия. Нет, у какого другого народа эмиграция, может быть, и сила, да не у нас. Органично для русских?.. – увы, отрицать трудно. И с особенно тревожным чувством присматривались НТСовцы к новоприбывающим из СССР, искали единения и понимания с ними, – а далеко не всегда находили. И невольно становились перед вопросом: на что ж им надеяться? Возвращение в Цюрих принесло мне вполне неожиданный сюрприз. За время моей поездки адвокат Хееб получил и теперь передал мне письмо от цюрихской "полиции для иностранцев" (в многоприютной Швейцарии есть такая). Её шеф Цеентнер (Zehntner) писал, что, согласно сообщениям прессы, Александр Солженицын дал 16 ноября в Цюрихе пресс-конференцию. При этом он не только представлял эссе некоторых советских авторов, но высказал критические соображения о коммунизме вообще и о роде и способе, каким он практически осуществляется в Советском Союзе. И высказывания его, по крайней мере частично, имели политическое содержание. Так вот, согласно решению швейцарского правительства от 1948 г. касательно политических речей иностранцев, иностранцы, ещё не обладающие швейцарским подданством, могут высказываться на политические темы как на открытых, так и на закрытых собраниях – только с разрешения. Однако такое разрешение не было получено для упомянутого собрания. Просит полиция моего адвоката обстоятельно разъяснить Александру Солженицыну прилагаемое правительственное решение. А в будущем требуется, чтобы перед каждым таким собранием испрашивалось бы разрешение цюрихской полиции не позднее как за десять дней. ("Десять" и в его фамилии было корнем: Десяткин? Десятник?) Десять суток! Фью-у-у-у! Вот так приехал в свободную страну! Да неужели же в свободной стране правительство отвечает за частные высказывания жителей? Почему правительству надо брать на себя ответственность за их молчание? Да мне и КГБ таких указаний

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru не выставляло: не высказываться на политические темы или за десять дней спрашивать у них разрешения! То есть даже так надо понять, что если я хочу у себя в доме вести политическую беседу с приятелями ("закрытое собрание") - я должен предупредить полицию за десять дней?! Как будто звук боевого рожка снова доносится до уха! Привычный позыв - да немедленно ответить им публично! Грохнуть! обнажить ихние швейцарские законы! Благодетели! - приют мне предоставили! - чтобы я молчал глуше, чем в СССР? И - не удержался бы, скорее всего так прямо, неприлично бы и грохнул! трудно отстать от навыка. А - как же мне дальше тут жить с заткнутым ртом? Но уже есть швейцарские друзья, наши добрые Видмеры, перед которыми неудобно сделать такой шаг, не посоветовавшись: не отвечают они за всё швейцарское, даже за всё цюрихское, хоть Видмер и главный в Цюрихе человек, а не хочется делать им больно и стыдно за свою страну. И они, конечно, в ужасе от моего проекта, отговаривают. Потом и - радость Советам не хочется доставлять: как меня тут прижали. А потом: отъезд из Швейцарии всё равно решён, а теперь - тем более бесповоротно. То, что длится сейчас, - это временное переходное состояние, европейская пересадка. Разве мы тут поселились, пускаем корни? мы чуть-чуть держимся. Это письмо из полиции только лишний раз толкает: да, да! здесь не моё место. Нет, ехать дальше. Но ответ полиции я пишу выразительный: на указанной пресс-конференции я не только не высказывался за насильственное свержение советского режима, но всячески предостерегал от таких действий. А вот Ленин в 1916-17, живя здесь, в Цюрихе, открыто призывал к свержению всех правительств Европы, в том числе и швейцарского, - и таких предупреждений от швейцарской полиции не получал. И оговорил, что когда-нибудь, может, это письмо опубликую*. Одновременно всё же прошупал: да неужели уж так ничего в Швейцарии не смею? В Москве вышибли с секретарей ЦК моего "приятеля" Дёмичева - и я высказался в "Нойе Цурхер цайтунг" о новом повороте в СССР. Ничего, прошло без полиции. Письменно - можно. (А через два месяца выступил в Цюрихском университете перед студентами-славистами*, правда, всего лишь на тему о русской литературе и языке, ни о чём другом, - тоже прошло беспоследственно.) Но вот в эти самые месяцы одна швейцарская торговая фирма уволила свою служащую, переводчицу, по протесту советского клиента: на его бранные слова о Солженицыне переводчица спросила: "Да читали ли вы его?" И - уволена! Независимая свободная старейшая демократия Европы! Нет, я скорее понимал тот стонущий зов, который увлёк почти всю Вторую эмиграцию за океан: кто отведаль советского рая - тот делает выводы до конца. Во мне наслоились тюремные потоки 1945 - 46 годов ("схваченные в Европе", выловленные гебистами даже поодиночке, хоть в центре Брюсселя), я делил с ними камеры и этапы, я ощущал себя братом Второй эмиграции. Да может быть, никакого броска на Европу и не будет, но не хочу ежедневно томиться, что мои свободно разложенные архивы и рукописи могут погибнуть, - так "Красного колеса" не написать. Отъезд из Европы решён бесповоротно, но тем ещё напряжённей тяга к России: да чем же ускорить её освобождение? Бродило во мне такое намерение: теперь, вслед за глухими вождями - да обратиться, с другого конца, к молотёжи Советского Союза? Вот, сохранился у меня и набросанный тогда проект, хотел приурочить его к Новому году: "Наступающий 1975 год кончает собой три четверти XX столетия. Уже окрашено оно цветами, какие заслужило: красною кровью павших, чёрной тюрьмой мучеников и жёлтым предательством большинства. И всё же четверть столетнего поля ещё остаётся свободной для остальных, лучших красок спектра, и все они - в наших грудях и в нашей воле. И если бы на 4-ю четверть мы выплеснули бы наше лучшее - ещё изменился бы весь тон картины, и ещё могла бы она получить смысл, которого за 75 лет не составила. XX столетие, из самых позорных и в мире, и в нашей стране, - ещё можно спасти! Первый же год этого века в России был ознаменован (и, видно теперь, символически) мощным студенческим движением. Преследования тех студентов по нашей сегодняшней мерке были комичны, последствия их движения - ужасающие. Всё делалось ими от чистых сердец, но безо всякого общественного опыта, нахватанными теориями революции и насилия. Сегодня, напротив, студенчество наше - в дремоте, немощи и старческом благоразумии: лучше жить на коленях, чем умереть стоя. Более запуганного и смиренного студенчества, чем в нашей стране, нет сейчас на земле нигде: студенты арабские, эфиопские и тайландские поражают развитием и смелостью по сравнению с нашими. Но этим сегодняшним индивидуальным благоразумием вы и на 4-ю четверть столетия копаете себе ещё одну братскую могилу коллективного рабства. Кому сегодня 20 лет - к концу столетия будет под 50, вся лучшая часть вашей жизни и пройдёт в избранном рабстве. Вы ждёте освобождающего чуда? Ниоткуда оно не спустится. Либо - сами вы это чудо добудете, либо - не будет его. И кому же менять условия в нашей стране, если не вам?.." Не дописал. Сомнение: ещё как будто я имею право так обращаться к ним, сам недавно из боя, а может быть, за этот неполный год безопасности, уже и потерял право? отсюда - туда - может быть, уже не смею так? Это уже звучит безответственно, пафосно, не тот тон? Отъезд из

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru Европы – бесповоротен, и даже уже намечен на эту весну. Конечно Канада. Огромная, тихая, богатая, ещё силы своей не сознающая дремливая Канада, и такая северная, и такая похожая на Россию, да через Аляску и граничащая с ней. Вдруг что-то родное? Батюшки, остаётся всего лишь несколько месяцев, а мы и Европы до сих пор не видели! мы даже в Париже не были ни разу! быстро собираемся, катим туда, прямым поездом 6 часов, – но сколько ж времени, о Господи, получать визы! Нам, иностранцам, неполноправным гражданам, каждый шаг – через визу. Встретить в Париже Новый год. Аля едет в Париж больше как человек естественный: смотреть неповторимый заманный город, набережные, бульвары, картинные галереи, Нотр-Дам, живые легенды. А мне – по сжатым срокам моим и по объёму рёбер – да куда ж это всё вместить бы? Я и тут – с деловой, "революционной" целью: моё – это Париж русской эмиграции, какой он увиделся и достался нашим горьким послереволюционным эмигрантам, – не сплошь всем, не тем, кто бежал, спасаясь, а той белой эмиграции, которая билась за лучшую долю России и отступила с боями. Это тоже – часть моего "колеса", это всё туда входит: Париж Первой эмиграции, как она выживала тут полвека и больше, как исстрадалась и умерла. Коснуться русского Парижа. Смешно так получилось: 27 декабря, только вышли мы с Восточного вокзала (ошеломлёнными глазами боясь допустить, что вот эти серые дома и узкая улица, по которой мы поехали, и есть тот самый Париж, исчитанный с детства), как востречавшие Струве перекинули нам на заднее сиденье сегодняшнюю парижскую газету: на первой странице, словно выстроенные в ряд, сфотографировались четверо писателей новой "парижской группы": Синявский, Максимов, В. Некрасов и А. Галич. А в интервью шла всячинка, Некрасов изумлялся обилию фруктов на Западе как самой поражающей его черте после изнурительного рабского Востока, а Галич уравнивал мои вкусы с брежневскими и предсказывал, что я никогда не приеду в ненавидимый мною Париж. Поместились мы в Латинском квартале на улице Жакоб (рядом с издательством "Сей") – в единственном изолированном мансардном номере, куда доводила крутая лестница как корабельная и с морским канатом вместо поручня. Мансарда была достойно-парижская, из окна одни крыши и каменные колодцы дворов. Погонял я по Парижу тоже немало, всё пешком, ещё сохраняя ноги и обычай юности (тут примешивается в память и второе посещение Парижа, той же весной, и ещё третье, через год), кажется и видел всё главное, подобрал – не настолько, чтоб делиться с читателем, а чтобы хватило самому. (Лучший день тут был – прогулка с о. Александром Шмеманом, знатоком и города и истории его, – он вёл меня и, по мере встречных мест, попеременно проводил то через Париж Людовиков, то через Революцию большую, революции малые, войну прусскую, Мировую первую, 30-е годы, немецкую оккупацию, да и те самые "русские" кварталы, к которым влёк меня главный интерес.) Всю мою советскую юность я с большой остротой жаждал видеть и ощутить русскую эмиграцию – как второй, несостоявшийся, путь России. В духовной реальности он для меня не уступал торжествующему советскому, занимал большое место в замыслах моих книг, я просто мечтал: как бы мне прикоснуться и познать. Я всегда так понимал, что эмиграция – это другой, несостоявшийся вариант моей собственной жизни, если бы вдруг мои родители уехали. И вот теперь я приехал настигнуть эмиграцию здесь – но главная её масса, воинов, мыслителей или рассказчиков, не дождавшись меня, уже вся залегла на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. И так моё опозданное знакомство с ними было – в сырое, но солнечное утро, ходить по аллеям между памятниками и читать надписи полковые, семейные, частные, знаменитые и безвестные. Я опоздал. Правда, ещё кто-то жил в инвалидном доме по соседству с кладбищем, даже полковник Колтышев, очень близкий к Деникину в самую гражданскую войну. Правда, в Морском собрании (особняк, ведомый старыми моряками) мне созвали двух адмиралов и трёх полковников той войны. Ещё в разных местах Парижа навещал я старичков с памятью того времени, даже крупных по своим бывшим постам, или ездил к бережливым монархистам посмотреть в квартирке сохранённый уникальный фильм о царской семье. И ко мне в номер приходили старики, тогдашние молодые офицеры, рассказать перед магнитофоном впечатления революционных дней, деформированные сумраком полувека. Ещё повидал я и сына Столыпина, и бывшего сталинского приближённого Бажанова, добровольно покинувшего зенитную большевицкую карьеру. (В раннем издании "Архипелага" я упомянул, что его убили, он написал мне по-твеновски: "Слухи о моей смерти преувеличены".) А портье нашей гостиницы вдруг отвечал по-русски и оказывался не Жаном, а Иваном Фёдоровичем, с грустной костью улыбки при этой вымирающей речи. А Новый год мы со Струве и Шмеманами отправились встретиться в так называемый (уже только называемый для экзотики) русский ресторан Доминика на Монпарнасе – и сидела там состоятельная публика, чужая России, а старый русский официант, высокий статный мужчина, наверно бывший офицер, – в полночь надел для смеха публики дурацкий колпак и пытался смешить, едва ли не кукарекая. Сердце разрывалось от такой весёлой встречи. (Но и вообразить же можно было 55 этих встреч, с пожеланиями каждый раз – чтобы скovyрнулись большевики.) В свою

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru очередь предполагалось, что и я представляюсь старой эмиграции, соберутся они в каком-то зале, – но схватил сильный грипп, в тот новогодний раз мы уехали больные, а в другой приезд уже не пришлось как-то, – и никогда теперь уже не придётся, увы. Не замирала и жилка современности: в наш мансардный гостиничный номер приходили к нам "невидимки" – Степан Татищев, Анастасия Борисовна Дурова, кто так основательно нам помогла, однако даже имя её мне не называлось прежде, а теперь она весело рассказывала о подробностях своей конспирации. Пришли и новые эмигранты Эткинды, ещё сильно не в себе от здешней жизни, особенно потерянная Екатерина Фёдоровна, и вспоминали мы как некое замороженное счастье – злосчастие тех дней, когда меж нами жил тайный "Архипелаг". (Нельзя было предположить, что вскоре обречены разойтись наши дороги.) В другой вечер мы с Алей бродили со Степаном Татищевым по пляшущему световому базару Верхних бульваров, уговариваясь о подробностях будущих тайных связей с Россией. Наконец посетил я со Струве русскую типографию Леонида Михайловича Лифаря, где печатался мой "Август", "Архипелаг", да и всё другое, – ту страшно тайную типографию, как я воображал её из Москвы, когда предупреждал Никиту Алексеевича: с рукописью в руках даже не перемещаться по Парижу в одиночку, – но разорвалось бы тогда сердце моё, хорошо что не знал: типография Лифаря – это открытый двор, открытый амбар, куда может в любое время всякий свободно зайти и ходить между незаграждёнными стопами набора, того же и "Архипелага". Связь Лифаря с издательством "Имка" не могла не быть известна ГБ – и как же они проморгали подготовку "Архипелага"? почему не досмотрел сюда их глаз, не дотянулась рука, – и так моя голова уцелела? А Лифарь сам пережил 30-е годы в СССР – и вот почему всем сердцем воспринял "Архипелаг"*. Русская "Имка" имела за плечами весьма славную историю в русском зарубежье. В десятилетия, когда торжество коммунизма в СССР казалось безграничным, всякий свет загашен и растоптан навсегда, – этот свет, ещё от религиозного ренессанса начала века, от "Вех", – издательство пронесло, сохранило и даже дало ему расцвести в малотиражных книгах лучших наших уцелевших мыслителей концентрат русской философской, богословской и эстетической мысли. Само название ИМКА, диковатое для русского уха, досталось издательству по наследству от американской протестантской организации (YMCA, Young Men's Christian Association), питавшей его небольшими средствами, затем завещавшей своих опекунов. Издательство начало действовать с 1924 года, первой книгой издав зайцевского "Сергия Радонежского", позже федотовских "Святых древней Руси", затем издавало С. Булгакова, Франка, Бердяева, Лосского, Шестова, Вышеславцева, Карсавина, Зеньковского, Мочульского. С 60-х годов книги "Имки" помаленьку стали проникать в Советский Союз, открывая нашим читателям неведомые миры. А моя связь из Москвы была не с "Имкой", а лично с Никитой Струве. Струве и был для меня "Имка", ясно было, что он её вёл и решал, с ним мы определяли все сроки печатанья, условия конспирации. И когда Бетта привезла в Москву, что в Париже объявился какой-то Морозов, который претендует, что имеет права на мои книги, – мы переполошились: ещё новый пират? ещё новый агент ГБ? – хотел я даже послать гласное опровержение. Но когда по западному радио объявили о выходе "Архипелага" – то назвали Ивана Морозова как директора крохотной "Имки", до вчерашнего дня мало кому на Западе и известной. Вот тебе нба, откуда взялся? А в Цюрих приехал Струве и подтвердил: да, директором у них – Морозов. И даже пришло письмо от Морозова с настоянием срочной встречи, но и какой-то сдвиг был во фразах, вызывал удивление. Н. А. объяснил мне, что Морозов все месяцы тайного набора "Архипелага" ничего о том не знал. В день же выхода 1-го тома Н. А. лежал больной, а книги внезапно пришли из типографии – и тут Морозов дал интервью прессе, рассказал об издательстве и о себе. А когда мы получили 1-й том в Москве – были горько изумлены большим количеством опечаток, но верно приписали это конспирации. (По конспирации, только Струве с женой и корректировали, как успевали.) В наши самые грозные московские дни – мы составляли список опечаток, и "по левой" слали их в "Имку", они на ходу, при допечатках тиража, исправлялись (а тираж "Архипелага"-I был для них невиданным – 50 тысяч, до тех пор они крупней одной тысячи редко что выпускали и всего-то по 2-3 книги в год. Была эпиграмма в эмиграции: "Отвечает ИМКА: мы / издаём одни псалмы"). И уже в Цюрихе, как упомянуто, при нашей неустроенной жизни, при наших трёх младенцах – Аля вела и ночами вычитывала корректуры. Мы ещё тогда не охватили эмигрантской реальности. Вот мы с боем вышли из такой пещеры (из глубины её казалось – на Западе всё легко, всё просто), – теперь только рукопись протяни, её подхватят и тут же принесут готовую книгу, – нет, выходит, здешнему русскому издательству нужно сначала помочь стать на ноги. Да, так нам открывалась извечная нищета Первой эмиграции и сиротство её. Теперь в Париже я мог ближе рассмотреть это издательство и немало подивился, на чём оно держится. Струве, профессорствуя в Парижском университете, был бесплатным сотрудником и радетелем, душой издательства, но не занимал и не хотел занимать никакого поста. Оплаченным директором состоял Морозов, при нём

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru бухгалтер, и ещё немало сотрудников толпились избыточно в книжном магазине, которому Морозов и придавал первостепенное значение. В самом же издательстве в тот год не было ни одного редактора, ни постоянного корректора (а типографию, естественно, каждый раз нанимали). Морозов, выходец из русской крестьянской семьи в Эстонии, не проявлял издательского дара, линия издательская была не всегда разборчивой, и в ряду религиозно-философских изданий странно выглядели третьесортные скороспешные диссидентские репортажи, а то лихие, но не живучие новинки самиздата. (В суматохе хлынувшей новой эмиграции иногда не мог и Струве разобраться, что это за явление и что оно в советской жизни весит.) Оказалось, что и договоры со мной, заочно написанные, – находятся в безалаберном и безответственном составе, Морозов и с флегмом заключил какое-то "джентльменское соглашение" – "делить советских авторов", ничего ещё не зная о тайных переговорах Струве со мной и о грядущей череде моих книг. Морозов и в "Собачем сердце" Булгакова находил "неприличные места", и по советскому словарю Ушакова проверял в "Раковом корпусе" "странные слова", каких быть не может. (О словаре Даля он не знал.) В конце 60-х годов он психически заболел, пытался кончать с собою, и полгода провёл в клинике. С тех пор находился под лекарством, оглушённый, не выходил полностью из болезненного состояния, производил странное впечатление – то напряжённым усилием ширить глаза, то восторженным взглядом, то фразами без понятия дела, в чём заторможенный, а в боязни разорения очень возбуждённый. В первый же мой приезд в Париж, едва с Морозовым познакомься, я сильно удивился и спрашивал Струве, и советовал: зачем же это показное руководство, тормозящее работу? Струве отклонял: с Морозовым долгие годы сотрудничества, в конце 30-х он приехал из Прибалтики, молодой энтузиаст, и много сделал для восстановления РСХД во Франции. Он отдавался делу целиком, бескорыстно, но неумело. А в эмиграции так узок круг работников, всякий разрыв воспринимается болезненно. Однако несогласованность руководства и беспорядочные действия в издательстве просто в отчаяние приводили. Уже я связан был с ними прохождением всех моих книг, и со Струве и с "Вестником" был связан душевно и в работе, – однако и трудно же так дело вести. Вдруг – узнаю, что кто-то торгует моими фотографиями, и с каким-то ещё произвольным девизом. Кто же? "ИМКА-пресс"! Морозов распорядился наготовить этих фотографий и принудительно добавляет покупателям за отдельные 10 франков. Погасили, когда уже немало так разослали. То, накануне выхода "Телёнка", Морозов, не спросив и не известив, отдавал его большими кусками в "Новое русское слово", суетливую ежедневную недограмотную газету в Штатах. После всего такого предполагаемое собрание сочинений я решил было отдавать "Посеву", гораздо крепче организованному, хотя марка "Посева" затрудняет распространение книг в СССР. (Очень сопротивлялась Аля: ни за что не уходить из "Имки"! она её почти боготворила со студенческих лет, по приходящим редким духовным книгам. Всё же часть публицистики в тот год я издал в "Посеве".) "Телёнок", как он дописался после высылки, должен был появиться вот-вот. Есть много опасностей – и творческих, и личных (а на Западе – и судебных, как выяснилось) – в печатании слишком свежих воспоминаний, в том числе и потеря пропорций, и потеря дружб. Л. К. Чуковская отозвалась "по левой" из Москвы, что это ошибка моя была, мемуары не должны так печататься, надо всему остыть. Другие приятели из Москвы шутили, что я "оставляю своим будущим биографам выжженную землю" (и в шутке есть правда: пока вот успеваю не оставить прожитого в хламе). А я считаю: тут верный срок угадан, "Телёнку" никак было невозможно остывать, это не мемуары, а репортаж с поля боя. Вот нынешнему второму тому Очерков придётся, наверно, полежать и полежать. Предвидя в Канаде долгие поиски места и долгую потерю рабочего времени, а ещё и по свежести цюрихских впечатлений, я спешил именно сейчас написать, кончить ленинские главы. Включая "Март Семнадцатого" их набралось теперь, по обилию материала, больше, чем ранее предположенных три, возникала самостоятельная картина, и даже гораздо самостоятельней, чем утонут они потом в Узлах, – да и когда ещё то "Красное Колесо"? За годами. Работать мне на цюрихской квартире было по-прежнему шумно, тесно, невозможно – и я опять уехал в горы, всё в тот же Штерненберг, один раз на две недели, другой – ещё на три. Как все старые крестьянские швейцарские дома, и этот имел часть комнат неотопливаемых, с расчётом на холодный сон в слабоморозные ночи с распахнутыми окнами, нестарые люди в большинстве спят тут так. Сперва это мне казалось диковато – входить в морозную спальню, но потом я привык, и пристрастился, и стало это моей привычкой, наверно, на всю жизнь, уже и при 25-градусном морозе в Вермонте. За ночь наглотавшись свежего воздуха, днём и не нуждаешься никуда выходить гулять, сидишь и работаешь день насквозь. А напоминала мне эта одинокая зимняя работа – мою работу в Эстонии над "Архипелагом", и как там я урывал в лунную ночь выйти и ощутить мир – так и в Штерненберге, при луне, уже поздно ночью, браживал с палкой по снежным горным тропинкам и не наглядывался суровостью этого провалистого и взнесенного пиками

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru пустынного лунного пейзажа. На таком пейзаже – где в збаливе лунного сияния, где с резкими чёрными тенями гор и деревьев – мне и запомнилась та моя исполгающая выработка над Лениным до последних сил и где-то тут, между горами, его мятущийся чёрный дух. А в рабочей комнате прикнул я к деревянной стене, чтобы зримее ощущать непрерывно, – портрет Ленина, один из самых зловещих, где он и воплощённый дьявол, и приговорённый злодей, и уже смертельно больной. (Придумал, чтобы на всех мировых изданиях этот портрет был на обложке. В русском издании портрет сослужил дурную службу: до того ненавидели его старые эмигранты, что такую книгу даже в дом внести не хотели. У нас, советских, отношение к Ленину одомашненно-юмористическое, у эмигрантов – зачуранье.) Работал – совершенно весь отдавшись, ощущал себя на главном, главном стержне эпопеи. В эти пять недель в Штерненберге меня работа захватила настолько, что я потерял ощущение современного момента, знать его не хотел, и как он там меня требует или вытягивает к себе. Даже обычные известия по коротковолновым станциям перестал слушать. Из горы собравшихся материалов рос и рос, вровень Ленину, прежде не задуманный Парвус, с его гениально простым же планом разломать Россию сочетанием революционных методов и национальных сепаратизмов, более всего украинского: в лагерях российских военнопленных создавать для украинцев льготные условия и поджигать в них непримиримость к России. (И План – удался! Никакая Британская Империя не могла раньше осуществить такого: не решились бы на революционный огонь.) Но возникла для меня трудность: как встретить Парвуса и Ленина в 1916, дать им прямой диалог? Такая встреча их была, но в 1915 в Берне, я же описывать 1915 год отказался. А в 1916 в Цюрихе – не было личной встречи, лишь обмен письмами. Тогда – изневоли – я отступил от обычного реализма и применил фантастический приём, как бы дать переписке перетечь в диалог, ввёл чертовщину: посланец не только привёз письмо, но и самого уменьшенного Парвуса в бауле. Приёмом его распухания, вылезания, а после разговора исчезновением – фантастика и исчерпывалась, весь диалог Ленина-Парвуса и столкновение их мыслей и планов даны реально и в полном соответствии с исторической истиной. И вот, за пять недель я кончил – завершил почти до готовности в печать – все цюрихские ленинские главы, их оказалась не одна, как написал в Москве, а десять. Ощущение было, что взял сильно укреплённую высоту. После этого в Цюрихе хотелось поблагодарить и попрощаться с Платтенем-младшим, Мирославом Тучеком из Социальштелле и Вилли Гаучи, автором обстоятельной книги о Ленине в Швейцарии. Я предложил пойти в один из ресторанчиков, связанных с Лениным. Пошли в "Белого лебедя", сели за свободный стол – и вдруг прямо перед собой на стене я увидел... портрет Ленина! так и заставили его быть свидетелем торжества над ним самим... Ну, спасибо, милый Цюрих, – поработали мы славно. Та весна была ещё тем тяжела, что кончались обманутые Вьетнам-Лаос-Камбоджа, западный мир – как никогда слаб и в отступе. А теперь, когда хорошо у меня шла работа и всё увереннее я выходил на свою твёрдую дорогу – мучило меня, что я не использовал своего особого положения, своего ещё крепкого на Западе авторитета, чтоб этот Запад очнуть и подвинуть к самоспасению. И (не по памяти, а записано у меня как удивительное): 20 марта 1975, в четверг первой недели Поста, стоял я на одинокой трогательной службе в нашей церковке и просил: "Господи! просвети меня, как помочь Западу укрепиться, он так явно и быстро рушится. Дай мне средства для этого!" Через полтора часа прихожу домой, Аля говорит: "Только что звонили из Вашингтона, час назад Сенат единогласно проголосовал за избрание тебя почётным гражданином США". (Это уже второй раз, в обновлённом составе, переселившая сменённую палату представителей, которая затормозила первое избрание.) И я понял так: что надо действовать через Соединённые Штаты, и даже в этом году. Ну, да я ж в ту сторону и ехал. По нашей задумке было – что я уже в Европу не вернусь: найду в Америке землю-дом, куплю, там сразу и останусь работать, чтоб не остывало. А тебе, Алюня, ещё раз одной семью перевозить. Тяжко? ещё бы не тяжело. Да главная трудность нашего переезда была: что устройство – громоздкое, долгое, и все стадии его, от поисков участка, покупки, достройки, обгородки и сам переезд, должны пройти в тайне от КГБ: оно не должно узнать прежде поры. В стеснённом Цюрихе, где до каждого соседнего дома было 15 метров, мы ни под потолками, ни во дворике называть имена и дела не решались. Любой подозрительный приезжий подходил к заборчику, подзывал детей или приставал к нам. Да через низкий наш заборчик и перескакивали. КГБ и за пределами Союза была очень распространённая и действенная сила, доставательней, чем это казалось европейцам. А в Швейцарии они кишели гнёздами. И телефонные разговоры через океан уже многие подслушивались Советами, значит, мне из поездки и разговаривать не обо всём открыто. И до этого моего последнего отъезда оставалось мне жить в Европе – один апрель. А ведь мы так мало ещё повидали за вечной работой! А ещё ж надо и выступить на прощанье в Европе. Решили, что это – в Париже, где в начале апреля выходит французский "Телёнок". На этот раз во Францию мы отправились с Алей на автомобиле, чтобы

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru лучше посмотреть страну. Языка мы не знали оба, но часть пути шла по Швейцарии и Эльзасу, выручал немецкий, а позже мы должны были встретиться с Никитой и Машей Струве. В несколько дней вместились много. Пасмурным утром побродили в устоявшейся угловатой древности Базеля. Потянулись малыши и просёлочными дорогами вдоль Рейна, смотрели доты линии Мажино, в приречной тихой долине у самого Рейна ночевали в Санде, в гостинице – крестьянском доме. Первые же часы во Франции почувствовали мы расвобождение от какой-то утомительной обязательности, сковывающей в немецкой Швейцарии. И ещё – эта полупустота пространств, в заброшенном грязном леске – вдруг мусорная куча (Швейцария б такого не выдержала час!), – простота, которой не ждёшь от Европы, да незаселённость, которой из Союза вообразить нельзя: нам оттуда представляется вся Европа сгустившимся людским роем. Нарядный острый лёгкий разнообразный Страсбург, пересечение французского и германского духа (для европейского парламента вряд ли лучше и придумать место). Обаятельное игривое Нанси с дворцовой площадью лотарингских королей, королевским парком и бульваром лихих балаганов (мы попали на день ярмарки). Всего двух таких провинциальных городов уже довольно, чтобы почувствовать: только та и страна, какая не исчерпывается своею столицей, и даже Франция, о, далеко не вся – Париж. (А ведь и у нас в России сколько было независимых городов! Надеюсь – будут ещё.) С Францией я испытал ошибку, противоположную швейцарской: насколько там должно было мне всё подойти, а почему-то не подошло, настолько Францию, живя в СССР, я всегда считал себе противопоказанной, не по моему характеру, куда чужей Скандинавии, Германии, Англии, – а вот тут стало мне ласково, нежно, естественно, – если жить в Европе, то и не нашёл бы лучше страны. И даже вовсе не соборы грозные Реймса, Шартра, Суассона, и не дворцы Версаля и Фонтенебло, но медленная жизнь крохотных безвестных городков, но благородно-мягкие рисунки полей, лесков с омедами, серый камень длинных садовых оград, да всё непридуманное французское земляно-серое каменноустройство. Близ Шантийи на Уазе мы ночевали в густо туманную ночь, совсем рядом иногда тарахтели плицами баржи, – уединённое мирным охватом, отдыхало сердце совсем как на родине. И, может быть, особенно прелестна мягко-холмистая восточная Франция. (На обратном через неё пути нельзя было не заметить на холме грандиозного – как почти уже нерукотворного – креста. Мы свернули – и вскоре оказались у могилы де Голля, надо же! Охранявшие полицейские узнали меня – и потом корреспонденты дозванивались в Цюрих: что хотел я выразить посещением этой могилы?) Разделяли – скорей исторические места: в фортах Вердена или грандиозном погребалище – сердце щемило: а у нас? кбак легло и сколько, и совсем безнаградно. Побывали мы на кладбище русского экспедиционного корпуса под Мурманском: могилы, могилы, могилы. (Встречал нас бывший прапорщик того корпуса, теперь дьякон кладбищенской церкви Вячеслав Афанасьевич Васильев. Была при нас и вечерня там.) По какому государственному безумию, в какой неоглядной услужливости посылали мы сюда истрачивать русскую силу, когда уже так не хватало её в самой России? зачем же наших сюда завезли погибать? В Компьенском лесу – отказала французам ирония: сохранена обстановка капитуляции немцев в 1918 – и ни полунамёка, как обратный спектакль был повторён в 1940. Я-то знал, что не только знакомлюсь, но и прощаюсь. Если на Новый год мы с издательством "Сей" ограничились, в их подвале, давкой корреспондентского коктейля, с безалаберными вопросами и ответами, так что с собственными переводчиками не осталось минуты познакомиться, – то теперь, не торопясь, я встретился и с ними. Насколько несчастливым я был со многими переводчиками на многие языки (и многих уже не проверить при жизни) – настолько счастлив оказался с переводчиками французскими. Человек семь-восемь их оказалось, все друг со другом знакомые, все – ученики одного и того же профессора Пьера Паскаля, и близких выпусков, все – достаточно осведомлённые о советской жизни и её реалиях, не небрежные ни к какой неясной мелочи и, кажется, все – изрядные стилисты в своём родном. Единство же их обучения приводило к значительному сдружению переводов. Французских переводов я и приблизительно не мог бы оценить, но многие знающие, и первый Н. Струве, – очень хвалили. А благодаря тому, что не через единую голову нужно было пропустить всю эту массу страниц кипучих лет – распределённые между несколькими, они появлялись быстрой чередой, без пропуска, почти вослед за русским, и так стала Франция единственная страна, где книги мои успевали и работали в полную силу. Именно Франция, закрытая мне по языку для жителя. Руководители "Сёя" фламандцы и Дюран стали теперь в Париже и главные мои гиды в общественном поведении. По их совету и устройству я дал пресс-конференцию в связи с выходом французского перевода "Телёнка" и участвовал в сложной телевизионной передаче "Апостроф", где были в диспуте человек шесть литературных критиков. Фламандцы разумно предостерег меня: не дать сыграть на мне внутренней французской политике, к чему и будут все тянуть, ни на минуту не забыть мировое измерение художника и положение свидетеля между двух миров. Пресс-конференция

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru розово-оранжевым проходит свет через тонко-каменные пластины, смерть воспевается как восхождение к Богу. О, как давно мы живём, человечество. Итальянская лучшая древность везде испещрена современным процарапом, накраской серпов-молотов да лозунгов, да угроз: "полиция – убийцы!", "христианские демократы – фашисты, смерть им!", "фашистская падаль – вон из Италии!". Между колоннами: "Да здравствует пролетарское насилие! да здравствует социализм!" (Отпробовали б вы его!) и твёрдыми словами, но без уверенности: "Абсолютно воспрещено входить в собор с велосипедами". – Могила Данте в виде часовни. – И митинг: "Португалия не станет европейским Чили". Ещё из унылой приморской низменности задолго маячит как нарочно поднятая крутая гора с четырьмя зубчатыми збамками. Сан-Марино! – горно-замковые декорации, превзошедшие меру, уже поверить нельзя, что это строилось не для туристов. – И вскоре же – совсем пустынные, безлесые, неплодородные сухо-солнечные Апеннины, и стоит на горке скромный сельский каменный запертый храм Santuario Madonna del Soccorso (Святилище Мадонны-помощницы) и ни селения рядом, как храмы на Кавказе: кому надо молиться прикарбакаются, придут. Все Апеннины бедны водой, бедны почвой – но ни в одном селении ни единого лозунга, этим забавляются только города. Вот во Флоренции мы увидим опять во множестве: "ленинский комитет", красный флаг из окна, красный серп и молот, намазанный на церковной двери (куда ещё дальше?), "наша демократия – это пролетарское насилие!", "фашистские ячейки закрывать огнём – и даже этого слишком мало!". Ещё в ресторане "У старого вертела" нам подают мясо по-флорентийски – целое зажаренное ребро под белой фасолью, но по ходу лозунгов и митингов мнится нам, что это – уже последние дни перед революцией или захватом, и скоро не будут здесь подавать мясо такими кусками. Я прощаюсь с Европой не только потому, что уезжаю, – я боюсь, что мы все прощаемся с ней, какой мы знали и любили её эти последние века. Флоренция доведена до такого мусора и смрада, что даже и ранним утром производит впечатление грязное и беспорядочное. (Да ведь это и при Блоке начиналось, он заметил: "Хрипят твои автомобили, / Твои уродливы дома, / Всеевропейской жёлтой пыли / Ты предала себя сама".) И в этом мусоре осквернённым кажется буйный разгул грандиозных скульптур перед палаццо Веккио. Одно спасение – квадратные замкнутые дворики, и тут ходят, ходят кругами в монашеской черноте, не выходя в оголтелый город. В тесноте Флоренции храмы настроены непомерной величины – и пусты. Ещё немного спуститься по карте – Сиена, уже не так далеко и Рим, – и когда же увидеть их? никогда. Не хватает единого лишнего дня, как не хватало во всей моей прогонной жизни. Во всё путешествие нет свободной души, чтобы наслаждаться красотами, даже вот сойти с машины и пройтись по роще пиний, под зонтиками их единого тёмно-зелёного свода. Сколько впечатлений тут можно набрать! – а мне не нужно? а меня не питает? Такое чувство, что я не имею права даже на это четырёхдневное путешествие: и по времени, и потому, что не к этим местам уставлен мой долг и внимание, – там, у нас, погибает всё под глыбами, и меня давят те жернова. Мы поворачиваем на Пизу, не пропустить в наклонной башне то слишком крутых, то слишком падающих ступеней, на Рапалло – и отсюда я начинаю узнавать наш Крым. Дьявольским виадуком минуем дьявольски дымную Геную и – всё более и более пригорное побережье походит на наш Крым, только горы здесь пониже, а курорты обстроены лучше, хотя опять же коробки небоскрёбные, а о морской синеве ещё поспорить. Всё время ощущение подменённости: позвольте, ведь я всё это уже видел! Высокой скалистой приморской дорогой, с перевалами и тоннелями, перетекаем на Лазурный берег. Ментона, Монте-Карло, Ницца – кто здесь не побывал из героев счастливой дворянской литературы! – и кто не побирался из несчастной русской эмиграции потом... Ох, много, много наших стариков дотягивало здесь свои старые северные раны при южном солнышке под пальмами и в нищете. И отпето их здесь, в русском храме на Avenue Nicolas II – единственная в мире короткая улочка, которою и сегодня почтён злосчастный государь. Не придумать более для меня нелепого вечера, как вечер в казино Монте-Карло: три часа тигрино хожу по залам и записываю, записываю, записываю – лица крупье, лица и действия игроков, правила игры. Как понятно, почему писатели так охотно приходили сюда: здесь как будто содрана оболочка психики, и люди не в силах не показать откровенно каждое движение своих чувств, персонажи романов так и теснятся в блокнот при каждом движении карандаша. Мне никогда не может это ничто пригодиться – а я записываю. (Но, писатель, никогда не зарекайся, а всегда запасайся. Чудовищно вообразить, зачем бы мне пригодилось Монте-Карло? – а трёх лет не проходит, и так уместно ложится: ведь будущий убийца Богров тут-то и бродил, примериваясь к жизни!) А вот меня уже узнали, так недолго и до разгласки: вот, мол, где Солженицын прожигает дни! уж как порадуются левые, и без того меня поносящие, что я в Швейцарии поселился, в стране банков. А уеду из Швейцарии – будет поносить и за отъезд. Мы гоним, гоним, почти не останавливаясь, где хотелось бы быть и быть. Сохраняемый в первозданности средневековый городок Сен-Поль-де-Ванс (странно увидеть здесь за

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru витриной "Архипелаги" и уже "Телёнка"), крутые переулки, мощённые морскою галькой. Грасс, где доживал Бунин. Каменистые, малоплодные холмы Прованса, уже сейчас, в апреле, сухие под солнцем, но всюду сизые пучки лаванды, ещё зальёт она лилово-синим эти поля, а душистый её настой и сейчас продаётся проезжим в одиноких придорожных ларьках. Всякому земному месту отпущен свой дар. Столица лаванды – Динь. Дорога Наполеона – как гнал он с Корсики на утраченный Париж. Стоит у дороги кусок старой каменной стены с проломами. Доломали б её и свалили? – нет: в один проём поставили древнюю амфору, и стена зажила как памятник, французский вкус! Или: крестьянский каменный арочный сарай, так и остались видны старые стропила, балки, в более разрушенной части – старые жбаны, крестьянская посуда, в каменное корытце стекает струйка родника, – а более сохранившуюся остеклили по-современному, и в одном помещении сразу – печь, ресторан, тихая классическая музыка, две скромные девушки-официантки, а меню написано в ученической тетрадке от руки. Французский уют! И оставалось мне в Цюрихе ещё только короткобегучих несколько дней. Да давай же, Алёнь, хоть ребятишек свозим на Фирвальдштетское озеро! В солнечный позднеапрельский день взяли Ермошу с Игоней и погнали туда машиной, там пароходиком к тому месту берега, где приносилась священная клятва, откуда вышел Швейцарский Союз. Голубой день, голубое многоизгибистое озеро между лесных кряжей. И ещё долгим фуникулёром высоченно поднимались к Ригихофу откуда уже и снежные вершины видны, да не в одну сторону. (Малыши мои неизбалованные целый год потом говорили: "когда мы с папой были в путешествии...") но и это не последнее европейское. Уже два месяца лежало у меня приглашение из кантона Аппенцелль – присутствовать на торжественном дне их кантональных выборов, – и главный редактор "Нойе Цурхер цайтунг" Фред Люксингер убеждал меня, что этого пропустить нельзя, он же теперь нас с Алей и повёз. Мой отлёт в Канаду был в понедельник – а выборы в воскресенье, и так я успевал. Это – маленький горный кантон на востоке Швейцарии, даже их – два Аппенцелля, два полукантона, католический и протестантский, разделились. Мы званы были в католический. Уже обгоняя по дороге пеших (на выборы ходят пешком, ехать считается неприлично), нельзя было сразу не заметить: все мужчины шли с холодным оружием – это знак права голоса, женщины и подростки его не имеют. Собирались и наискось, без дорог, через луга (правило Аппенцелля: до дня выборов можно ходить по лугам, а потом пусть растёт трава). У парней и у девушек многих – серьга в одном ухе. Уже дослуживали католическую мессу, в храме – не протолкнуться, а вокруг алтаря стояли многоукрашенные знамёна общин. И с весёлых разноцветных шале на главной улице свешивались длинные флаги невиданных рисунков, сочетаний, изображений животных. В ратушном зале приглашённые туда складывали сперва своё оружие, а поверх кидали чёрные плащи. Затем шесть знаменосцев в старинных униформах понесли свои знамёна во главе процессии, и сопровождали их мальчики-ассистенты в униформах же. Затем должностные лица и почётные гости растянутой медленноступной процессией отправились серединою улицы, обстоенной жителями, другие вывешивались гроздьями изо всех окон. Меня встречали все с таким энтузиазмом, как будто я – их коренной, но знаменитый земляк, вот вернувшийся на родину, – а заранее б я прикинул, что глухой кантон скорее всего и имени моего не знает. (Да не только писателя они приветствовали, а война против зла, и это в речи главы правительства было.) На площади высился невысокий временный деревянный помост, где все должностные лица, десятка полтора, выстроились в одну линию и всё собрание простояли с обнажёнными головами в чёрных плащах. А всю площадь залила плотная толпа stimmberichtigte Мдннер – мужчин, имеющих право голоса, со своим оружием и тоже обнажёнными головами, серыми, рыжеватыми, седыми, но в одеждах обычных. А женщины теснились уже где-то за краями толпы или на балконах и в окнах. Молодёжь на наклонных крышах держалась о заграждения, а один фотограф картинно оседлал конёк крыши. Глава правительства ландаман Раймонд Брогер – с пухом седины на голове, с лицом умственным и энергичным, произнёс речь, поразившую меня: о, если бы Европа могла слышать свой полукантон Аппенцелль! или могли б такое себе перенять правители больших стран! Вот уже больше полутысячелетия, говорил он, наша община не меняет существенно форм, в которых она правит сама собою. Нас ведёт убеждение, что не бывает "свободы вообще", но лишь отдельные частные свободы, каждая связанная с нашими обязательствами и нашим самодержавием. Насилие нашего времени доказывает почти ежедневно, что не может быть обеспеченной свободы ни у личности, ни у государства – без дисциплины и честности, и именно на этих основаниях наша община могла пронести через столетия свою невероятную жизнеспособность: она никогда не предавалась безумию тотальной свободы и никогда не присягала бесчеловечности, которые сделало бы государство всемогущим. Не может существовать разумно функционирующее государство без примеси элементов аристократического и даже монархического. Конечно, при демократии народ остаётся решающим судьёй во всех важных вопросах,

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru но он не может ежедневно присутствовать, чтоб управлять государством. И правительство не должно спешить за колеблющимся переменчивым народным голосованием, только бы правителей переизбрали вновь, оно должно не зазывные речи произносить избирателям, но двигаться против течения. На деле и по истине задача правительства состоит – действовать так, как действовало бы разумное народное большинство, если бы оно знало всё, во всех деталях, а это становится всё невозможнее при растущих государственных перегрузках. Поэтому остаётся: избрать для совета и правления сколь можно лучших – но и подарить им всё необходимое доверие. Бесхарактерная демократия, раздающая право всем и каждому, вырождается в "демократию услужливости". Прочность государственной формы зависит не от прекрасных статей конституции, но от качества несущих сил. Худую службу окажем мы демократии, если изберём к руководству слабых людей. Напротив, именно демократическая система как раз и требует сильной руки, которая могла бы государственный руль направлять по ясному курсу. Кризис, переживаемый обществом, зависит не от народа, но от правительства. А стоял на дворе – не рядовой апрель, но тот опасный для Запада (хоть Запад и не понимал) апрель 1975 года, когда Соединённые Штаты убегали из Индокитая. Всего за 10 дней до этого аппенцеллевского собрания сообщала легковёрная западная печать, что "население Пномпеня радостно приветствует красных кхмеров". И сегодня поразительно было услышать на этой маленькой солнечной площади, в таком глухом уголке, но самой центральной Европы: как сильно выросла всеобщая небезопасность за самый последний год. Что мы ужасаемся тому образу поведения, каким Америка покидает своих индокитайских союзников. Мы ужасаемся судьбе южновьетнамского народа, толпами бегущего от своих коммунистических "освободителей" – и перед этой трагедией озабоченно спрашиваем себя: да сдержит ли Америка свою союзническую верность перед Европой? Перед той Европой, которая, вот, не способна в одиночку сопротивляться советской агрессии и теперь ожидает американской помощи как бессомненной. И именно во время вьетнамской войны в Европе расцвёл антиамериканизм. Надо считать, что Америка в будущем не будет защищать никакого государства, которое не хочет защитить себя само. Европа должна в короткий срок дать доказательство готовности к высоким жертвам и эффективному единению. И потом уже – критически о Швейцарии, как она находит непомерными свои военные расходы в 1,7% от бюджета. Потом – и об экономике, в которой Швейцария перестала быть страной сказочно-блаженной. И всё это произнесся, ещё приветствия гостям, – ландаман снял с груди крупную металлическую цепь, знак своей власти, ещё и какой-то жезл передал соседу по трибуне – и быстро круто ушёл. Всё. Он отслужил свой срок. Но другой чиновник заступил его место – и тут же предложил избрать Брогера вновь. Предложил голосовать – и вся тесная мужская толпа единым взмахом подняла руки. Не считали, ясно и так: избран вновь. (Тут я про себя подсмехнулся: ну, демократия, как у нас.) Брогер снова появился на прежнем месте и, подняв пальцы одной руки, громко вслух за чтецом повторял клятву. Снова надел цепь на грудь. И стал теперь читать клятву для толпы – и толпа повторяла хором: клялся сам народ себе! Затем ландаман стал возглашать членов своего правительства, всякий раз спрашивая, кто против, но не было никого, да как будто и мало секунд он оставлял для возражений. Я про себя продолжал посмеиваться: опять как у нас. Но тут же я был и вразумлён. Главный первый закон, который хотел провести ландаман, – налоговый, повысить налоги, кантон не справляется с задачами. Пошёл гул по толпе, переговоры между стоящими. На трибуну взошёл и пять минут говорил один оратор – против предлагаемого закона. Затем министр финансов хотел аргументировать за, – загудела толпа, что слышать его не хочет, а желает голосовать. Проголосовал ландаман за закон – совсем мало рук, против – истинный лес. Мужчины энергично выбрасывали руки, было впечатление взмахнутого крыла толпы, подавительная, убедительная сила голосования, какой не бывает при тайных бюллетенях. (А на поясе – то у каждого, в толпе не видно, – кинжал или шпага.) Ландаман был очень огорчён и, пользуясь, видимо, своим правом, аргументировал сам и потребовал второго голосования. Его почтительно выслушали – и так же подавительно проголосовали: налогов – не повышать. Глас народа. Вопрос решён бесповоротно – без газетных статей, без телекомментаторов, без сенатских комиссий, в 10 минут и на год вперёд. Тогда правительство выступило со вторым предложением: повысить пособия по безработице. Кричали: "А пусть работают!" С трибуны: "Не могут найти". Из толпы: "Пусть ищут!" Прений – не было. Проголосовали опять подавительно отказать. Перевес множества был настолько ясный, что рук не считали, да и не удержат их так долго, да наверно и никогда не считают, а на глазок всегда видно. И ещё третье было предложение правительства: принять в члены кантона уже живущих в Аппенцелле по несколько лет, особенно итальянцев. Кандидатов было с десяток, голосовали по каждому отдельно, и отклонили, кажется, всех. Недостойны, не хотим. Не-ет, это было совсем не как у нас. Без спора переизбрав любимого ландамана, доверив ему

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru составить правительство, как он желает, – тут же отказали ему во всех основных законопроектах. И – правь. Такую демократию я ещё никогда не видывал, не слыхивал – и такая (особенно после речи Брогера) вызывает уважение. Вот – такую-то бы нам. (Да древнее наше вече – не таким ли и было?) Швейцарский Союз заключён в 1291 году, это, действительно, сейчас самая старая демократия Земли. Она родилась не из идей Просвещения – но прямо из древних форм общинной жизни. Однако кантоны богатые, промышленные, многолюдные, всё это утеряли, давно обстриглись под Европу (и переняли всё, до мини-юбок и сексуальных "живых картин"). А в Аппенцелле – вот, сохранялось, как встарь. Как же разнообразна Земля, и сколько на ней вполне открытых возможностей, не известных, не видимых нам! В будущей России ещё много нам придётся подумать – если дадут подумать. На следующее утро я улётал в Канаду. Самолётный билет был куплен заранее, но на подставную фамилию (я придумал её – Hirt – по портрету чудесного швейцарского старика-пастуха в кабинете штатт-президента Видмера). Бережёного Бог бережёт. Да я охотней бы – плыл. Переброс через океан за несколько часов – неестественен, не успевают мозги перестроиться, хочется боками своими пробраться через это огромное пространство. Но – на Западе пароходное сообщение вышло из моды, и никто уже не ездит так по делу (и обыкновенная почта идёт по морю полтора месяца, дольше, чем при парусных кораблях). Через океан плавают теперь только на пароходах-увеселителях, где мне и места нет, и показаться противно. А пароходство Европа-Канада – и вовсе утеряно Западом: вытеснили их польские и советские пароходы с дешёвой прислужкой и дешёвыми услугами. Мне – чтобы переплыть в Канаду, надо было бы на несколько дней вернуться на территорию коммунизма. Летел я в настроении расстроенном и возбуждённом. С одной стороны, я летел (и много вещей своих личных вёз и часть рукописей) – чтоб уже не возвращаться. Найти дом в канадской дикой глуши, совсем уйти, отвернуться от дёргающего мира – и только писать, писать – не куда-то на дачу отлучаясь для этого на недельки, а – дома, сидя и непрерывно. Мне было уже 56 лет, а ведь вся главная работа по "Красному Колесу" ещё даже не начиналась. Слишком динамичная моя жизнь при всех её внешних успехах как бы не сдвинулась в поражение в главном жизненном замысле. А с другой стороны: катились огненные дни вьетнамской капитуляции, а ни Америка, ни Европа не понимали, насколько в эти дни пошатнулось их будущее. Вот и ландаман Аппенцелля по своим возможностям говорил мужественно и открыто своему континенту – но ведь его не услышат. Я провёл в Европе суматошной год, так нигде и не укрепясь, не упрочась, всё в перекате, – а кроме издания "Архипелага" что я, собственно, сказал? Конечно, понимающему – и того слишком довольно, но многие ли в Европе дерзают быть понимающими? И вот сейчас во Франции – много ли я успел сказать? истинный мой долг работа, и это вовсе не самоограждение, когда я отвечаю, что я – не политик. Я не хочу дать затащить себя в непрерывные политические дискуссии, в череду ненужных мне вопросов. Но хочу сам избирать и эти вопросы, и время выступлений. Темперамент тянет меня вовсе не самоустраняться, не только не скрываться в глушь, а напротив: войти в самое многолюдье и крикнуть самым громким голосом. В ближайшие часы это противоречие решилось так: улетаю за океан, как я думал окончательно, – я за эти семь часов перелёта написал начерно и переписал набело статью "Третья Мировая?..". Как не увидеть? Сперва подарили коммунизму Восточную Европу, теперь сдают Восточную Азию, не препятствуют ему вклиниться на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке, – вот так-то, всё опасаясь Большой войны, немудрено сдать и всю планету. В благополучии – как трудно быть непреступным и готовым на жертвы. Уже зная ненадёжность канадской, ещё и вечно бастующей, почты, отдал письмо со статьёй швейцарцу-стюарду, чтобы он вернул его в Швейцарию в эти же сутки. А вот уже под крыльями – Америка. Осень 1978

ПРИЛОЖЕНИЯ [1] ИНТЕРВЬЮ С КОРРЕСПОНДЕНТОМ АССОШИЭТЕД ПРЕСС ФРЭНКОМ КРЕПО Цюрих, 18 февраля 1974 ф. к.: как вы себя чувствуете в изгнании? А. С.: Вероятно, человек во многом похож на растение: когда вырывают с места и забрасывают далеко – нарушаются сотни корешков и питающих жилок. Все дни и каждую минуту ощущаешь нехватку, необычность, ощущаешь себя – не собою самим. Но я не думаю, что это безнадежно. Даже старые деревья – и те ведь пересаживают, и они принимаются на новом месте. ф. к.: как вас встретили на Западе? А. С.: Исключительно тепло, дружелюбно, даже горячо – и население и власти. В Германии приходили приветствовать даже группы школьников, в Цюрихе шлют привет многочисленные прохожие, встречные. Я ошеломлён таким вниманием, никогда не испытывал подобного. Правда, в этом есть и изнурительная сторона: назойливая слежка со стороны фото- и кинорепортёров, фиксирующих каждый шаг и движение. Это – другой полюс той неотступной, но скрытой слежки, которой я постоянно подвергался у себя на родине. Тоже очень неприятно. ф. к.: Когда вы ожидаете приезда вашей семьи? А. С.: Если верить заявлениям членов советского правительства, мою семью выпустят без помех. Но без моего участия двум женщинам с четырьмя детьми не

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru легко ликвидировать многолетний быт, собраться, подняться, найти момент, когда никто из детей не болен. Ф. К.: Как на новом месте пойдёт ваша литературная работа? А. С.: При всех переменчивых и тяжёлых условиях я вёл литературную работу постоянно, без перерыва даже на неделю. Как ни больно, как ни горько начинать эту работу здесь – буду вести её и здесь. Но направление её зависит от того, насколько беспрепятственно советские власти выпустят мой литературный архив – почти уже готовый Узел 2-й "Октябрь шестнадцатого", начатый 3-й Узел и обильные заготовки материалов, документов, рассказы очевидцев, фотографии, иллюстрации и многочисленные редкие книги с моими пометками. Архив этот я собирал с 1956 года и вложил в него огромный труд. Если советские власти конфискуют его, хотя бы даже частично, это будет духовным убийством. В этом случае мне, очевидно, придётся отказаться от главного замысла моей жизни – исторического романа времён революции. Повторить сбор такого архива я уже не в силах. Но тогда оставшиеся мои годы и силы вместо русской истории я направлю на советскую современность, для которой я не нуждаюсь ни в каких архивах. Ф. К.: В какой стране вы предполагаете обосноваться? А. С.: Меня весьма радушно встретила Швейцария, я получаю дружеские приглашения из скандинавских и некоторых других стран. Я сердечно благодарен всем пригласителям. Решение будет зависеть от того, где я смогу в короткое время найти себе достаточно просторное, тихое жильё с землёю, удобное для работы и жизни. Все свои 55 лет я жил бездомно, тесно, не мог совместить рабочие условия и жизнь с семьёй. В наступающие годы хотя бы это я хотел бы устроить. Ф. К.: Как вы думаете, надолго ли вы обречены жить вне родины? А. С.: Я – оптимист от природы и не ощущаю своё изгнание как окончательное. Предчувствие такое, что через несколько лет я вернусь в Россию. Как это произойдёт, какие условия изменятся – я не могу предсказать, но люди и ничего не умеют предсказывать, а чудеса неизменно чередой совершаются в нашей жизни. Последние годы жизни в России я почти уже был и лишён родины: давление и слежка КГБ, противодействия властей на всех инстанциях не давали мне возможности ни ездить по местам действия моего романа, ни опрашивать очевидцев. Однако, я уже говорил когда-то и повторяю теперь: я знаю за собой право на русскую землю несколько не меньшее, чем те, кто взял на себя смелость физически вытолкнуть меня.

[2] РЕЧЬ СЕНАТОРА ДЖ. ХЕЛМСА В СЕНАТЕ СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ Вашингтон, 18 февраля 1974
Господин Председатель, 12 февраля известный русский писатель и интеллектуальный лидер Александр И. Солженицын взят был силою и уведен со своей квартиры семью агентами советской полиции, которые повезли его на допрос. Сначала его семье даже не сообщили, куда его увозят и какие обвинения выдвинуты против него. Но весь мир знал, что Солженицын шёл на эту конфронтацию и даже приветствовал её, несмотря на опасность и для семьи его и для единомышленников. Дело это – дело свободы: свободы думать, писать и публиковать. Это также отстаивание права не соглашаться с тоталитарной идеологией, отстаивание права свободного передвижения для тех, кто пойман в ловушку тоталитарного строя. Все эти права представляют собой первоосновы свободного общества. Несмотря на отсутствие этих прав в Советском Союзе и даже несмотря на агрессивную кампанию против него, Солженицын не хотел уезжать со своей родины. Он хотел использовать своё выдающееся дарование для того, чтобы улучшить положение своих сограждан. Он говорил как ветхозаветный пророк, изобличая зло, которое он видел в большом обществе. Пророчество его приняло форму литературную, которая пробудила миллионы людей во всём мире и дала ему Нобелевскую премию. Но в тайниках он сохранил самый уничтожающий из всех его трудов, вдохновлённый многочисленными голосами страдания, к которым он прислушивался на этапах и в тюрьмах и которые запечатлелись у него в памяти. Голоса эти были удушены: это были голоса из могил. Как ни странно, именно эти голоса умирающих и умерших заставляли Солженицына продолжать жить. Чтобы скрыть свою грязную тайну, мучители прибегли именно к тем методам, которые он распознал и высветил в их политической системе. Допросами и пытками они добыли экземпляр "Архипелага". На это Солженицын ответил публикацией книги на Западе с другого тайного её экземпляра. И тут враги стали надвигаться на него шаг за шагом, всё туже стягивая зловеющий круг. Пророков не чтут в своём отечестве. Но этот пророк был слишком широко известен, чтобы можно было просто заставить его исчезнуть во тьме, как бесчисленные тысячи жертв до него. Сам Солженицын в своей непроизнесенной Нобелевской лекции сказал, что одно слово правды весь мир перетянет. И вот его книги перевесили всю ту систему. Солженицына лишили советского гражданства, посадили на самолёт и выслали в Западную Германию. Солженицын не хотел быть свободным в Западной Германии. Он хотел быть свободным в России. Хлеб изгнанника всегда горек. Для него важнее, чем его собственная свобода – свобода миллионов людей, живущих под советским владычеством. Изгнание его – дальнейший шаг в долгой кампании запугивания и

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru угроз, которую советская власть ведёт против Солженицына за то, что он стал живым символом инакомыслия в Советском Союзе, мужественным свидетелем правды советской истории и последствий коммунистической идеологии. Но слова его важны не только для совести народов России; они важны для совести всего мира и особенно для совести Соединённых Штатов как лидера некоммунистических наций. Его лишили гражданства, но он стал гражданином мира. Он – воплощение трепетной надежды всех тех, кто жаждет смягчения жёстких позиций в разделённом на две части мире, ослабления ограничений творческой мысли и творческой деятельности, наступления эры мира и свободы для нас и наших детей. По этим причинам, господин Председатель, я намереваюсь завтра представить Сенату совместную резолюцию, которая позволит и обяжет Президента Соединённых Штатов объявить манифестом, что Александр И. Солженицын становится почётным гражданином Соединённых Штатов Америки. Господин Председатель, вот текст совместной резолюции, который я предложу завтра: "Совместная резолюция. Постановлено Сенатом и Палатой Представителей Соединённых Штатов Америки, объединёнными в Конгрессе, что Президенту Соединённых Штатов сим дозволяется и повелевается объявить манифестом, что Александр И. Солженицын становится почётным гражданином Соединённых Штатов Америки". Это – очень простая резолюция, не украшенная излишней риторикой и предлагающая очень высокое оказание почёта. По-моему, это – самая большая честь, какую может оказать наша Республка. Такую честь нельзя оказывать легкомысленно или по причинам преходящего момента. В то же время она не возлагает на Солженицына никаких обязательств и никак не меняет его положения по отношению к его родине. Юридически он – человек без гражданства. Он не ищет этой чести, так же, как не искал он Нобелевской премии. Он не должен ни принимать её, ни отклонять. Но Соединённые Штаты таким образом торжественно записывают в мировые анналы, что почтили его за его вклад в дело свободы человечества. Нам необходимо срочно сделать этот жест. Солженицын на Западе, а семья его нет. Друзья его – под властью тоталитарного строя. Миллионы людей следят за тем, что сделают Соединённые Штаты. Сам Солженицын обнажал "дух Мюнхена", который будто пронизывает отношения Соединённых Штатов с Советским Союзом, и нашу безнравственную политику закрывания глаз на репрессии, лишь бы можно было сговариваться о товарах, о торговле, о разоружении. Он сказал: "Дух Мюнхена нисколько не ушёл в прошлое, он не был коротким эпизодом. Я осмелюсь даже сказать, что дух Мюнхена преобладает в XX веке. Оробелый цивилизованный мир перед натиском внезапно воротившегося оскаленного варварства не нашёл ничего другого противопоставить ему, как уступки и улыбки". Древние пророки всегда заставляли людей неудобно себя чувствовать: это было их долгом. Солженицын говорит нам, что единственное прикрытие насилия – это ложь, а те, кто сговаривается с насильниками, – тоже лжецы. Его жёсткие суждения и его прямой тон вынуждают нас занять позицию. Сейчас мы только и можем сделать это, оказывая ему великую честь в признании его свидетельства за правду. Господин Председатель, я хотел бы сделать ещё несколько дополнительных замечаний о предварительной истории этой инициативы. В прошлом уже принимались подобные решения, когда граждане других стран сражались рядом с нами за общую свободу. Честь эта оказана была Лафайету и Уинстону Черчиллю. Солженицын, лауреат Нобелевской премии, ценой большой опасности для себя, жертвенно и достойно служил делу свободы. Когда честь эта была оказана Лафайету, это, конечно, не было сделано решением Конгресса, поскольку Конгресс тогда ещё не существовал. Решение было принято законодательными палатами Вирджинии и Мэриленда во времена Статей Конфедерации. Сэр Уинстон Черчилль получил почётное гражданство манифестом Президента Кеннеди вследствие постановления Конгресса в 1963 году. Отчёт Юридического комитета представил юридические последствия – или скорее их отсутствие, когда акт был предложен на голосование. Текст моей резолюции совпадает с резолюцией о Черчилле, и поэтому к ней применимы все те же соображения. Из чтения этого отчёта ясно, что в таком случае неприменимы юридические обязательства гражданства и не возникает никаких налоговых осложнений. Это чистое оказание чести. Господин Председатель, хотя эта резолюция и не сделала бы Солженицына настоящим гражданином Соединённых Штатов, но совершенно ясно, что если бы он решил поселиться в нашей стране, это было бы для нас большой честью. Однако, становясь почётным гражданином, он ни в коей мере не обязан здесь жить и не принимает на себя никакого обязательства в этом смысле. Если бы он этого хотел, и только если бы он этого хотел, я готов предложить отдельное постановление, которое даст ему право постоянного жительства в Соединённых Штатах. Это позволило бы ему стать и постоянным гражданином США. Завтра эта совместная резолюция будет перед Сенатом, и я настойчиво прошу моих коллег добавить свои имена к списку. Господин Председатель, я прошу согласия на то, чтобы в конце моего выступления был напечатан текст Солженицына "Жить не по лжи", опубликованный в "Вашингтон пост" 18 февраля 1974 года.

[3] СЕНАТОР Дж. ХЕЛМС – А. СОЛЖЕНИЦЫНУ 1 марта 1974 Дорогой господин Солженицын, Сегодня я имел удовольствие говорить с Вашим адвокатом доктором Фрицем Хеебом. Я сожалею, что не мог говорить с Вами лично, чтобы приветствовать Вас в свободном мире от своего имени, а также от имени моих друзей в Сенате Соединённых Штатов. Я поздравляю Вас на пороге нового этапа в Вашей борьбе за правду и свободу в Вашей родной стране и во всём мире. Идеи правды, свободы и справедливости – неразделимы. Права человека одинаково действительны во всех странах и на всех континентах. Я думаю о Вас теперь как о человеке, стоящем в наших рядах, но выражаю надежду, что Вы продолжите Вашу богатую творческую жизнь и сможете вернуться когда-нибудь на вашу родину – но свободную родину. 19 февраля сего года я предложил в Сенате Соединённых Штатов резолюцию, обязывающую Президента Соединённых Штатов декларировать, что Вы являетесь почётным гражданином Соединённых Штатов Америки. Это высшая степень почёта, которым мы можем удостоить; в истории нашей страны так удостоены были только двое заслуженных иностранцев. Мы хотим таким образом выразить Вам нашу полную поддержку в Вашей борьбе за права человека на земле. Это чистый жест почёта, не обязывающий Вас ни в какой степени и не предрешающий Вашего статута. К настоящему моменту уже двадцать четыре сенатора выразили согласие поддержать меня в этой резолюции, и, я надеюсь, другие присоединятся вскоре. Господин Солженицын, мы очень рады видеть Вас здесь с нами на Западе. Вы гражданин всего мира. Я знаю, что вскоре Вы себя почувствуете как дома в любой стране земного шара, где миллионы людей читали Ваши прекрасные произведения, знают и уважают Вас не только как великого писателя, но – как символ свободы. Вы сделали бы нам большую честь посещением нашей страны и встречей с сенаторами, поддерживающими мою резолюцию. С этой целью я приглашаю Вас в гости сначала в мой штат, Северную Каролину, где Вы могли бы отдохнуть несколько дней на частной вилле в горах, с тем чтобы потом посетить Вашингтон для встречи с сенаторами. В границах Соединённых Штатов проживает около двух миллионов Ваших соотечественников. Таким образом, мы – самая большая русская страна вне России и потому Вам очень подобает посетить нас. Жду скорого ответа и надеюсь встретиться с Вами лично. Желаю Вам счастья и полного успеха в этой новой фазе Вашей жизни. Да хранит Вас Господь Бог! Искренне Ваш Джесси Хелмс.

[4] А. СОЛЖЕНИЦЫН – СЕНАТОРУ Дж. ХЕЛМСУ 5 марта 1974 Высокоуважаемый господин Джесси Хелмс! Я глубоко тронут Вашими действиями, Вашим предложением Сенату и Палате Представителей Соединённых Штатов декларировать присвоение мне почётного гражданства Вашей страны, не упуская в аргументации, что моя судьба не есть частная судьба, но остаётся навек связанной с судьбами моей родины. Разумеется, это – высокая честь для меня и немалая поддержка в моём положении изгнанника с родины, в той не добровольно избранной борьбе, которую много лет приходится мне, выходя за пределы художественной литературы, вести за права человека, его внутреннее достоинство, его трезвое осознание грозящих нам всем опасностей. В своей сенатской речи 19 февраля (и повторно в письме ко мне от 1 марта) Вы называете меня "гражданином мира". Это – тем более обязывающее звание, которого я ещё никак не заслужил, ибо жизненный опыт не дал мне возможности вместить задачи и нужды всего мира. Однако тбо здесь правда, что нынешнее тесно-связанное состояние мира не может не вести к появлению подобного уровня сознания и обязанностей – и, очевидно, будет распространяться в XX и XXI веке. И лишь Ваше гостеприимное приглашение посетить сейчас Соединённые Штаты и лично Ваш дом, встретиться с представителями американской общественности я, к сожалению, не смогу принять в обозримое время: именно сейчас, в непривычных новых условиях, я должен с особым усердием и вниманием сосредоточиться на моей основной литературной работе, на моём главном литературном замысле, которому может не хватить целой жизни, – и поэтому никакие вообще поездки и никакая энергичная общественная деятельность невозможны сейчас для меня. С благодарностью и добрыми пожеланиями, искренне Ваш А. Солженицын.

[5] ДЖОРДЖ МИНИ – А. СОЛЖЕНИЦЫНУ 25 февраля 1974 Дорогой господин Солженицын, Вместе со всеми свободными людьми повсюду, американское профсоюзное движение с глубоким волнением и восхищением следило за Вашей мужественной борьбой за интеллектуальную и человеческую свободу, проходившую в условиях страшного неравенства сил. Мы глубоко отдаём себе отчёт в том, что силы, которые хотели бы задушить Ваш красноречивый голос несогласия, во всю историю человечества направлены были против усилий обыкновенных людей. Вопреки им люди пытались организовать и охранить независимые профсоюзы, которые отвечали бы их нуждам, а не директивам государства. Мы были свидетелями Ваших испытаний, которые – дело рук именно этих сил, и это мощно напомнило нам слова из Вашей Нобелевской

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru лекции: "Внутренних дел вообще не осталось на нашей тесной Земле. И спасение человечества только в том, чтобы всем было дело до всего". Действуя именно в этом духе, более чем четверть века тому назад Американская Федерация Труда документально доказала существование лагерей принудительного труда в Советском Союзе и опубликовала карту сети ГУЛАГа: темы Вашего новейшего произведения. Кроме того, по настоянию именно американского профсоюзного движения, Экономический и Социальный Совет Объединённых Наций установил особый Комитет по вопросу принудительного труда, отчёты которого подтвердили размеры и ужас этой страшной системы деградации человека. Так как действительно не остаётся внутренних дел на нашей перенаселённой земле, я хочу сделать Вам, от имени американского профсоюзного движения, сердечное приглашение приехать в Соединённые Штаты в качестве нашего гостя. Мы готовы устроить для Вас поездку так, чтобы Вы могли широко путешествовать по нашей разнообразной стране, и мы готовы устроить для Вас встречи и лекции, чтобы у Вас была возможность, в меру Вашего желания, свободно общаться с американским народом. Я уверен, что выражаю искренние чувства наших членов и американского народа вообще, высказывая надежду, что Вы найдёте возможным принять наше приглашение. Джордж Мини Президент АФТ – КПП.

[6] А. СОЛЖЕНИЦЫН – ДЖОРДЖУ МИНИ 5 марта 1974 Дорогой господин Джордж Мини! Прежде всего разрешите выразить Вам моё глубокое уважение. Как это виделось и слышалось мне многие годы из Советского Союза, Вы всегда выделялись как один из самых дальновидных, трезвых и твёрдых деятелей Соединённых Штатов. С тем большей признательностью я прочёл Ваше имя под приглашением, присланным мне от Американской Федерации Труда, посетить Соединённые Штаты для дискуссий и лекций. И вот признак, насколько велико разъединение и неосведомлённость в мире: я столько лет занимался проблемами советских лагерей принудительного труда – и понятия не имел о благородной поддержке наших страдающих со стороны Американской Федерации Труда, об издании Вами карты ГУЛАГа (я пытался самодельно мастерить её)! Как я рад, что Вы разделяете это несомненное положение, что не осталось нигде в нашем тесно-связанном мире никаких "внутренних дел", коль скоро они не мелкого масштаба и значения. Но сколько внимания, терпения и основательности, нелегкомыслия потребуется ото всех нас, чтобы безошибочно вникнуть в суть того, что ещё вчера казалось чужими "внутренними делами"! Именно в этом плане Ваше приглашение имеет глубокий смысл. Однако, увы, есть ещё и ограниченность индивидуальных возможностей, которую я сейчас и испытываю: принудительно вырванный из родной почвы, я вынужден потратить теперь немало духовных и физических усилий, чтобы на новом месте восстановить и наладить свою работу на прежнем уровне и в прежнем темпе. И я никак не имею права покинуть свою литературную деятельность для политической или даже публицистической, ибо считаю художественное исследование более доказательным, чем публицистическое. Если я и высказываюсь иногда публицистически, то только по крайней необходимости и лишь по самым жизненным вопросам моей родной страны. Её неосвещённая история понуждает меня не покидать моего главного литературного замысла. Вот почему, вместе с большой благодарностью, я вынужден отказаться на обозримое время от Вашего дружеского приглашения. С лучшими пожеланиями, искренне Ваш А. Солженицын.

[7] СЕНАТОР Дж. ХЕЛМС – А. СОЛЖЕНИЦЫНУ 15 марта 1974 Дорогой господин Солженицын, Ваше прекрасное письмо от 5 марта было тепло принято Вашими многочисленными друзьями в Сенате США. Оно действительно представляет собой свидетельство того нового уровня понимания и ответственности, который сейчас начал выходить на поверхность и о котором Вы упоминаете. Тем, что Вы пишете историю в категориях человеческих страданий, Вы заставляете многих людей переоценить непродуманную политику наших мировых правителей. Поэтому я и назвал Вас "гражданином мира". До сих пор Вы останавливали Ваше внимание на положении у Вас на родине. Но недостаток понимания духовного и человеческого измерений – это симметричная проблема в обеих наших странах. Лидеры Востока и лидеры Запада действуют рука об руку для того, чтобы опрокинуть вехи западной цивилизации и самобытных национальных традиций. Вот почему уместно, чтобы Вы протянули руку и объединились с теми из нас, кто старается оживить коренные традиции, до сих пор нас поддерживающие. С тех пор как я писал Вам последний раз, Ваше сентябрьское письмо вождям Советского Союза стало нам доступно по-английски. Оно подверглось широкой критике за отсутствие реализма людьми с поверхностным мышлением. Но я понимаю, что Вы писали его в контексте попытки убедить советское руководство, что для них нет опасности в ослаблении железной хватки власти. Кроме того, Вы поступаете мудро, ища в Ваших исконных традициях мирный переход к свободе и строя эту свободу на освобождающем опыте христианства. Хотя уравнивать эти два

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru опыта было бы передёргиванием, всё же я хочу сказать, что сам я исхожу из культурной традиции, которая прошла через горнило страдания, смерти и лишений, и поэтому располагает тем сочувствием, которое необходимо, чтобы правильно оценить мучительную историю России. Я имею в виду людей Юга, южные штаты, которые около ста лет тому назад потерпели уничтожение цвета своей молодёжи в одной из самых кровавых войн, которые когда-либо были в истории человечества. Однако связь людей, претерпевших общие лишения, – лишения, след которых лишь сейчас исчезает, создала духовное единство, которое и поныне удивляет наших сограждан из других областей. Обо всём этом я упоминаю потому, что пригласил Вас приехать в Северную Каролину не только по причинам светского характера. Я надеялся, что, познакомившись с моими соотечественниками, Вы почувствовали бы единство целей с ними. Ведь Юг и поныне остаётся по настроениям и характеру земледельческим, там сильны семейные связи и историческая преемственность от одного поколения к другому. Но главное – южане остаются христианами, которые воспринимают как оскорбление безрассудное вырождение современной цивилизации. В таких вот традициях и надо искать нравственные ресурсы, необходимые для духовного пробуждения, которое всех нас может спасти. Не может быть мира в мире до тех пор, пока руководящие принципы Вашей и нашей стран не вернуться к своей исконной традиции. Только тогда можно будет разоружиться и обратить всё внимание на развитие национального наследия наших стран. Никакое международное соглашение не может дать безопасности, если оно построено на непризнании прав и обязанностей человечества. Поэтому я считаю, что лидеры моей страны совершают серьёзную ошибку, заключая технические соглашения с Советским Союзом безо всякого основного соглашения о правах человека. Труд Вашей жизни обратил внимание Западного мира на эти проблемы; Вы стали живым символом, и поэтому одно Ваше имя привлекает внимание всех желающих стать лидерами. Я рад сообщить Вам, что Резолюцию 188 Сената США поддерживали уже 37 сенаторов, и число поддерживающих ежедневно растёт. Когда их станет больше пятидесяти (полпути), настанет пора действовать, хотя и тогда будут люди, которые будут сопротивляться признанию нашей общей точки зрения. Но значение этой акции не только в том, что ею отдаётся честь Вашим великим заслугам, а и в том, что таким образом возникает широкая коалиция, объединяющая различные течения политического мышления. ...Я сожалею, что Вы не можете приехать, но понимаю причины, заставляющие Вас остаться. Ещё раз я возобновляю приглашение Вам посетить нас, когда время Вам это позволит. Джесси Хелмс.

[8] А. СОЛЖЕНИЦЫН – СЕНАТОРУ Дж. ХЕЛМСУ 22 марта 1974 Многоуважаемый господин Джесси Хелмс! Я с большим интересом прочёл Ваше письмо. Оно напомнило мне о той неупрощённой неоднородной Америке со множественностью традиций и тенденций, которые мы издали по слабости человеческого зрения и слуха чаще всего упускаем, воспринимая вашу страну в формулировках примитивных, заимствованных быть может всего лишь от нескольких ваших и наших журналистов. И я сокрушаюсь, что ограниченность времени и сил ещё долго будет мешать мне лично хорошо представить сложность, объём и фактическое состояние ваших проблем. Но соответственно так же трудно и американцам понять суть проблем, как они стоят в нашей стране, и те пути будущего, которые перед нами развёртываются. Примером может послужить хотя бы программа, изложенная мной в "Письме вождям Советского Союза", которое Вы упоминаете как понятое у вас неверно. Да, это удивительно: "Письмо" ещё, кажется, и не напечатано в Вашей стране, но уже подверглось поверхностному ложному истолкованию. Эта программа, истекающая из того общего положения, что целые нации, как и отдельные люди, могут достичь своих высших духовных результатов лишь ценой добровольного самоограничения во внешней области и пристального сосредоточения на развитии внутреннем, программа, предлагающая поэтому моей стране односторонне отказаться ото всех внешних завоеваний, от насилия над всеми соседствующими нациями, от всех мировых претензий, от всякого мирового соперничества и в частности – от гонки вооружений, по масштабам и решительности отказа далеко превосходя то, что сегодня мечтается как умеренная обоюдная "разрядка напряжённости", – эта программа пристрастно истолкована комментаторами как национализм – то есть воинствующая противоположность её! Такая грубизна современной ежедневной прессы, такая журналистская поспешность дать минутную оценку тому, что зреет десятилетиями, ещё более осложняет вам и нам взаимное честное понимание из такой дали и из таких разных условий. Мне кажется весьма тревожным нынешнее состояние и направление развития обеих наших стран. Во всяком случае моя страна, что плохо видно со стороны, при всём своём внешнем физическом могуществе, стоит перед дилеммой либо физической и (ещё ранее того) духовной катастрофы, либо нравственного бескровного ненасильственного преобразования. Я и мои единомышленники на родине, откуда я временно удалён, но удалён фиктивно, – мы пришли к убеждению, что не физическим сотрясанием власти

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru можно открыть путь в человеческое будущее: вот человечество прожило целую эру педоносных физических революций – и подошло к хаосу и гибели. И если суждены нам и вам впереди революции не губительные, но спасительные, то они должны быть революциями нравственными, то есть неким новым феноменом, который мы ещё не способны никто провидеть в чётких и ясных формах. Но будем надеяться, что человечество найдёт эти формы, тоньше и выше прежних грубых, и сумеет использовать их ко благу, а не к новой крови. С самыми добрыми пожеланиями, А. Солженицын.

[9] СЕНАТОР ДЖЕКсон – А. СОЛЖЕНИЦЫНУ 22 февраля 1974 Дорогой Александр Исаевич, Я хорошо могу себе представить Ваши мысли и переживания после всего, что пришлось Вам испытать в эти дни; после многих лет поношений – арест, угроза суда "за измену", жестокая игра скрывания от Вас Вашего изгнания, а затем, на Западе, вмешательство прессы в Вашу личную жизнь. Я знаю, как ужасно быть для Вас изгнание с родины, но позвольте мне тем не менее сказать Вам "добро пожаловать" в этот мир, который – несмотря на все его недостатки – всё же остаётся свободным миром. Вы сможете продолжать здесь Вашу литературную работу, выражая Ваше искусство и Ваши мысли без непрерывного преследования от машины репрессии. Для художника лишение родной почвы ужасное наказание, но некоторые из самых великих произведений литературы написаны были писателями, жившими за границей: Овидий, Данте, Мицкевич, Тургенев, Манн и Бунин – чтобы ограничиться только крупнейшими. Все мы считаем, что Вы достаточно сильны, чтобы устоять в этом последнем по счёту испытании Вашей жизни после всех тех, которые Вы так ярко описали в Ваших книгах. Я очень надеюсь, что Вам и Вашей семье удастся пережить это испытание с минимальными затруднениями и горем. Я уверен, Вы уже почувствовали, что за всей гласностью на Западе и неприятным аспектом некоторых журналистских выражений её стоит подлинное волнение, вызванное восхищением Вашим мужеством. Вы должны были это заметить в простых проявлениях симпатии со стороны чужих людей. Не падайте духом из-за агрессивного соревнования западных масс-медиа: это – подчас неприятное – явление, сопровождающее нашу свободу. Мы часто путаем суть с формой, и Ваше достижение в том, что вы заставляете нас понимать эту существеннейшую разницу. Ваша преданность свободе подействовала не только на всё лучшее, что есть у Вас на родине и в Восточной Европе, она также заставила ярче проявиться благородные движения за права человека, которые представляют собой лучшее, что можно найти на Западе. Все мы Вам обязаны. Если бы по ходу Ваших путешествий Вы оказались в Вашингтоне, для меня было бы радостью и великой честью приветствовать Вас у себя дома. Мои дети приблизительно одного возраста с Вашим старшим сыном, и я всей душой молюсь, чтобы Ваша семья как можно скорее была с Вами. Мой дом небольшой, но находится в мирном и спокойном районе; мы бы сделали всё, чтобы Ваше пребывание у нас было как можно более приятным. Если есть что-либо, в чём я могу Вам помочь, а также содействовать в более широком плане делу индивидуальной свободы, которое Вами так красноречиво выражено, пожалуйста, сообщите мне, что я могу сделать, и я приложу к этому все усилия. С наилучшими пожеланиями, Генри М. Джексон.

[10] А. СОЛЖЕНИЦЫН – СЕНАТОРУ ДЖЕКСОНУ 7 апреля 1974 Дорогой господин Генри Джексон! Удивительным и непонятным образом Ваше дружественное письмо ко мне от 22 февраля получено мною только вчера, 6 апреля!.. – и притом безо всякого почтового штемпеля. Каким путём оно шло, где задержалось – я так и не мог выяснить. Несколько же дней назад я послал Вам копию своего ответа двум подкомиссиям Палаты Представителей – и, я думаю, из сопроводительной записки Вам стало ясно, что в своё время я не пренебрег ответом, а просто не получил Вашего письма. Вы обнадеживаете меня, что и в изгнании писатели не погибали, не прекращали своего труда, и я особо благодарю Вас за эти слова. Сам я тоже уверен в этом. Ещё раз могу с благодарностью повторить, что мощная поддержка в сентябре прошлого года, оказанная нашему свободолобию свободолобием Соединённых Штатов (а в этом движении Вы играли столь ведущую роль), спасла многих из нас и даже изменила ход событий в нашей стране. И чем дальше, тем всё более важно сохранять и углублять взаимопонимание и сочувствие между общественными силами наших двух стран, оказавшихся (необлегчительно для себя) столь влиятельными для судеб всего мира. Тут будут неизбежны ошибки дальнего зрения: издали так трудно разглядеть суть проблем и пути развития нам у вас, вам – у нас. Но мы всеми силами должны устранять искажения оценок, взглядов и намерений, которые могут быть между нами внесены по небрежности, по поспешности или злоумышленно. В документе, который я послал Вам 3 апреля, я касаюсь отчасти и этого вопроса. Увы, не могу воспользоваться Вашим любезным приглашением, так как не имею возможности сейчас совершать далёкие поездки. Но Ваша готовность гостеприимства очень тронула меня. Глубоко сочувствуя той неизменной принципиальности, которой

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru Вы подчиняете решения повседневных вопросов, с лучшими пожеланиями, жму руку Ваш А. Солженицын. [11] В ШВЕЙЦАРСКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО 8 апреля 1974 за два месяца, что я на Западе, я засыпан лавиной писем из разных стран Европы, из Соединённых Штатов, Японии, Австралии, и лавина эта ещё усилилась после приезда моей семьи. Здесь – телеграммы, письма, пакеты и подарки людей одиночных, семейных пар, целых школьных классов, студенческих групп, университетских преподавателей и самих университетов, уже не говорю о письмах, предложениях и приглашениях многочисленных общественных организаций, международных и национальных. Однако даже если б я сейчас прекратил свою литературную работу и все другие занятия – я не успел бы ответить своим корреспондентам ранее, как за полгода. И поэтому я прибегаю к единственно возможному для меня ответу – через печать. Всех писавших мне я благодарю сердечно и прошу понять и извинить меня за физическую невозможность ответить каждому. Этим широким дружелюбием, одобрением, поддержкой, тем более ощутимым в моём самом близком окружении в Цюрихе – ото всего города, от смежных кварталов, от детей соседней школы, я и моя семья взволнованы и растроганы самым глубоким образом. Я не знаю, были ли изгнанники прежде меня, окружённые таким сочувственным теплом на чужбине, как будто это совсем не чужбина, а самая родная страна. Может быть, просвечивает здесь уже наступающее живое единство человечества. Я хотел бы правильно понять свою задачу и литературным делом отблагодарить своих бесчисленных новых друзей. А. Солженицын.

[12] ГОСБЕЗОПАСНОСТЬ НЕ УНИМАЕТСЯ* Цюрих, 3 мая 1974 в 1972 году Госбезопасность затеяла переписку с руководителем "Русского Национального Объединения" Василием Ореховым, редактором журнала "Часовой" (Брюссель), – переписку от моего имени, то есть сочиняла письма к нему, поддельная мой почерк. Сперва с невинными просьбами прислать материалы и воспоминания о 1-й Мировой войне, потом и с приглашениями приехать самому или прислать представителя "для связи" в Прагу. Поначалу эти фальшивые письма пересылались из Праги с обратным адресом известного писателя и психиатра Йозефа Несвадбы, затем – на конвертах появилось подставное лицо Отакар Горский, с "домашним" адресом на учреждение (Прага, ул. Революции, 1, где помещаются Чехословацкие аэролинии и туристические конторы), а телефоном – из того района (ул. Подкаштани и Маяковского), где расположены советское посольство и чешское ГБ. Как далеко зашла бы эта провокация, если бы меня не выслали, – не знаю. Вероятно, хотели арестовать в Праге приехавшего русского эмигранта и затем вокруг него сплести для уголовного суда мои "связи" с эмигрантскими организациями. (Связи с Зарубеьем – любимый конёк советской пропаганды.) Именно потому, что этот случай строится на графической подделке моих писем и такой приём может повторяться в будущем, я и прошу "Тайм" оповестить о нём читателей, сопроводив фотоиллюстрациями.

Подделка КГБ (слева) и моя подлинная подпись. Разумеется, в распоряжении ГБ было много образцов моего почерка и моих подписей, все подцензурные письма, в том числе и постоянный обратный адрес, который они и воспроизвели в точности:

Подделка (наверху) и подлинная рука (внизу). Сам почерк не то чтоб очень хорошо удался их графологам, но что-то схвачено, похожесть есть, и она обманывает.

Подделка (наверху) и подлинная рука (внизу). Любопытно, что жулики из ГБ подделывали не только почерк, но и – из разных других моих писем, прошедших их цензуру, – вылавливали отдельные мои выражения, фразы, синтагмы и вставляли их в свою подделку. Вполне можно ожидать, что все эти приёмы уже и в других случаях применялись против меня, и ещё будут применяться советской пропагандой в её нынешней кампании подделать моё прошлое и дискредитировать меня. Хотя после моей высылки объявлено, что я вообще перестал существовать, Госбезопасность ничуть не ослабила действий против меня и моих друзей. Бессильные уничтожить меня самого, в день моей высылки устроили себе ведьмовский праздник – ритуальное сожжение моей одежды, в которой я был арестован (меня выслали во всём кагебистском). На другой день издали (Управление по Охране Государственных Тайн в Печати) приказ сжигать изо всех библиотек мои немногочисленные сохранившиеся издания и даже целиком те номера журнала "Новый мир", где печатались мои рассказы. Со дня же высылки начались обыски у моих знакомых – в Рязани (Наталья Радугина, на обыск пришло 14 гебистов!) и в других городах, у кого рассчитывали найти или самиздатские мои издания, или что-либо написанное моей рукой, – и всё это тоже отбиралось. У Неонилы Снесарёвой (Москва) вместо обыска инсценировали "воровской налёт" (любимый маскарад гебистов), изъяли всё относящееся ко мне и оставили о том издевательскую записку. Начата систематическая расправа с лицами, подозреваемыми в дружбе или хотя бы в знакомстве со мной (недавний случай:

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru профессора Ефима Эткинда в Ленинграде в один день выбросили из института, из Союза писателей и отняли профессорское звание). Уже и в Цюрихе провокаторы КГБ (советские граждане, и этого не скрывают) звонят мне и непрошено навещают. Те угрозы целости моих детей, которые год назад в СССР подавались как анонимные письма мифических советских "гангстеров", прошлой зимой – "советских патриотов", – теперь повторяются этими посетителями, но уже как "сочувственное предупреждение" против гангстеров западных. Мой жизненный опыт достаточно мне прояснил, что все "гангстеры" моей жизни, и прошлые и будущие, – из одного и того же учреждения.

[13] В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТ "НАША СТРАНА" И "JERUSALEM POST" 30 августа 1974 для того, чтобы "Архипелаг ГУЛАГ" могли беспрепятственно читать самые широкие круги и не было бы затруднений приобрести его, я установил для всех издательств, что продажная цена книги не должна быть обычной для книг такого объема, но в 2, 3 и даже 4 раза дешевле. При этом все гонорары автора идут на общественные цели. Эти условия большинством издательств выполнены. Издательству "Харпер энд Роу" в США удалось установить цену даже ниже 2 долларов. Однако книготорговцы-перекупщики в некоторых странах сводят на нет этот замысел, спешат нажиться на необычно низкой цене, добрать разницу в свой карман. Сейчас мне пишут из Израиля, что Ваши книготорговцы продают два тома русского издания "Архипелага" за 25 долларов (тогда как маломощное издательство "ИМКА-пресс" продало им по 5-6 долларов за том)! Я хочу публично заявить, что такая бессовестная спекуляция на этой книге оскорбляет самую память погибших, она есть попытка нажиться на крови и страданиях их. Я призываю израильских читателей подвергнуть этих книготорговцев моральному осуждению и общественными методами заставить их отказаться от постыдной наживы. А. Солженицын.

[14] ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛА "ШПИГЕЛЬ" 6 ноября 1974 Господин Аугштайн! В Вашем приватном возбужденном ответе (1.11.74) на публичное опровержение моего адвоката (29.10.74) Вы подменяете дерзкие выражения Вашего журнала (28.10.74) на другие, более удобные к защите. Обсуждения (Erwdungen) возможного трибунала по материалам 50-летних злодейств Архипелага носят интернациональный характер и начались с "Московского Обращения" 13 февраля 1974 года. Они могут много помочь прояснению западного сознания. Но не об обсуждениях пишет Ваш журнал, лживо приписывая мне: 1) что я планирую создание такого Трибунала, из "ярких противников режима", и это – моя самобытная (ursprnglich) идея; 2) что такой Трибунал был бы направлен против моей родины (то есть, по аналогии, Нюрнберг – процесс против Германии, так?); 3) что от этого всего меня отговорила моя жена; 4) что я "не хочу удовлетворяться только писанием книг", но "обдумываю, как бы прямо делать политику". Предлагаю Вам публично отказаться от Вашей клеветы и напечатать это моё письмо. Это будет благоразумнее для Вас, чем защищать четыре указанных пункта в суде. А. Солженицын.

[15] ОТВЕТ НА ВОПРОС ГАЗЕТЫ "КОРРЬЕРА ДЕЛЛА СЕРА" (Корреспондент – Гвидо Тонелла) 21 февраля 1975 Речь идёт о подготовленной КГБ публикации с использованием полученных от моей бывшей жены моих личных писем. Публикаторы имеют возможность создать любую тенденциозную подборку, нежелательные им письма утаить, другие монтировать, эта техника их по отношению ко мне уже была применена. Я до сих пор полагаю, что по общечеловеческому закону никакие частные письма никакого человека вообще не могут публиковаться при его жизни без его согласия. Если итальянский закон, как это выяснилось из решения судьи, г-на Де Фалько, допускает публикацию столь низкого рода – такой закон вызывает презрение, и я не считал бы возможным апеллировать к нему. А. Солженицын. [16] ПИСЬМО В. В. НАБОКОВУ 16 мая 1972 Высокоуважаемый Владимир Владимирович! Посылаю Вам копию своего письма в Шведскую Академию с надеждой, что оно не будет безрезультатно. Давно считаю несправедливостью, что Вам до сих пор не присуждена Нобелевская премия. (Эту копию посылаю Вам, однако, лишь для личного сведения: по особенности моего и Вашего положения публикация этих писем могла бы принести лишь вред начинанию.) Пользуюсь случаем выразить Вам и своё восхищение огромностью и тонкостью Вашего таланта, несравненного даже по масштабам русской литературы, и своё глубокое огорчение, даже укоризну, что этот великий талант Вы не поставили на служение нашей горькой несчастной судьбе, нашей затемнённой и исковерканной истории. А может быть, Вы ещё найдёте в себе и склонность к этому, и силы, и время? От души хочу Вам этого пожелать. Простите, но: переходя в английскую литературу, Вы совершили языковой подвиг, однако это не был самый трудный из путей, которые лежали перед Вами в 30-е годы. Совсем недавно я был в Ленинграде и зашёл в оригинальный вестибюль Вашего милого дома по Большой Морской, 47 – главным образом, правда, с воспоминанием о роковом земском

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru совещании 8 ноября 1904 года на квартире Вашего отца. Желаю Вам ещё долгой творческой жизни! А. Солженицын.

Глава 2 хищники и лопухи

Во всей нашей в те годы борьбе как же было нам не знать, не помнить, что Запад существует! Да каждый день мы в Советском Союзе это ощущали, и борьба наша вызывала гулкое эхо на Западе и тем получала опору в западном общественном мнении. А вместе с тем – реальные законы Свободного Мира нами не ощущались. Зналось, конечно, что вся атмосфера его, как она из западного радио вырисовывалась, другая, не наша. Но это общее понимание – даже на иностранных корреспондентов в Москве распространялось нами ограниченно: уже они казались обязаны разделять наш суровый воздух, и забывали мы, что Москва для них – весьма престижное и выгодное место службы, которое легко и потерять. Те же иностранцы, кто втягивались как наши секретные сообщники (близкие "невидимки"), уже воспринимались нами как обданные русским ветрожом, такие же непременно стойкие и такие же непременно верные. (Да вот, замечательно: такими они себя и проявляли: они переняли эту атмосферу безнаградной жертвенности.) Но и просто вообще знать всегда мало для человека. А начнёшь проводить через опыт, через поведение – и наошибаешься, и наошибёшься. Вся эта гекатомба самоотверженности наших "невидимок", возвысившая мои книги и выступления до зрения и слуха всего мира, так что они появлялись в полную громкость, неостановимо для Лубянки и Старой площади, – в реальной жизни не могла выситься легендарно-чистой, так, чтоб не тронула её коррозия корысти. И коррозия эта пришла в наше дело, и несколько раз, но из мира, устроенного по другим жизненным законам. Могла б и в пригнётном мире прилепиться, но удивляться надо: нет. В этом, говорят, безнадёжно испорченном обществе и народе – тогда невтиснулись между нами корысть, предательство, осквернение. Мы – бились насмерть, мы изнемогали под каменным истуканом Советов, с Запада нёсся слитный шум одобрения мне, – и оттуда же тянулись ухватчивые руки, как бы от книг моих и имени поживиться, а там пропади и книги эти, и весь наш бой. И без этой стороны дела осталась бы неполна картина. Всегда правильно толковала "Ева" (Н. И. Столярова), даже впервые открыла мне: что главная сложность не в том, как перетолкнуть рукопись через границу СССР (мне казалось только это единственно трудным, а уж дальше – всякие руки в свободном мире благожелательно напечатают, и книга быстро выполнит свою цель). Не-ет, мол, перебросить в нынешнее время стало совсем не тяжело – а трудно, важно: найти честные руки, куда рукопись попадёт, кто будет ею распорядиться не с потоптанием автора, не искажая его в спешке для сенсации или прибыли. Отправка наша до сих пор была только одна: в октябре 1964 с Вадимом Леонидовичем Андреевым, – и с тех пор она лежала спокойно, без движения, в Женеве. (Там был "Круг"-87, то есть сокращённый вариант романа, с политически облегчённым сюжетом, все пьесы и лагерная поэма "Дороженька".) Весной 1967, приехав из эстонского Укрявища, освобождённый окончанием "Архипелага" и готовясь ко взрыву съездского письма (как раз начав первые страницы "Телёнка"), я оказался перед необходимостью и возможностью решать: как жить моим двум романам – "Кругу" и "Корпусу". Ведь на родине, исключая самиздат, им – стена. Да "Раковый корпус" и множился в самиздате с июня 1966. Но, видимо, ещё не быстры тогда были пути самопроникновения рукописей на Запад. И как "Иван Денисович" туда не урвал сам за год, так, очевидно, за год не успел и "Корпус". Но – успеет. И я решил: уж теперь пусть плывёт как плывёт, без моего прикосновения, без всякой опеки и соглашений. А "Круг" – куда опаснее, и я сам буду его печатать, сам выберу и пути, и руки, и момент взрыва (так, чтоб и успеть к нему подготовиться). Попробую по-разному, чтоб выйдет. А ведь начал ходить в самиздате и "Круг". Тут уже стерегись. И я, по совету Евы, решил прямо поручить печатать его на Западе – дочери Вадима Андреева Ольге Карлайл. Убеждала меня Ева, что это уж будет издание ответственное, качественное, и точно по моему сигналу. До сих пор все годы я действовал или в пределах ГУЛАГа, или в пределах СССР – и почти безошибочно в поступках и в разгадке людей. Но тут – предстояло касаться иного, неведомого, мира, и я стал совершать почти только одни ошибки, долгую цепь ошибок, которая и по сегодня, через 11 лет, не расхлёбана. Из двух выбранных мною путей для двух романов оба оказались – хуже. Правда, первый путь я невольно подпортил, но никак того не понимая. Весной 1967 получил в Рязань телеграмму двух словацких корреспондентов, просят интервью. Конечно, беспрепятственный приход телеграммы подозрителен, но бывают же и осечки, вдруг ГБ прохлопало? После японца Комото (осенью 1966) я никаких интервью не давал, "Архипелаг" успешно окончен и запрятан, меня удушали замалчиванием, – отчего бы голос не подать, да и корреспонденты "восточно-демократические", как будто не криминал? Принял. Один из них, назвавшийся Рудольфом Алчинским, стройный,

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru загадочный, всё время молчал и приятно улыбался; но никакой его роли в дальнейшем не видно – и странно, зачем был он? соглядатаем? Старший же был – топтыжистый Павел Личко, корреспондент словацкой "Правды", уже тогда смелой газеты ещё не известного миру Дубчека. В прошлом командир партизанского против немцев отряда, человек решительный, он вёл себя и явился мне представителем ещё скованной, но уже пробуждённой словацкой интеллигенции. В конце интервью (поданного им потом с мещанским огрублением, с мелодрамными репликами, – научил меня, что важные мысли надо излагать самому письменно, а не полагаться на корреспондентов) попросил меня Личко: "А не можете вы дать нам "Раковый корпус" для Чехословакии? Это будет нашей интеллигенции такая поддержка, мы будем пытаться напечатать его по-словацки!" – "Уж тогда и по-чешски!" – предложил я встречно. А для начала, в журнале, напечатать главу "Право лечить" (уж самую безъершистую). И легко дал ему 1-ю часть "Корпуса" и в придачу "Оленя и шалашовку": ведь в восточноевропейскую страну, как будто совсем не за границу, не на запад же! Я сам не заметил, что нарушаю собственное решение: самому – "Корпуса" не давать никому. И ещё совсем не понимал я такой стороны, что машинописная пачка рукописи там дороже пачки крупных ассигнаций, – у нас ведь в самиздате всё льётся бесплатно, между энтузиазмом и уголовным кодексом. И вот за ошибку зрения пришлось поплатиться. (Ход событий я узнал только в Цюрихе, в конце 1974, из переговоров с английским издательством "Бодли Хэд"). В ноябре того 1967 возвратившийся из братиславской поездки в Лондон лорд Николас Беттел, от других лордов отличавшийся знанием русского языка, от себя предложил издательству "Бодли Хэд" роман Солженицына "Раковый корпус" на условиях: переводят он и Дэвид Бург (он же Александр Долберг, темноватый для меня эмигрант из СССР, отпущенный, когда не отпускали ещё никого), а за перевод возьмём не с издательства (как всегда), а – с автора, половину его гонорара. Что ж, "Бодли Хэду" ещё выгодней. Беттел не представил никаких полномочий от меня, лишь обещал такие от Личко, – и старинное уважаемое английское издательство легко подписало предложенный договор с Личко. ("Как же вы могли поверить в полномочия, без доказательств?" – спрашиваю я их в Цюрихе в 1974. Отвечают: "А иначе мы не получили бы романа". И – какие же могут быть преградные соображения?) Несомненно, что Личко при встрече с Беттелом в Братиславе предложил ему издать в Англии мою книгу. Поверил ли Беттел в полномочия Личко? Допустим, внешних доказательств было не так мало: машинопись 1-й части – может быть, авторская, а может быть, и не авторская; факт, что Личко получил в Рязани у меня интервью; да два моих дружественных письма к Личко вслед интервью – по тому поводу, что главу "Право лечить" напечатали-таки в словацкой "Правде" в переводе супругов Личко. Да, это было – кое-что, но никак не достаточно оснований Беттелу для уверенности, что я поручил Личко печатать "Корпус" в Англии. Однако, очевидно, ему удобнее было поверить, и он, вероятно, легко достроил, что если я открыто поручил Личко публикацию одной главы в Чехословакии, то значит я тайно поручил ему и публикацию всей книги во всём мире. Тогда же, в декабре 1967, Личко кинулся опять в Москву. Он хотел получить моё согласие на английское издание и уверен был в том. Но разве найти меня в Москве? – я там и вообще не живу, да неизвестно где, и работаю всегда. Личко бросился к Борису Можаеву, с которым знаком был, потому что и его переводили на словацкий супруги Личко. И возбуждённо теперь рассказал Борису и в возбуждённом письме открыто написал мне: что встречался с представителем "Бодли Хэда" и уже обещал им продать "Корпус". И лишь последнего согласия моего спрашивал, – то есть как ещё доведка к уже несомненному решению? (И не просил 2-й части "Корпуса", что странно.) От письма Личко, переданного Борей в моё убежище этой зимой, я взвился в солотчинской берлоге. Но конечно не поехал с партизаном встречаться, да никогда я не допускал лишних движений прочь от работы, однако написал ему ответ, полный проклятий и запрета, – он разрушал мой план не прикасаться к движению "Корпуса", через какую-то неведомую цепочку взваливал всю ответственность на меня. Борис рассказывал потом – Личко изумился: "Но ведь какие деньги пропадают, какие деньги!" (Тогда я подумал: душа коммунистического партизана уже обзолочена. А что? такие превращения происходят запросто. Сейчас думаю: да нет! провокация ГБ от начала до конца. Не на интервью и пропускали его в Рязань – а за рукописью, чтобы я сам дал на запад? И что уж так часто свободно ездил Личко в Москву? И что ж они 2-й части "Корпуса" от меня не добивались, для полноты? сами имели? Им только и надо было, чтоб начальный коготок увяз: сам дал.) На том Личко тогда и уехал из Москвы. Я думал: послушался. Начался 1968 год, "чешская весна", – самое бы время и печатать мою книгу в Чехословакии. Нет! – партизан вёл свои безумные (или очень умные) переговоры. И вот в марте 1968 в пражском ресторане (самое безопасное место от ГБ?..) Личко встретился с предприимчивым лордом и в присутствии свидетелей, англичанина и англичанки, выдавая себя за моего полномочного представителя, подписал договор с издательством "Бодли Хэд" о

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru продаде ему всего "Ракового корпуса", обеих частей, а заодно – и пьесы "Олень и шалашовка", и на неё простяг! При том торопились или были нахмеле – упустили распространить "договор" на все языки мира, не только на английский. Уже уехав в Англию, лорд сообразил, или указали ему в издательстве, и он письменно потребовал от Личко расширения и Личко великодушно "расширил" простой добавочной запиской. А всё-таки, "Бодли Хэду" верней бы получить мою собственную подпись! И опять погнало Личко в Москву, к Можаяеву. И всучивал ему – через границу привезенный! – договор, чтоб я подписал. И Борис – того договора благоразумно и в руки не взявши – вынужден был гнать ко мне в Рождество. И в моё ранневесеннее одиночество на Истье свалился с такой новостью: оказывается, Личко договор уже подписал от моего имени!* Ах, мелкая душёнка! Ах, канальство! Всё во мне помрачилось. Только-только перед этим я так хорошо отладил всё с "корпусом", он шёл – а я никак не участвовал, за него не отвечал, – а теперь окажется: я передал его на Запад сам? да не передал, а продал? Что делать с этим балбесом, ошалевшим от запаха денег? Борька! Подави его, гада! Запрети категорически, провались он с его деньгами! Не хочу я с ним ехать даже встречаться! Так срывался мой замысел, что именно "Раковый" я пускал по воле волн. Безотказный мой друг воротился в Москву, встретился с Личко – и велел ему тут же, в ресторанный уборной близ Новодевичьего, изорвать привезенный договор в клочки: "Попадёшься на границе – арестуют". И Личко – изорвал? Наверно нет, разве пообещал. Прошло недели три – и вдруг приносят мне вырезку из "Монд": между "Мондадори" и "Бодли Хэдом" происходит публичный спор о копирайте на "Раковый корпус". "Мондадори" – шут с ним, он меня не касается, значит, из самиздата взял, – но "Бодли Хэд"? ведь через Личко запутает меня! Из-за этой низости Личко я и должен был особым письмом в "Монд"-"Униту"-"Литгазету" заявить, что: никто из западных издателей не получал от меня доверенности печатать повесть. И поэтому ничью публикацию без моего разрешения не признаю законной и ни за кем – издательских прав. Я это – с твёрдой чистой совестью заявлял, это именно так и было. В начале апреля радовался появившимся отрывкам из "корпуса" в литературном приложении к лондонской "Таймс", их передавали по Би-би-си: поплыли, в добрый путь! И не додумался, лопух, что это с экземпляра, который Личко уже продал, – это публикация, анонсная к книге. Публичное моё заявление, напечатанное в "Монде", потом даже и в "Литгазете" (теперь поверили мне и гебешники), было ясно, твёрдо – и как бы его криво толковать? Ведь знали: я не сделал ни одного вынужденного заявления под давлением властей – как же было не поверить и этому? Однако солидное английское издательство не посчиталось с прямыми словами автора и нашло сговорчивого адвоката – а тот быстро, в начале мая, уже и отпустил "Бодли Хэду" грех: можно с заявлением автора не считаться и печатать. Хуже: "Бодли Хэд", в противоречие мне, публично заявил, что их издание – авторизованное (то есть, как минимум, разрешённое автором). То есть значит: Солженицын врёт, он сам нам дал. Тем они – подсовывали советскому КГБ прямое основание меня обвинить, советской прессе – меня травить, – и только ради коммерческой выгоды, оттягать мировые права на рукопись от своего соперника "Мондадори". ("Мондадори" в Италии и "Дайел" в Штатах тоже в это время печатали "корпус" со случайной рукописи, но не плели позорной небылицы, что у них от меня полномочия, не имея своих коммивояжёров со своим спектаклем.) А изображённое перед Можаяевым раскаяние Личко было коротким. Воротясь из Москвы в Чехословакию, старый коммунист написал Беттелу, что Солженицын, конечно, не мог дать письменного документа (на границе захватят! – но зачем же было ездить ко мне с договором? нет, тут явно ГБ!), однако "одобряет все поступки" Личко, лучше знающего европейские условия, и если сам Солженицын будет перед Союзом советских писателей публично отречься, то на Западе не обращать внимания, публиковать и 2-ю часть "корпуса" и "Олень-шалашовку", – таковы, мол, инструкции автора. (Объяснить его корыстью? – так ничего ему по договору не перепало, как я уже в Цюрихе узнал. Вообразить его моим самым преданным другом, который лучше меня о моих книгах хлопочет? – с чего бы?) А издательству и лорду-посреднику больше ничего и не нужно. И Беттел с Бургом бешено, в несколько месяцев, прогнали перевод обеих частей "корпуса". (Но, к моему удивлению, все потом говорили: перевод совсем не плох.) Что за персона был этот Личко (в сталинские годы – зав. отделом прессы при ЦК Чехословакии!), яснеет из его письма Беттелу от 1 июня 1968: "Дорогой Николай! У нас в Чехословакии, особенно в Словакии, особенно сложное положение. Мне лично трудно, даже труднее, чем умеете представить себе..." и это в разгар "чехословацкой весны"!.. Но всё же Личко тем грозным августом 1968 приехал в Лондон и присягнул на Библии (от коммуниста для строгих англичан это было уже верным доказательством), что имеет на всё полномочия. Заодно продавалась-покупалась и пьеса. Да уж печатали бы как книжные пираты. Нет, они хотели одолеть соперников за счёт безопасности автора. О Личко ни разгадки, ни дальнейшей развязки не знаю. Ещё в каком-то году Беттел приезжал в

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru Москву и через того же Можая добивался со мной видаться. Я тогда – и имя его слышал первый раз, ничего о нём не знал, и конечно отказался. (А он потом заявил в Англии: именно эта поездка и убедила его, что он действовал в интересах автора.) Узнал я эту историю только в Цюрихе, в конце 1974, и написал Беттелу гневное письмо. Он не снизошёл мне отвечать – ведь все его липовые договоры с тех пор, ещё до моей высылки, законно утверждены моим адвокатом Хеебом, чего ему беспокоиться? А у меня не было сил разбираться с ним (да все мысли мои были уже – в ленинских главах). Там у них возник небольшой, но очень предприимчивый клубок: Беттел – шил юридический чехол для "Ракового корпуса", Беттел с Бургом его переводили, Бург с Файфером взялись писать мою биографию, это мог быть ходкий товар; с ними тесно сдружился Зильберберг, снабжавший их информацией (слухами) о моей частной жизни, рядом же был и Майкл Скемел, тоже затевавший мою биографию и самовольно печатавший куски моей лагерной поэмы, заимствуя из самиздатской статьи Теуша, – вся эта компания жаждала возраститься на моём имени. Файфер, являсь в Москву, взял Веронику Туркину "на арапа": дескать, у него уже всё собрано для биографии Солженицына (именно-то и не знал ничего реально), нужны только ещё небольшие детали. И обязательно – встреча со мной. Я встретиться отказался и предупредил его через Веронику, что публикацию сейчас моей биографии (иной, чем только литературной) рассматриваю как помощь гебистскому сыску, – но он не унялся, продолжал лаять мою "жизнь", и мне пришлось публично осадить его. А Беттел, годами позже, описал в своей книге английские предательские выдачи советских граждан назад в СССР в 1945–46. Сколько-то извлёк из тайных английских документов и сделал дело полезное. Весной 1976 в Англии он направил ко мне венгерского режиссёра Роберта Ваши искать защиту против лорда Идена и его окружения, преграждавших показ фильма об этих выдачах. Я написал требуемое письмо, и Беттел прочёл его в Палате Лордов. Фильм отстояли*. В том же марте 1967 сделал я и сам непоправимый шаг. Приехала в Москву Ольга Карлайл, и убедила меня Ева, что вот самый лучший случай дать надёжное движение "Кругу": вывозить плёнку уже не надо, Ольга возьмёт у отца в Женеве, а сама энергична, замужем за американским писателем, возвращается в издательском мире, – всё стекается удобно. Будет издание спокойное, достойное, и перевод без конкурентной спешки. Ну, двигать так двигать. Встретились у Евы. Небольшая, подвижное чернявое личико, без следов серьёзной мысли, настроенное – как у зверька какого. Да мне ли разбираться! – встреча с иностранцем, редкость для меня! А тут и настойчивая рекомендация Евы. Пошли разговаривать не под потолками – я проводил Ольгу Вадимовну в сторону её гостиницы, по ночной Домниковке. Залитые электричеством, но явно не следимые, мы походили, уславливаясь. Очень она была американка, во всех манерах и стиле, русский язык самый посредственный. Но действительно все обстоятельства складывались, что лучшего пути не придумать, да главное – доверие было к семье: Андреевы, и сам Вадим Леонидович такой благородный. Ольга совсем ещё и не понимала, что за размах и успех будет у книги, которую я ей предлагаю (Евтушенко в её глазах был куда важнее меня), а я настолько был захвачен лишь надёжностью, секретностью, внезапностью публикации, что и не затревожился: а собственно, кто же и как будет переводить, – хотя понимал же эту проблему даже с юности. У Ольги русский язык никуда, муж вовсе не знает. Но она уверила: есть у неё друзья, Томас Уитни и Гаррисон Солсбери, жили долго в Москве, хорошо знают русский, они помогут, вчетвером и сделают: Генри Карлайл – стилист. Ну что ж, тогда как будто хорошо. Назвала издательство, "Харпер энд Роу", – а для меня безразлично. Изматывающая наша борьба в СССР совсем не давала вдуматься и внять, какой там путь книг на Западе, – лишь бы взрывались ударами по коммунизму. Через несколько дней Ольга, видимо, разузнала обо мне больше, сообразила и стала через Еву спрашивать, не поручу ли я ей и "Раковый корпус", не дам ли фотоплёнку с текстом, она повезёт! Но я отказал, только во всяком случае не из недоверия, а уж как решил: путь "Ракового корпуса" – произвольный, по волнам. Прошло полгода – в сентябре Ольга Карлайл снова приехала в Советский Союз, и Ева свела нас на квартире у "Царевны" (Наталии Владимировны Кинд). Для прикрытия встречи собрана была компания, Ольга села в центре, посреди комнаты; держала она нога за ногу, по американской привычке высоко, на выстав, поражали никем в Союзе не виданные её какие-то особенные белые чулки с плетёными стрелками; как будто жили у неё в разговоре не руки, а ноги, будто она выражала себя не мимикой лица, не жестами рук, а этими ногами в белых стрелках. Мы с Ольгой вышли на балкон и поговорили минут двадцать, ещё опасаясь, чтобы не слышали нас с верхнего или нижнего балкона. Это был 11-й этаж, збаливь огней Юго-Запада Москвы простиралась перед нами, огненный мир высоких домов, неразлично – наш или американский, два мира сошлись. Меня рвали вперёд крылья борьбы – и я ждал за минувшие полгода уже больших результатов, уже почти накануне печатания! С удивлением услышал я, что "так быстро дела не делаются". Это у американцев не делаются?! у кого же тогда?

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru Оказывается, она в Штатах не решилась заключить контракт с издательством без полной от меня гарантии, что "Круг" не появится самопроизвольно. Да как же я такую гарантию могу дать, если "Круг" уже ходит в самиздате? Сам я - никому, кроме вас, не дам, твёрдо. А вот не надо было вам полгода зря терять, обидно. По сути она ничего нового мне не сказала в сравнении с мартом, только то было видно, что теперь осознала весомость "Круга" и "Корпуса". Тем более энергично я убеждал - толкать! скорей! Я не мог понять: а почему ж они эти полгода даже не переводили? (Это уже Ева мне потом объяснила, опять: "так дела не делаются", на Западе никто не станет начинать работу без аванса, без финансовой прочной основы. Как странно было слышать это нашим ушам, привыкшим к бескорыстному и даже головоотчаянному стуку самиздатских пишущих машинок. Эти на каждом шагу "сколько?" - не прилеплялись, не переплетались с нашим привычным.) Сейчас, когда я это пишу, спустя 10 лет от тех встреч, опубликована книга О. Карлайл с оправданиями, искажениями и многими измышленными приплётами. Но кое-что она помогает увидеть с их стороны. Для неё эта наша вторая встреча была - всего лишь подтверждение полномочий, ведь она будет делать серьёзный коммерческий шаг: вступать в договор без письменной доверенности на руках. Она теперь напоминает, и верно, что я горячо говорил: "Не надо экономить! Не надо думать о деньгах! Тратьте деньги, чтобы только дело двигалось! Мне надо, чтобы бомба взорвалась!" Пишет: "Он не выслушивал объяснений". Тоже допускаю: мой порыв был - к печатанию! полвека уже загоняют нашу литературу в подпол, дохнуть никому нельзя, дайте распрямиться! и какие там могут быть встречные обстоятельства? Так и не узнаю я никогда: а что ж она собиралась в тот вечер объяснять? что она вмешает в это дело ненужного корыстолюбивого адвоката? что ее муж должен получить звание и оплату литературного агента за распространение "Круга", как если б никакое издательство брать его не хотело и надо было всучивать? Если б она мне такое и сказала - действительно б я изумился, ничего б не понял. Мне - печатать "Круг" надо было скорей! - для того и вся встреча. Прошло три месяца - в декабре через Еву известие: Ольга опять едет (они перезванивались). Да что такое? всё свидания вместо дела. Но тут ей отказали в визе. (После предыдущей поездки в СССР, вместе с Артуром Миллером и его женой, она напечатала что-то диссидентское, критическое против власти - ей и закрыли путь в Союз. Ныне она кривит, что ей закрыли путь из-за меня.) Тогда она доверила весь секрет своему другу детства Степану Татищеву в Париже (самовольное расширение, но оно не оказалось вредным, напротив, Степан ещё много и многим поможет). Татищев приехал вместо неё. Снова риск, снова встреча, опять у Царевны. У Степана и язык русский хороший. И прямодушное лицо, и глубинная взволнованность Россией. Уединяемся с ним - и что же? Карлайлы получили тревожный слух, будто этой осенью в Италии кто-то предлагал "Круг" от меня. - Да сколько же можно одно и то же повторять! Да ведь я уже дважды поручил ей, именно ей, ей! Да ведь мы все здесь только и держимся на слове и доверии! Конечно, "Круг" есть и в КГБ, и в самиздате уже, - именно поэтому мы и должны спешить с печатаньем!! - Нет, на той стороне неуверенность. Они предпочитали бы письменную доверенность на ведение дел! - О, туполобые! захватят на границе такую доверенность и до всякого "Круга" голову мою срубят с плеч! Ну, как их там убедить? Да пусть поймут: никогда я не отменю своего слова! никто меня не остановит в печатании! если уж объявятся конкуренты и будут обгонять - ну, тогда я признаю вас открыто. Но пока конфликта нет, необходимости нет, - не надо, поберегите же и меня! А разобраться - так очень сходная ситуация с "Бодли Хэдом". Как те добивались моей прямой подписи, так и эти. Решительная разница только для меня: что там я не хотел поручать, плывёт как плывёт, а здесь - именно доверил, настаивал и торопил. А издательства одинаковы: воля писателя, как он там бьётся в советских тисках, весьма мало интересует их. Им нужна только гарантия коммерческого успеха: что никто не обгонит их в печатании, что на случай суда у них есть юридический документ. Наши простецкие мозги - не были приспособлены понять их. Ольга же, на прошлом свидании узнав от меня о существовании "Архипелага", теперь через посланца запрашивает: а можно ли считать и "Архипелаг" обеспеченным для их группы и для избранного издательства?.. (Господи, головой не могу объять, почему сам "Круг" не насыщает западное издательство?) Хорошо, швыряю я и "Архипелаг" подмостью для "Круга": ладно, усильте своё положение перед "Харпером", сообщите ему, что ещё будет и другая большая книга, только ни за что не называйте её! Нет, Карлайлы и тут не решаются, пока не вовлекут в дело пружину американской жизни, адвоката, некоего Антони Курто. Мне никогда не пришлось его видеть, но вот как Карлайл описывает его теперь в книге: вызывает образы с Уолл-стрита, мир частных фондов, капиталовложений; никогда не занимался ничем, близким литературе; плотный, преуспевающий, радостный, стремление к успеху, подозрение к контрагентам и клиентам, сам весь новый и портфель блестящий, автомобиль огромный. И вот в эти доверенные сочувственные нежные руки вкладывает внучка русского писателя судьбу

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru другого русского писателя, придавленного. Не удивительно, если Курто вполне безразлична и литературная и политическая суть дела, а усматривает он только: что находится в беспомощном движении какая-то материальная ценность, и можно хорошо на ней заработать. В феврале 1968 он помогает О. Карлайл подписать договор с издательством "Харпер". В тот год я вообще не знал, не думал, что существует какой-то там договор, но через много лет в Цюрихе мне пришлось его прочесть. Боже мой! Это не был договор на взрывную книгу писателя, схватившегося насмерть с душегубным режимом, да на виду у всего мира, – но договор-диктат мощного издательства робкому автору-дебютанту, уже с первого шага виновному. Договор налагал на автора цепь ответственностей за все возможные неустойки, судебные споры с другими издательствами об авторских правах, все опасности, все помехи: компенсировать им всё, что может произойти от свободного движения "Круга", – должен буду я, и я, и я. Тут, на Востоке, я отвечаю за книгу головой – а на Западе я уже вперёд задолжал за неё штрафами или долговой ямой. Издательство детально гарантировало себя с денежной стороны: трёхлетним замораживанием всех авторских гонораров; после трёх лет – правом в любой момент остановить их выплату; односторонней обязанностью автора оплачивать любой судебный процесс, и так далее, и так далее, до мелкой оплаты всякого моего изменения в первоначальном тексте. Только об одном никто не вспомнил и не внёс в договор ни строчки: о качестве перевода, об ответственности издательства за качество книги. И без колебания О. Карлайл вывела свою подпись. А директор издательства Кэз Кэнфильд только потому и согласился даже на такой договор, что при этом устно Карлайл ему пообещала ещё и вырванное у меня согласие об "Архипелаге", который под советской давящей глыбой нам ещё предстояло докончить и перепечатать. ("Как же вы могли заключить такой колониальный договор?" – спросил я недавно представителей издательства. Отвечают: зачем, мол, теперь детали вспоминать? – суда ведь не возникло. С первоприродной откровенностью: надо ж было и роман не упустить, и финансово обезопаситься. – Так же, как и "Бодли Хэд"!)) И вот только когда, за год оседлав договор, супруги Карлайлы сочли возможным потратить своё время на "Круг". Верней, попался здесь на пути самоотверженный и честный человек – Томас Уитни. Карлайлы дали ему переводить в сентябре 1967. Уитни не беспокоился о договоре, о вознаграждении (был состоятелен), но хотел действительно послужить движению русской книги в Америке. Чтобы не вскрыть касание ко мне семьи Андреевых, переводчиком "Круга" и назван был только он один (как, по сути, и работал он один). К марту 1968 он уже сделал, что мог, – однако он не был переводчик профессиональный. Супруги же Карлайл, не зная русского языка и уже не сверяясь с русским текстом, бросились "шлифовать" перевод "под стиль" Генри Карлайла. Не сделал ничего от весны 1967 до весны 1968, теперь нужно было успеть повернуть побыстрее к осени 1968. Что они нашлифовали – к Уитни уже не возвращалось, а шло в набор. Ему же в издательстве в последние дни предложили править гранки – он с ужасом увидел много ошибок, но исправить успевал мало. И что ж это получился за перевод! Довольно вскоре достиг и нас в Союзе экземпляр книги – и я, делать мне больше нечего! и деться некуда, – сел проверять – сравнивать несколько глав по выбору – "Немой набат", "Спиридон", "Церковь Иоанна Предтечи". Сильно смутился. Попросил проверить специалистов. Боже мой, – и это перевод? – с потерей красок, со срезкой рельефа речи, особо частой утерей прилагательных или целых синтагм, смысловых значимостей, и уж конечно безо всякого понимания ритма, со сбивом его в чередовании фраз, с нарушением абзацев – отменной моих, появлением новых. Пропускались многие слова, выражения, оттенки; как можно понять, одни – по трудности перевода, другие пропуски не объяснить ничем, кроме небрежности. Много отчаянных нелепостей, вот – такой рекорд, о маленькой девочке: вместо "Агния всегда была расположена за зайчика, чтобы в него не попали", – переведено: "Агнию бережно располагали за маленьким домиком, чтоб об неё никто не споткнулся". И ещё удивительные места, где сочинены целые фразы, которых вовсе нет у меня. Мучительно было это всё обнаружить. Ладно, "Ивана Денисовича" расхватили жадные соревнователи, "Раковый корпус" поплыл без моего управления, но эту-то книгу я озаботился передать в верные руки, – и что же прочтут и поймут американцы? А ещё же Карлайл подписала с "Харпером энд Роу" передачу им и мировых прав на "Круг" и, значит, распространение его на всех европейских языках. (Карлайл о том сама раньше не подумала, и со мной в Москве о том разговора не было, я с нею имел в виду именно и только американское издание, неважно: меня не спрося, подписала она теперь и мировые.) Месяцами позже от приехавших стариков Андреевых я узнал как о готовом факте: что публикация произойдёт сразу в пяти странах. Ну что ж, пусть так, думал я: громче удар, радовался. Но если Карлайл, "отдавшая всю жизнь" моим делам, не могла хоть американский перевод издать в хорошем качестве, то где уж там следить за остальными переводами? "Харпер" теперь занялся подсчётом своего мирового дохода,

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru и вместе с ним Карлайлы только указали жёсткий единый срок мировых публикаций - распространение же книги передало международному литературному агенту Эрику Линдеру, а тот тем более утруждался лишь получением своих процентов, а не качеством переводов. (А я именно в этот апрель 1968 в письме в "Монд"- "Униту" публично заявил, что только качества переводов ищу, напомнил: "кроме денег существует литература".) Английский "Коллинз" по первым же пробам отказался от американского перевода. Однако составленная им самим группа переводчиков (под общим псевдонимом) тоже спешила отчаянно, не смогла перевести удовлетворительно и согласованно. Анализировали мы в Москве и их перевод, и тоже наплакались: не многим лучше. Ещё горше был загублен французский перевод. Есть и прямое признание издателя Робера Лафона (в письме к Полю Фламану, моему достойному представителю, но уже с 1975 года), что они получили американский перевод "Круга" раньше русского текста, и переводили с английского, и на всю работу имели четыре месяца. Это видно и по книге, без его признания. Книга переведена чудовищно, ко всем ошибкам американского перевода добавлено множество своих ошибок, непонятностей и небрежностей, есть у меня и этот анализ. (Отмечалось во французских газетах, что даже строфа "Интернационала" не воспроизводила истинный французский текст, а - через двойной, вернее тройной, перевод.) В немецком переводе, где работали две разных переводчицы, я и сам вижу, как повторены все нелепости и промахи американского, - значит, переводили тоже не с оригинала, а с английского. (Непонятно, почему Карлайлы вовремя не давали европейским издательствам исходного русского текста?) Так Карлайлы швырнула мой "Круг" на растопт, изгаженье и презрение, и считает, что оказала величайшую помощь утверждению моего имени. И что он был всё-таки разглажен через всё осквернение (а во Франции даже удостоен премии лучшей книги года), "Круг" обязан, очевидно, только своей конструкции, не уничтожимой ни в каком переводе, и тугой спирали сюжета. Удивляться надо, как через муть этих кромешных переводов пробивались события и лица. Сидя у нас там, в СССР, под прессом, - что такое подобное можно было вообразить? Мы ставим головы против всемогущего КГБ, а уж наши доверенные друзья на Западе и вообще все свободные люди - конечно крепко держат наше рукопожатие, они-то сочувствуют нам! Одновременный в пяти странах выход моего "Круга" тотчас же за разрозненным появлением "корпуса" - казался грозным залпом! Но, болезненно для меня, ни языка моего, ни места смысла, ни самого автора представить было нельзя. А весной 1968, ничего того ещё не ведая, мы как раз кончали "Архипелаг". И под Троицу 1968 - удалось отправить его, в те же руки, Карлайлам, - и отправка эта, и сами эти Троицкие дни казались нам святым зенитом жизни: по-шёл, по-шёл и "Архипелаг" за "Кругом"! В путь добрый! Я просил Карлайлов организовать перевод "Архипелага" года за два, в полной тайне, оплачивая перевод из моих гонораров "Круга" и поэтому не нуждаясь ни к какому издателю обращаться и открываться. (По западной практике, аванс и деньги в срок, - такой независимый от издательства перевод вообще был бы невозможен, не будь уже авторских гонораров от напечатанного "Круга". Но деньги же были в безраздельном ведении Карлайлов, они оплачивали и свою "комиссию", и своего адвоката, и свои шаги, и своё бездействие, - но что ж никаких сведений о ходе перевода?) И вдруг весной 1969 доходит до нас страничка из журнала "Тайм" - и в нём читаем открыто название "Архипелаг ГУЛАГ"!!! - о, ужас! - и будто манускрипт ушёл на Запад без ведома автора, и за ним жадно охотятся западные издательства! Какой кошмар! Откуда эти сведения? Мы-то знаем верно, что ни один экземпляр больше никогда никуда от нас не ушёл, - и не могли же наши благородные друзья нас так предать? Опять - ощущение подтопной беззащитности. И - раздетости. И - осквернения. Ева ищет связь, оказию, гоним тревожный запрос: откуда это? Если от вас - то остановите же, не смейте! Должна быть глубокая тайна! Ответ не менее возмущённый: от нас ничего не могло просочиться, это - от вас. Но мы-то знаем, что не от нас. Но и ГБ - всемогуще! Долгая тревога на сердце. (Много позже, уже на Западе, выяснилось: Карлайлы прямо назвали "Архипелаг" в издательстве и, может быть, похвастали каким-то друзьям, среди них узнала Патриция Блейк, и она-то и написала в "Тайме", чтобы блеснуть своею журналистской осведомлённостью. А был момент - и сами Карлайлы порывались публично объявить, чтобы пресечь воображаемых ими соперников!) А между тем шли месяц за месяцем и, по сведениям Евы, перевод "Архипелага" всё не начинался. Да как же можно?! - книгу о страданиях наших миллионов, книгу, которую мы дорабатывали, почти не имея времени на дыхание, на еду, не оглядываясь на лес берёзовый подле нас, - и эту книгу не начинать переводить, не торопиться? Ева фыркала смежно мне в ответ: "Ну, дайте же людям полежать на флоридском пляже!" О, если б только на пляже! о, если б только этот год один! Карлайлы отдали Уитни первый том, затем второй. По своему сочувствию к делу и трудолюбию он опять бесплатно взялся, сделал начерно оба тома к июню 1970, принялся и за третий. Карлайлы (по его теперь словам) какое-то время поработали на "шлифовке" первого тома, потом покинули эту работу

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru (да и к лучшему, чем наводить их "глянец"). Как и раньше с "Кругом", их и с "Архипелагом", приходится думать, интересовала не многотрудная работа над текстом и не будущий ход книги сквозь западные умы – а взлётный предстоящий момент продажи "Харперу" мировых прав на "Архипелаг". Но от меня не поступало разрешения на продажу таких прав. Как-то приезжал в Москву брат Ольги Саша Андреев, сам и отправлявший плёнку "Архипелага" в 1968 через границу. Мы встретились с ним на кухне Надежды Яковлевны Мандельштам, которую ему естественно было посетить (так и Н. Я. включается в наши "невидимки"). И он передал настойчивую просьбу сестры написать ей письменное разрешение на копирайт (и притом мировой) "Архипелага"! Опять то же самое: чтоб через границу повезли такую бумажку: я сам отдаю "Архипелаг" для западного печатания! Нет, двум таким мирам нельзя было друг друга понять! Я отказал, конечно. А Карлайлы – теряли интерес к продвижению "Архипелага", раз нет письменной гарантии, из чего им хлопотать? Между тем все эти годы, после 1968, половина моей твёрдости была – что "Архипелаг" отправлен, что он в надёжных руках друзей, ну и, конечно же, переводится (и, по простору времени, наверно отлично). И – грянет!! и ударит по нашим злодеям, как только я скоманую! Иногда приезжали старики Андреевы (в свой отпуск – в СССР как советские граждане), и с ними тайно встречались то я, то Аля, дважды, помню, опять на квартире Н. Я. Мандельштам, где "потолки" опасные, – и мы не говорили, а писали многими полчасаами, мало продвигаясь в обмене сообщениями. И я долго не вник, не способен был понять, что же именно происходит с моими книгами. Добрые старики и сами точно не знали: "переводится", "будет несколько позже" (мой загаданный срок был – Рождество, январь 1971 года). Набирались ещё вопросы-ответы: то – в какие сроки какие вещи пускать в ход из первоначальной плёнки, увезённой Андреевыми; то – как поступать, если меня прикончат? то – не надо ли пока благотворительности какой устроить на Западе, всякие тамошние детские сады? (я сказал – нет: если что от всех оплат и трат останется – всё оберну на нужды русские). Но из деликатности не дошло до лобового вопроса: а как же? как же они справляются с переводом? Сказал я старикам, смягчая, что перевод "Круга" далеко не удовлетворяет меня, – тут Ева на меня зацыкала, что я судить не смею, и старики уверяли, что "по-английски звучит безупречно". Однако отзыв мой они передали дочери, и Карлайлы оскорбились смертельно. Если до того они и собирались "поработать" над "Архипелагом" – то уж впредь охота отпала (оно и к лучшему; мы никогда ни строчки их труда по "Архипелагу" не видели, хотя О. Карлайл ещё много лет уверяла, что "была сделана огромная работа"). Тем временем подходила пора начинать и другие переводы "Архипелага" на иностранные языки, не только же на английский. Однако единственный текст за рубежом был в руках Карлайлов. Надо было получить от них копию. Летом 1970 Бетта ездила в Женеву к В. Л. Андрееву и самым мягким образом выразила просьбу получить текст для немецкого перевода. В. Л. принял чрезвычайно болезненно, что это поведёт к разгласке, растеканию, – он ведь оставался советским гражданином, тем более всего опасался. Только и дал Бетте почитать фотоотпечатки без выноса. И Бетта отступила, не настаивая больше. Просить же у Ольги она не бралась, уже тогда находя её невыносимой. Дала знать нам, что – отказ. У нас в Москве создалось впечатление, что это был твёрдый отказ самой Ольги. Мы с Алей приняли такой отказ как чудовищный. Мне, автору, они отказывают в моём тексте? значит, они уже числят за собой те мировые права на "Архипелаг", которые я им не передавал? Так что ж, нет выхода, неизбежно нам вторично предпринять ту же страшную эпопею: заново переснимать "Архипелаг" и заново искать путей отправить на Запад? Топор над теми, кто назван в тексте, – и топор над теми, кто будет готовить и отправлять плёнку? (За три года, что прошли от первой отправки, обстановка вокруг меня резко обострилась, слежка за квартирой была круглосуточная, и за каждым шагом моим, семьи и друзей.) Несколько человек рисковали свободой и жизнью: надо было снова доставать три тома из дальнего хранения (А. А. Угримов) фотографировать (Валерий Курдюмов) – где-то близко хранить скрутки плёнок затем передавать их цепочкой до французского посольства, когда Анастасия Дурова найдёт путь отправить их в Париж, а там ещё чтобы курьеры не проминули Никиту Струве. Так свелась ни к чему вся наша Троицына отправка, вокруг которой столько было тревог, смятения и надежд. Все прежние риски ушли в тупик и в ничто. Не с теми людьми связались. Надо – безошибочно выбирать, кому доверяешь. А это – труднее всего. Второй пересыл "Архипелага" оказался куда мучительнее первого: подтверждения о благополучном исходе мы в неизвестности и напряжении ждали – 3 месяца! до мая 1971. Но теперь уже и мы, соответственно, не сообщали о нём Андреевым-Карлайлам, а начали сосредоточенно, молча переводить на немецкий, затем французский и шведский. Мы хоть получили свободу выбирать переводчиков и вести работы. А ещё в конце 1969 у меня завёлся на Западе адвокат, доктор Хееб. Узнав о том, Карлайлы встревожились ужаленно: ещё какой-то новый доверенный? с кем-то делить права? Тут ещё и Бетта, чья прямота и чёткость

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru пришлось Ольге как ножом. (Пишет теперь в книге: "Солженицын энергично устанавливал на Западе свою личную бюрократию роскошным византийским образом".) Через Еву раздалось к нам от Ольги острое раздражение и увещание, что они считают мой шаг рискованным, новому адвокату не доверяют и во всяком случае сотрудничать с ним не хотят. И ещё, и ещё раз передавали, что не хотят ни с кем "делить ответственность". И старики Андреевы в очередной приезд резче обычного выразили неодобрение и недоверие Хеебу, и даже передали нам такой слух, что Хееб: коммунист? (Ну, быть не может! ну вот бы влипли!) Так между двумя нашими действующими на Западе силами в 1970-71 создались натянутые отношения. Искры и треск разрядов доносились к нам с обеих сторон. И - вдруг? - в начале 1972 Карлайлы неожиданно признали: да, конечно, мы понимаем, адвокат необходим, защищать всю широту интересов. И даже - ласково о Хеебе (только к Бетте не смягчились). Мы и порадовались, ничего не поняв. Вот, меж добрых людей всё решено отлично. Адвокат на Западе! Как это ново придумано! Как это дерзко звучит против советских властей! Мы долго радовались и гордились таким приобретением. Столкновение Востока и Запада, двух разных типов жизни, отлично проглядывает в сцене: как мы этого адвоката брали. (Почему - адвоката, а не литературного агента? - а мы просто не знали о такой ещё специальности.) На квартиру Али на Васильевской улице Бетта привезла стандартный швейцарский типографский бланк на немецком языке с перечнем всех разнообразных доверяемых видов деятельности, их была там юридическая полусотня, трудно представить, какой бы вид не охватывался. Оставалось проставить фамилию адвоката, мою подпись и дату. Только стали мы с Беттой вчитываться в этот густой перечень (всё же мужицкая оглядка тревожно предупреждала меня, что нельзя уж так безмерно всё доверять, слишком много написано, - но и новый же не составишь, а какие случаи действительно понадобятся моему будущему защитнику, как предугадать?) - вдруг стук в наружную дверь. Аля пошла открыть - водопроводчик, но не обычный жэковский, хорошо известный, а какой-то совсем новый. Говорит: ему надо в ванной краны проверить. Что? почему? не жаловались, не вызывали. А уже дверь входная открыта, как-то и не запретишь. Аля пустила его (а дверь нашей комнаты плотно притворена, и мы затаились) - он прошёл в ванную, покрутил какую-то безделицу, ничего не сделал и ушёл. Очень подозрительно. Так и поняли, что это - ГБ, хотели засечь иностранку в нашей квартире. Мы-то затаились, а пальто гости на вешалке в прихожей висит: Под этим ощущением осады и опасности для Бетты выходить - и текла дальше наша встреча. И уже не вчитывались мы так подробно в список, и ясно было, что не откладывать же до другого приезда Бетты через полгода или год, и ничего уже тут нельзя исправить, а надо подписать. Мы о водопроводчике думали, а не - какие последствия могут быть от этой генеральной доверенности. И большая забота: ведь эту бумагу Бетте сегодня, пожалуй, нельзя выносить с собой. Значит, надо её оставить в нашей квартире, затем вделать во что-то, в конфетную коробку, в таком виде Бетта повезёт через границу. Да, так всё же: кто этот адвокат? Швейцарец, доктор Хееб, Бетта лично знает его, очень честный, порядочный человек. Ну, чего ж нам ещё? Честный, порядочный - это самое главное, и нейтральный швейцарец - это тоже неплохо. Расспрашивать некогда, думать некогда, ладно, скорей! Я подписал. Свершилось! - у меня на Западе полномостный доверенный всех моих дел. Какая находка! Какая опора теперь у меня! Ну, поиграйте со мной, попробуйте! Уговорились так: вся важная связь по-прежнему идёт через Бетту по левой, а уж она из Австрии по телефону или прямыми поездками согласовывает с доктором Хеебом. Да скоро явись и случай спасительной защиты. В декабре 1969 начала "Ди Цайт" печатать "Прусские ночи", подкинутые ей всё тем же неутомимым "Штерном" с просьбой от моего имени: как можно скорее печатать!! У самой "Цайт" не хватило соображения, что такую вещь печатать нельзя, сильно преждевременно, губительно для меня ещё и с новой стороны, - да поверили "Штерну". Но вот доктор Хееб только подал голос - и печатанье остановили! В СССР, в большой моей Драке и вдаль от западных юридических петель, я многим противникам наносил удары, не считаясь с их звучностью. А на Западе эти махи сразу подпадали под юридическую опасность. Когда в 1972 "Цайт" же процитировала моё острое заявление о "Штерне" - не в силах судиться со мною в СССР, скандальный "Штерн" послал в "Цайт" резкий протест с угрозами - не прямо суда, пока несколько неопределёнными. (Общая их неуверенность - что могу выкинуть я.) В германском суде такое дело было бы для "Штерна" выигрышно: я уверен был и утверждал, что лгут, не было их корреспондента у моей тётки в Георгиевске за сведениями обо мне (а как раз и был, оказывается, в компании с Луи), и что с Госбезопасностью "Штерн" связан в Москве (резко опасное утверждение! пойдй докажи! суд - и прямой проигрыш). В "Цайт" пережили, очевидно, тяжёлые минуты: моя резкость легла теперь на них ответственностью. Но главный редактор "Цайт" графиня Марион Дёнхоф не растерялась, ответила с большим достоинством и горячностью, давая на открытую подлость и провокаторство "Штерна" относительно меня: доносительский подстрел из

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru засады, против чего я не могу обороняться. И напоминала, что "Прусские ночи" провокационно толкал к печати всё тот же "Штерн". Заряд подействовал. Хотя "Штерн" имел славу удачливого судебного сутяги – в этот раз он всего лишь оправдался в "Цайт" слабой статьёй своего корреспондента Штайнера, где тот настаивал, что ездил-таки к моей тётке, и довольно ловко плёл для западного читателя, что препятствий иностранцу в Георгиевск нет, потому что, как всем известно, "эта область", Кисловодска-Пятигорска, открыта всем туристам. (Та область – да не та: Курортные города, разумеется, открыты. Но не Георгиевск, а с Запада не разобрать.) Что ни шаг на Западе, самый простой шаг, вызывает суд – была для меня полная неожиданность, и резко-неприятная: этой атмосферы напряжённых гражданских исков в Союзе не было совсем. Вот, имея адвоката, значит надёжно оградив свои права на Западе, я в 1971 впервые спокойно печатал в Париже "Август": русское издание у "Имки", а дальнейшие переводы устроит доктор Хееб. (Но я упустил предупредить его о русском "Августе" заблаговременно, ему тяжело пришёл внезапный мировой штурм издательства: срочно требуют правба на издание, конечно с бешено-поспешными переводами.) Кажется – при адвокате ничего не должно случиться худого? Но сразу совершаются три пиратских издания – и на русском! и на немецком! и на английском! и по всем трём возникают суды. Наше русское издание вышло в июне 1971 (от самиздата мы "Август" до тех пор удержали), иностранные не могли перевестись и появиться раньше 1972. И вдруг осенью 1971 в Германии в издательстве "Ланген-Мюллер" взорвался готовый немецкий перевод! Вот тебе нба! Да как же они могли успеть? невозможно за 3 месяца качественно перевести и издать книгу в 500 страниц! Как по-старому не было у меня адвоката – мог бы я только протестовать газетно. Но наличие адвоката, напротив, обязывало начинать процесс: если не протестую – так это я сам и напечатал! Теперь, через несколько лет, когда представлены все объяснения, история публикации "Августа" по-немецки вырисовывается так: ГБ скопировало мой текст тотчас, как я кончил книгу – в октябре 1970, очевидно у кого-то из "первочитателей" – надеюсь, без ведома его. После того как выяснилось (начало декабря), что я не поеду за Нобелевской премией в Стокгольм, решено было соорудить такую провокацию: организовать печатание книги на Западе, а затем обвинить меня в самовольной публикации "антипатриотического" романа. Публикация "Августа 1914" не принесёт никакого вреда Советскому Союзу зато, думалось, даст хороший повод пугать меня, травить, вынуждать к отречению, а то и судить. ГБ, видимо, планировало так. Именно то, что "Август", в отличие от "Круга" и "Корпуса", не ходит в самиздате – как раз и облегчает обвинить меня в передаче на Запад, если книга появится там. Но издательство должно быть солидное, и, значит, надо ему чисто передать рукопись: издатель должен верить, что это – по воле автора, однако ни сам автор, ни адвокат не должны о том узнать. Что совершенно не приходило в голову КГБ – что я действительно напечатаю книгу сам, открыто, от собственного имени. Торопились они, торопился и я, два минных подкопа шли скрытно друг другу навстречу. К Новому (1971) году в Москву приехала из Германии мадам Кальман, вдова композитора. Она встречалась с Ростроповичем и спрашивала его обо мне, даже просила походатайствовать, чтобы следующую книгу передали через неё. Ростропович обычно всем отвечал с высшей любезностью, может какая и проскользнула у него неопределённая фраза полуобещания, но в Жуковку на свидание со мной он её, конечно, не повёз, как и не возил ни одного иностранца за все мои годы там, да и мне ничего не передал об этом случае. Тем не менее, воротясь в Германию, мадам Кальман издателю "Ланген-Мюллера" фляйснеру рассказала о встрече со мной в Жуковке: живёт в ужасных условиях, питается картофелем и молоком (по-советски – так ещё не плохо!), смертельно болен, выглядит столетним, ежедневно ждёт ареста и ссылки в Сибирь, совершенно запуган. Очень хочет срочно напечатать "Август", совсем не интересуясь гонораром, но боится передать рукопись сам, её надо получить у адвоката Хееба, и сделать это издательство может только через мадам Кальман, никому другому Хееб не отдаст. (Именно этот фантастический рассказ и позволяет думать, что мадам Кальман сама – не жертва интриги.) И что же почтенное издательство (почтенное, но прежде, под его крылом, маленький "Иван Денисович" был разорван четырьмя переводчиками для скороспешного перевода)? – уже которое в этом ряду? – вот эта однообразная прагматичность их действий безо всякого нравственного контроля более всего и поражает меня в истории печатания моих книг на Западе. Хееб – в Цюрихе, рядом, издательство может легко и просто снестись с ним напрямую, но напущенная мадам Кальман таинственность заставляет его ("а иначе мы не получим рукопись"?) отдалиться подозрительным услугам на её условиях. Самозванная посредница с ещё одной мадам якобы отправились 18 января в Цюрих, там якобы предъявили Хеебу косо оторванную часть билета с московского концерта Ростроповича, билет совпал, – и тем якобы получили рукопись "Августа"! – только с условием: глубокой тайны! (Ничего подобного, разумеется, не было, к Хеебу они не являлись.) Издатель фляйснер

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru радостно и доверчиво взял рукопись. (Он искренно верил, что – от меня? Допускаю. Да хоть не требовал письменной доверенности от меня. Но письма мне, оказывается, писал, – да как же, после всех тайн, открыто по советской почте? – в Рождество, Наро-фоминский район, – это уже странно. Позже ссылался, что "не получил от меня возражений" против печатанья! И – зачем-то "сообщил Международной книге" советской, – крайняя наивность?) Так КГБ прекрасно обыграло существование хееба: не было бы моего адвоката КГБ искать бы, искать, состраивать правдоподобную передачу в издательство "от меня". Теперь понятно, что когда в начале апреля 1971 (уже два месяца как роман переводился у "Ланген-Мюллера") стали советские журналы получать мои предложения напечатать у них "Август" и запрашивали, ясно, КГБ – там только смеялись. Конечно, командовали журналам не отвечать мне, чтобы бумажкой не подтвердить моего алиби – что я хотел печатать роман в СССР. А я, не получая их ответов, тоже смеялся: не отвечаете? вот и ладно, не придётся тормозить парижское издание. Внезапная публикация "Августа" в "Имке" была для расчётов ГБ опрокидывающей неожиданностью (да почему ж агентура такая слабая? ведь типография Лифаря была неохраямая, открытая): сам посмел, да ещё свой копирайт объявил! По сути вся их воровская махинация на том и лопнула, и надо было бы им отступить, да уже машина разогнана, не отступится затаенный в дело "Ланген-Мюллер". А Хееб отдал немецкие права издательству "Люхтерханд" (по совету Бетты, она знакома была с ними). И начался между двумя издательствами суд – да какой долгий! до 1977 года, 6 лет до окончательного решения. Из Москвы суд не казался мне неправильным, а – верно, отстаивайте! Но попав в Европу, я склонялся к примирению: оказался их перевод получше нашего, люхтерхандского. И что же останавливать хорошее издание, уничтожать тираж! Однако вся наша сторона настаивала, что надо досудиться и победить (и тем пустить мои книги под нож!..). Я ещё тогда в судную проблему не вошёл. Ещё о судах вокруг "Августа". Москвы достигали книги лишь случайно, и вот с какого-то года стало попадаться лондонское издательство "Флегон-пресс" (потом оказалось: Флегон это фамилия издатчика). Ничегошеньки я о нём тогда не знал, но вижу: издал мою "Свечу на ветру" с утерей одной машинописной страницы, и даже не оговорился, а слепил как попало, без смысла. Издал "В круге первом" под диким названием "В первом кругу" – и дикое количество опечаток, редко по 10 на страницу, а то по 20-25! И целые куски текста опять потерял (главу "Рождение науки"), и перевраны имена действующих лиц. Этот Флегон издавал меня так небрежно-наплевательски, как будто хотел нанести мне как можно больше вреда, как будто умышленно изгаживая мою книгу. (Оказывается, я никогда и не видел, он издавал и "Ивана Денисовича", "Матрёну" и "Олень и шалашовку", всё хватал.) Но при "Августе" этот пузыр из лужи попёр и вовсе неожиданно: перефотографировал уже изданную "Имкой" книжку, несмотря на ясный копирайт, натолкал туда не относящихся к роману фотографий – и всё это нагло издал от себя. "Имка", по западному обычаю, подала на него в суд. И опять потянулось на несколько лет – но не наказали Флегона: он объявил себя банкротом, и наша же сторона платила все судебные издержки. А оборотчивый Флегон – первоклассный мастер судиться, вся душа его в сутяжничестве, тем временем он не дремал: стал судорожно переводить "Август" на английский, и уже предлагал продавать "Обзёрверу" по кускам, и "Пингвину" для мягкого издания. И так возник третий суд по "Августу": на Флегона подало издательство "Бодли Хэд", остановить эти эксперименты. Флегон оправдывал свои действия ложью, что будто бы "Август" уже ходит в самиздате, а потому не принадлежит "никому". (Выглядит как явное постоянное намерение: сорвать копирайты моих книг.) Но как ни юлил, не мог назвать никого, кто б читал "Август" в самиздате, – да он и не ходил там, пока не вышел в "Имке". И ещё настаивал Флегон: что, по советским законам, я не имел права давать доверенность Хеебу, и потому полномочие недействительно. (Всегда бы Флегона поддержал Луи, с ним знакомый и связанный в операциях, но сам был фигурой одиозной, по распространённому мнению кагебист, и они свою связь скрывали. Впрочем, замечено было, что Луи в 1967 "продал" мемуары Аллилуевой именно Флегону. А в 1968 Флегон готовил и опередительное издание "Ракового корпуса" по-русски, очевидно с луёвского экземпляра, – о чём и предупреждали меня тогда "Грани" телеграммой, – да замялся Флегон, узнав, что Мондадори в Италии ещё раньше выполнил эту задачу.) Английский судья Брайтман запретил Флегону английское издание "Августа" (тогда Флегон стал продавать его за пределами Великобритании), но при этом вынес и расширительное важное решение: что хождение в самиздате не может рассматриваться как первое издание книги и, значит, копирайт не принадлежит Советскому Союзу. Это создавало британский прецедент и на будущее защищало право самиздатских авторов быть владельцами своих книг. (Впрочем, английский суд не довёл дело до конца: непобедимый в судах Флегон если и проигрывает, то ничего не платит, объявляя себя банкротом, а через несколько лет это даёт ему право утверждать, что раз суд не назначил ему платить штраф и судебные расходы значит, он и виноват не был.) И так с доктором Хеебом,

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru от первых недель после моей доверенности, я дерзко затеял переписку открытую, через советскую почту, – пустопорожную, но респектабельную, пусть цензура читает. (Мои русские письма он пересылал потом Бетте, она переводила ему по телефону, а его ответные ко мне немецкие я легко читал.) Иногда и так я использовал эту переписку: предупреждал (гебистов:), в чём твёрдо не уступлю ни за что, или какие козни тут против меня готовятся. И ГБ – из расчёта? из собственного интереса? – этой переписке почти не мешало. Попросил я Хееба прислать его фотокарточку – прислал. Ох, какой солидный, пожилой, сколько основательности в его широкой крупной голове на широких плечах. И – с трубкой в поднесённой ко рту руке, задумчиво, – по-ложительный тип! Однажды поехал к нему в Швейцарию с плёнками Стиг Фредриксон – очень хвалил, понравился тот ему: внушительный, серьёзный. А однажды, вместо письма, приходит (на московский наш адрес, на Тверской) извещение на моё имя о ценной посылке от Хееба. А я-то – в Жуковке, у Ростроповича; пыталась Аля как-нибудь получить без меня – нет, только лично сам, и с паспортом. А мне выезжать в Москву по заказу – зарез: каждый раз что-нибудь секретное на руках, а дом остаётся пустой, надо основательно прятать. По сплошной моей работе выезжаю в Москву не часто, и всегда тамошний день плотно нагружен. Но и откладывать же нельзя: наверняка что-нибудь очень важное. А пояснительного письма о посылке нет. Наконец поехал, добрался до Центрального телеграфа, получил какую-то крупную, но лёгкую коробку. Принёс домой, Аля распечатала: некий шарабан на деревянных колёсах, игрушка для детей – подарок от фрау Хееб. Милое добродушие: Нет, двум мирам друг друга не понять. Пишу Хеебу, "по левой", летом 1971: "Эти полтора года, как Вы вошли в свои права, я испытываю большое моральное облегчение, даже покой: знаю, что Вы твёрдо защищаете и оберегаете меня от неприятных случайностей. Благодарю Вас за неоценимую поддержку. Считаю Вашу деятельность безупречной и достойной восхищения". Настойчиво прошу не ограничивать себя в оплате своего труда, "иначе Вы причините мне боль". И беспокоюсь: "чтобы Вы не слишком измучились из-за огромности моих задач". А тут начали в Европе ворчать, подозревать: что за странная личность этот Хееб, у него какие-то коммунистические связи, не обманывает ли он Солженицына, не от КГБ ли Хееб к нему приставлен? (что это? и старики Андреевы говорили:). Я в сентябре 1971 пишу ему и в легальном письме: "Готов публично в самых сильных выражениях заявить, что высочайше ставлю Вашу честность и Ваши отличные деловые качества и не мог бы желать себе адвоката лучше Вас". В одном только не доверяю ему и настойчиво спрашиваю Бетту: хорошо ли он контору свою запирает? Да пусть моих главных рукописей не держит ни в конторе, ни дома, а только в банковских подвалах. То в одном, то в другом адвокат помогает незаметно – по вопросам, которые тогда казались жгучими. Припёрло ли меня публично оправдаться (против советской власти), что я западных гонимых не беру, они предназначаются для общественного использования на родине, а трачу только средства из Нобелевской премии, – Хееб заявляет. Защита. Нужно ли осудить возможные на Западе безответственные биографии мои (Файфер) или возможную публикацию моих частных писем (Решетовская), – Хееб делает это, и ведущие мировые газеты охотно предоставляют ему место. Или врут в газетах обо мне Советы, что у меня якобы три автомобиля, два дома, – Хееб солидно опровергает эту чушь. А иногда само существование адвоката начинает удерживать ЦК-ГБ от некоторых шагов: так, Жорес Медведев основательно предполагает, что в 1970 году провокационный их замысел опубликовать "Пир победителей" на Западе остановила боязнь контрдействий адвоката: стало бы во всяком случае ясно, что не я опубликовал пьесу. Ну что ж, мои поощрения открывали доктору Хеебу все возможности действий. Он – и действовал. А важно ведя открытую переписку – никогда ничего не добавлял по левой через Бетту, то есть о его реальной деятельности; ни разу не сообщил, не спросил, не посоветовался ни о чём существенном, – так, наверно, или дел таких нет, или и так всё ясно? Его сдержанность как раз и производила самое внушающее, солидное впечатление: значит, уверенно, профессионально ведёт, всё знает. Правда, Хееб не раз порывался приехать ко мне в Москву! – уж как я его отговаривал, то-то был бы ляп, игра для КГБ, под какими потолками мы бы с ним беседовали? ничего б мы тут не прояснили. (Позже я понял, что влекла его больше – слабость к путешествиям и к представительности.) Что ж до слухов, что Хееб коммунист, то постепенно узналось: да, до 1956 был коммунист, но после венгерского подавления в виде протеста перешёл в социалисты. Вот те нба! Знал бы я это раньше – сильно бы задумался. А всё объяснялось просто: Бетта была человек скорее даже советского опыта, чем западного, потому нам с нею и было так понятно и легко. А ведя в Австрии жизнь университетского преподавателя, сама с адвокатским кругом почти не сталкивалась. А знакомые Бетты были – скорее и больше по коммунистической линии, по её происхождению, оттуда и рекомендация. Но мелочь такую о Хеебе она нам не сказала или важной не сочла. Выбор её оказался не весьма совершенным, да. Однако

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru совсем не потому, что Хееб был бывший коммунист, его коммунизм во всей дальнейшей истории никакой вредной роли не сыграл. Да мы даже утешали себя, что прозревший коммунист – это уже человек с хорошим опытом, на советской мякине не попадётся! Так как же достался "Август" "Бодли Хэду"? Уместно объяснить тут, хотя узнал я, дознался об этом только осенью 1974, больше полугода проживя в Цюрихе. Оказалось: весной 1970 Хееб предложил "Бодли Хэду" переговоры об их незаконной публикации "Ракового корпуса". И, не состязаясь в достоинстве, сам же и поехал в Лондон. А издательство "Бодли Хэд" загородилось лордом Беттелом, что "все права" на "Раковый корпус" и на "Олея" – у него. И Хееб повёл переговоры с Беттелом: как раз к этому времени подоспело к Хеебу моё письмо из Советского Союза, что Личко никаких полномочий не имел, это мошенничество. И была же раньше моя газетная публикация, что ни за кем не признаю прав на "корпус". Хееб попал в большое затруднение. Формально он имел права объявить издание "Бодли Хэда" пиратским – но оно не только уже осуществилось, но и главный тираж схлынул, прочли, и перевод неплохой. А мне – уже два года прошло – никаких кар за "корпус" не последовало. Да и по мирности характера никак не хотел Хееб затевать скандала. Но сверх того заверил захватчиков, что действия их были вполне честными и он как адвокат готов это юридически подтвердить. Переговоры ещё продлились до осени, а тут мне дали Нобелевскую премию, и вот-вот я должен был сам приехать на Запад (и разобратся?). Но, проявляя завидную авторитетность, Хееб за месяц до ожидаемого моего приезда подписал дополнение к их прежнему договору, где его признавали безусловным моим представителем, а он признавал действия Беттела и "Бодли Хэда" абсолютно законными (даже ещё благодарил их устно от моего имени) и утверждал за ними вечные права на два моих произведения – уже начиная запутывать и мои будущие издательские дела. При таких дружеских отношениях передал он "Бодли Хэду" и "Август". (По понятиям западных издательств появление у "Бодли Хэда" теперь ещё и "Августа" – косвенно подтверждало, что и отдача им "Ракового корпуса" была авторизована:) Тем временем Хееб, уже с мировой знаменитостью, о нём писали в больших газетах, фотографировали, сменил свою скромную конторку на попышней – и в январе 1972 к нему туда нагрянула изыскливая Ольга Карлайл и пробивной адвокат Курто, они уже издали разгадали нашего Хееба. Они приехали признать его, и даже тоже готовы переводить ему гонорары автора, если он предварительно утвердит их смету расходов и заработков (почти половину авторских гонораров, и это при бесплатном переводе Уитни) и оставит у них ещё финансовый резерв – на случай разных неустоек, чтобы расплачивался автор. Если же Хееб сметы не подпишет, то они его не признают, и не переведут ему ни доллара. Представленная смета была дутой, смехотворной. При любви семьи Карлайлов к русской литературе – литературный зять Генри Карлайл объявлял себя "агентом", с 15% комиссионных, – за передачу плёнки романа в издательство? Затем Ольга брала за "участие в переводе "Круга"", за "сопереvod и редактирование "Архипелага"", за "редакторское наблюдение". Затем – поездки, даже в Нью-Йорк со своей коннектикутской дачи, какие-то стенографистки, телефон, телеграф, почта, такси, полёты в Европу, отели, ресторанные обеды. Перед таким напором и такой убедительной документальностью мой Хееб нашёл предлагаемую сделку ободрительной – и всё подписал. Не знаю, хоть прочёл он при этом их колониальный к автору договор с "Харпером" или даже не читал. Карлайл и Курто уехали в ликовании, и с этого-то момента Карлайлы так ласково переменялись к Хеебу, признавая, что адвокат у нас, конечно, должен быть. Так же задним числом утвердил он договор "Харпера", которым тот продал мировые права на экранизацию "Круга". Тот поспешный поверхностный фильм оказался крайне неудачным, а на долгие годы вперёд заклинил достойную экранизацию. Одни сплошные кругом наживы, расчёты, – и вообразить нельзя, что всё это копошеньё – вокруг огненной там, в СССР, мятели. Пока мы там бьёмся – а нам отсюда грызут спину. А Хееб попал как кур в ошип. Он был и оставался маленьким локальным адвокатом, занятым до сих пор одними бытовыми делами, – и вдруг мировые литературные? Не попытался он, бедняга, властно исправить многолетний дурной ход с моими изданиями, но прежде искал, чтоб издатели хоть бы признали его (тем самым потекут и первые средства, на что ему оборачиваться). А при таком направлении лучший путь для него оказался, по сути, путь капитуляций: признавать законными совершённые до него беззакония. (А если не признавать то опять же судиться?.. И на какие средства? Чтбо тут выдумашь?) И – ни об одном таком шаге он не спросил меня и не посоветовался. Осенью 1972 Ольга Карлайл заверяет Бетту (у них была прямая встреча, неприязненная), что английский перевод "Архипелага" (за 4 года!) "вчерне готов". (На самом деле Уитни был уже два года как остановлен, а Карлайлы так и не домучили "обработки" 1-го тома.) Бетта встречно сообщает ей, что от меня есть распоряжение начать переводы на другие языки (но при этом не просит у неё русского текста). А за Карлайлами остаётся, как и было, лишь американское издание "Архипелага", однако договор с "Харпером" от моего имени будет заключать

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru Хееб. Карлайл сразу и с негодованием отказалась от такого распределения ролей: тогда они перестанут сотрудничать с нами! Как? мировой контроль упущен? "Архипелаг" не будет принадлежать им всецело, как раньше "Круг"?! И какую дальше славу или выгоду сулит издание уитневского перевода у "Харпера", под чужим контролем? Добыча была в руках и уплыла. А тут же и какой удар самолюбию! Выясняется постепенно нам, что Ольга уже нахвастала "Харперу", что передаст им мировые права на "Архипелаг", - и вот?.. В ту осень опять приезжали в Москву старики Андреевы, передавали резкое недовольство дочери, - да ещё ж от нас стояла угроза проверки качества английского перевода "Архипелага" (ожегшись на "Круге"), - а "Харпер", напротив, налакомясь на "Круге", требовал себе и по "Архипелагу" льготных, если не подавляющих, финансовых условий. (И всё ж это пишется на бумажках, "под потолками", потом бумажки сжигать, а в окно выглядывать, нет ли топтунов, всегда такая сдавленность, и в ней надо принимать решения.) Для сохранения добрых отношений я и тут уступил Карлайлам все англоязычные страны, старики увезли такую уступку, - нет!!! Карлайлы были возмущены каким бы то ни было ограничением их мировых прав. А если так - зачем им дальше вся эта история, не лучше ли действительно разорвать? (После того, как Хееб утвердил им предыдущие "расходы", у них и за прошлое руки свободны.) Нигде, как здесь, наглядно обнажается полная холодность О. Карлайл к русской литературной традиции, к которой она будто бы принадлежит и по рождению и по духу, о чём не раз декларировала. В апреле 1973, сидя под чёрными тучами, я по левой, с двухмесячным опозданием, получил поразившее меня февральское письмо О. Карлайл, бравирующее дерзостью. Она сообщает как о "необратимо решённом", что они не могут выполнять роль "партнёров": "при разделении ответственности" они "теряют возможность достичь качества мировой публикации, какое было получено в случае "Круга"" (когда бросили роман на разрыв и глумление над текстом). И ещё, оказывается, "риск оглашения нашей прошлой и настоящей деятельности становится неприемлемо высоким", - для них? нет, собою они жертвуют, но "по отношению к вам и к другим замешанным в это дело друзьям". Да почему же в качестве участников отдельного скрытого перевода, во всех внешних сношениях заслонённые моим адвокатом, они будут обнаружены и разглашены, - а сами бы, ведя мировую операцию и все отношения, не будут? Так и не смогли упрятать, что рвут они лишь оттого, что не получили мирового копирайта "Архипелага". И так, "с чувством грусти, но и гордости, что они содействовали мировому успеху моего творчества" (вывели меня в люди), они совершают "полный уход" от этого высокоценного ими "Архипелага", они более не могут участвовать в переводе (не осталось вещественных доказательств, чтоб они в нём и участвовали за 5 лет), сам же перевод "в форме первого наброска" и все на него права - за Томасом Уитни, к которому и следует обращаться. "Первый набросок" перевода - через 5 лет: Эта тяжкая наша весна 1973. И ГБ послало предупреждение (через Синявскую-Розанову, она с ними интенсивно общалась, обговаривая скорый отъезд своей семьи во Францию), что если я добровольно не уеду из Союза меня посадят и отправят умирать на Колыму. Нераздираемые нарастающие наши бремена, ощущение надвигаемых ударов ГБ. И - такое письмо! Как оскорбительно, стыдно читать его в нашем подпольи. Значит, вся пятилетняя надежда, что "Архипелаг" спасён, переводится и грянет, - рухнула. Чтбо за доводы на хилых ножках, мелочная обида, - и ещё привязывают нас юридическими петлями к переводу, не сдвинутому за 5 лет! Если б мы знали, какой верный добрый Уитни и его истинное соотношение с Карлайлами в работе, - так мы б не так горевали, баба с возу - кобыле легче. Но вот нас юридически связывают с неоконченным переводом, ни страницы переведенного не дав, ни даже русского текста, - и ничего уже не обещая. То есть даже запрещают начать английский перевод заново. Я ответил горячо. Не могу предположить, что, имея 5 лет дело с "Архипелагом", они остались равнодушны к духу его. Он - не литературный товар, а звено русской истории. Однако ваше письмо пренебрегает именно этим духом. Издательства получают от книги небольшой доход, таковы будут мои условия, книги не должны продаваться по безумным западным ценам. И - снова я просил их передумать и остаться на переводе. (Да может старики пристыдят её.) А если нет, я вижу один путь (никто не возьмётся исправлять чужой сырой материал; не вижу, как спасти работу в хаотическом состоянии): оплатить весь перевод, сделанный по сей день, - и предать огню в присутствии доктора Хееба. Перевод по-английски мы начнём заново (все права на перевод - у Томаса Уитни:). И уже не требовал от них русского текста, того моленного, первого, - а его тоже сжечь! Горечь в горле стояла ужасная. Ощущение провала в излелеянном деле. Это моё "левое" письмо долетело до Карлайл быстро - и тотчас же слала она мне гневный ответ: они действовали только из любви к России и при таком бескорыстии заподозрены в коммерческих интересах! да будь это прежние времена, она прибегла бы к защите её отца, чтоб он вызвал меня на дуэль за оскорбление чести дочери. ("Дуэль" - когда я из-под обстрела не вылезая.) А между тем - она меня "сделала известным на

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru Западе и помогла получить Нобелевскую премию", вот как!.. Теперь она указывала и ещё одну причину разрыва: что я недоволен их переводом "Круга". Но об этом она знала от родителей уже три года назад, а ссылалась, будто впервые узнаёт через Бетту (и опять – чтобы скрыть злую причину: утерю надежды на мировой копирайт). Весьма дурным русским словом хотелось её назвать. Успел я предупредить Хееба: ни в коем случае не ехать, как он собирался, за океан к Карлайлам, не надо кланяться. Он получил моё письмо вовремя и всё равно упрямо поехал в июне в Нью-Йорк, с женой (страсть путешествовать). Уронил мою позицию – и решительно ничего не продвинул. Нежно и пусто провёл время в гостях у Карлайлов. (Она теперь пишет в книге: он и не спрашивал у неё английского перевода "Архипелага", – тогда и вовсе зачем ездил? А Хееб говорит: они отказались дать, перевод не готов. Так оно потом и оказалось: не готов.) Не сделал и попытки познакомиться с Уитни (или не свели их). И вернулся в Европу с пустыми руками. А к концу лета – был схвачен "Архипелаг" гебистами, погибла Вороньянская, – и я отчаянно дёрнул дальний взрывной шнур "Архипелага". А взорваться было только тому, что расстарались мы в последнее время: немецкому да шведскому изданию. Главное же, англо-американское, решающее весь ход мирового общественного мнения, – вот, не оказалось готово. Только тут Карлайлы вернули Уитни перевод (который и содержался не у него, оказывается), и он кинулся работать. Только в октябре 1973 приехал Курто из Штатов, привёз Хеебу лишь 1-й том "Архипелага", неготовый перевод Уитни, над которым ещё предстояло поработать вместе с экспертами. А перевод последующих томов Уитни ещё продолжал. Вот так мы передали плёнку "Архипелага" в "чистые руки", ещё и наследнице русской литературной семьи. Как саранча налетела и поела плод доверчивой дружбы старших поколений, и память замученных. И вдруг, чего нельзя было ожидать, я оказался на Западе. Энергичная дама, очевидно, забеспокоилась. Она была безупречна за подписью Хееба и пока я сидел в восточной клетке – а что теперь? Она не стала бездейственно ждать, но кинулась навстречу ожидаемой опасности: поехала в Европу искать встречи со мной. А я первые несколько недель после высылки ведь не сознавал всего отчётливо, да многого пока и не знал. Ещё семья в Москве. Ещё висит судьба архива удастся ли вывезти его? Да может трёх дней в Цюрихе не прошло, как Хееб повлёк меня в английский консулат, давать показания о пиратстве флегона. Ещё надо изрядно потолкаться на Западе, чтобы получить отращивание к судам. И я еду как в тумане. Дурную штуку сыграли со мной, втащивши неосмысленно в этот суд, – но и с другой же стороны: если не пресечь флегона, значит признать, что у меня нет авторских прав на "Архипелаг", даже когда я за границей? И вот – на второй же день в Цюрихе – телеграмма из Вашингтона: теплейшие поздравления и молиты за прибытие моей семьи; знает, что даже в изгнании я осуществляю свою миссию; посетит родителей в Женеве в марте и надеется увидеть меня, Ольга Карлайл. Не помню, когда я эту телеграмму увидел в ворохе и дошла ли до моего сознания, но следом письмо из Женевы: я уже у родителей, очень хочу с вами встретиться, могу приехать в Цюрих на несколько часов; и везу вам приглашение на годовую сессию американского Пен-клуба; и очень беспокоимся о Наталье Ивановне (Еве); и – ото всего сердца обнимаю вас, и мой муж и мои родители передают вам самый дружеский привет. И от отца её письмо: очень-очень просит, чтоб я принял дочь. И я – забыл недавнее жжение? весь разрыв, их вероломное уклонение, затяжку "Архипелага", как они крылья нам подрезали? Да, всё забыл. Уже год прошёл грозный, сожигающий год, не тем я был занят, я забыл свою обиду, утерял даже в памяти или не создал ясно, что они заморозили "Архипелаг" из-за мирового копирайта. Да, казалось мне: взорвись американский "Архипелаг" в январе 1974, в двух миллионах экземпляров, как позже было, – да дрогнули бы большевики меня и выслать. Но сейчас уж что, всё равно ощущение победителя и что тут считаться? все мы – близкие тайные сотрудники, всё можно по-хорошему, и отчего бы им сейчас не двинуть перевод "Архипелага" быстро, всем вместе? И написал: приезжайте. Приехала. С остро-нащупывающей улыбкой. А я – уже запросто. Всё прошло как прошло, я не корил её прошлогодним письмом. Я попросил, чтоб она передала мне их редактуру 2-го и 3-го тома, – она извивистым выражением растянула, что – нет. Не дадут. (Так мы никогда и не увидели той их редактуры.) Я спросил: достаточно ли оплачены их с мужем труды? (У Хееба ещё не успел узнать, а сам он мне ничего не докладывал.) Она в колебании потянула: "Да-а, даже чуть больше". Ну хорошо, значит, в расчёте. (А она – выясняла, в разведке и был, очевидно, весь смысл её приезда: как я отношусь к её сделке с Хеебом, не начну ли трясти. Уже 5 недель, как я общался с Хеебом, и какой же западный человек может вообразить, что я у него не потребовал финансовых отчётов? А мы с ним – и ещё вперед 5 месяцев не заговорим, не разберёмся.) И – ничего больше в той встрече не было, пустой час за чайным столом, я был как в сером тумане, не домисливая. Но всю эту встречу она потом ядовито изукрасила для своей книги моими якобы пророческими вещаниями, командным голосом, – урок мне, и всем: что

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru никогда не надо лишних встреч с сомнительными людьми, давать им повод лжесвидетельствовать. Как вообще не надо было встречаться с Ольгой Карлайл никогда. Если бы заботы о "Круге" я поручил первому встречному в Москве западному туристу – вероятно, результат был бы не намного хуже. В последующие месяцы ни к какому допереводу "Архипелага" Карлайлы, разумеется, не присоединились. А в октябре того года мы с Алей были в Женеве и встретились со стариками Андреевыми – впервые не под советским окном, не надо исписывать молча листы, можно говорить обо всём под потолками. А – не поговорилось что-то. Печальная старость в полунищете, малая пенсия от ООН, где Вадим Леонидович раньше служил. Положение В. Л. как советского гражданина отрывало его от эмиграции, ему тут не доверяли, одиночество. Какими всесильными они казались мне десять лет назад в комнатке Евы, когда зависело от них взять или не взять плёнку, вся моя судьба. Какими беспомощными и покинутыми – теперь. И сегодня говорить им о проделках их дочери, выяснять – только растревать. Да Вадим-то Леонидович когда-то любовно готовился набирать "Архипелаг" сам по-русски, и шрифты покупал, и составлял словарь блатных выражений. И Андреевы в тот вечер тоже боялись притронуться к больной теме. Так мы просидели, не обмолвись о главном, как между нами разладилось, и будто дочери у них никогда отроду не было. Щемливо было их жаль. Вослед наступил промозглый швейцарский ноябрь, послали мы им чек, памятуя прошлое и не слишком полагая, чтобы дочь с ними чем-нибудь поделилась из своего нью-йоркского мельтешения. Вскоре затем, узнав-таки подробности от Хееба, я при встречах с новым руководителем "Харпера" Ноултоном (если б руководство не сменилось, то, после всего прежнего, я работать с этим издательством и не мог бы) выразил ему своё удивление Карлайлами и предложил издательству самому вытрясти из Курто тот "резерв", который он задержал неизвестно по какой причине, а теперь, от простого лежания денег у него, требовал ещё половину их себе за заботу. Ноултон передал Карлайлам мои недовольства, они забеспокоились. А блистательный биржевой Курто не только не стыдился, но несмущённо предлагал мне свою помощь по расчёту американских налогов за те годы, когда я был в Союзе, и требовал всего лишь гонорар и дорогу в Цюрих, потом только дорогу, потом ничего, всё бесплатно. Получалось почему-то, что я должен платить налоги и за то, что Карлайлы тратили, расчёта того я никогда так и не понял, а заплатил, чтоб отвязались. Мне оставалось относительно Карлайлов – только игнорирование. Но когда в 1975 я ездил по штатам – Карлайлы не выдержали и игнорирования, уж за прошлые годы кбак они, наверно, расхвастались нашей близостью – но, вот, и не встречаемся. А новый директор издательства уже знал о моём недовольстве ими, и это, очевидно, распространилось в их кругу. Теперь она писала, что требуют встречи и объяснений. Их письма достигали меня окольной передачей. Ну, только сейчас, в бурно-политическую поездку по штатам, буду я с ними объясняться, снова и снова перемалывать эту мучительную историю? в ваших руках были все пути, вы распорядились, хватит. Не ответил им. И прошла ещё одна зима, в 1976 я снова уехал в штаты. И сразу же в те дни Аля в Цюрихе получила письмо от Вадима Леонидовича на моё имя. Три года назад Ольга сверкнула обещанием послать своего бедного отца "на дуэль" за свою честь, теперь она и заставила его написать письмо, видимо тяжело ему давшееся, болезненно написанное, явно через силу. Он писал, что я проявляю несправедливость к его дочери, и в этом я неправ, и ему больно. (Вот и урок: мы тогда в Женеве пожалели, смолчали, а надо всегда всё начистоту выяснять.) Двух дней письмо у нас не пролежало – раздался телефонный звонок: В. Л. скончался, и вдова его просит почему-то немедленно вернуть письмо, чтоб оно как бы не существовало. Через два часа о том же позвонила и Ольга из Нью-Йорка. Аля отослала письмо назад. Видимо, с 1975, если не раньше, О. К. и задумала, для оправданий и насыщения честолюбия, свою безрассудную книгу – и куда же делись недавние заботы о "замешанных в дело друзьях"? Открывая себя, О. К. и открывала: кто же связал меня с ней? Для ГБ не составляло труда рассчитать общих наших московских друзей: Ева, А. Угримов и Царевна. Накидывала им петлю на шею, хоть лети их головы! Лети их головы, но мир должен знать, как тонкая, талантливая, благородная Ольга Карлайл отдала вместе с мужем 6 (шесть!) лет жизни Солженицыну, чтобы "сдвинуть гору" (напечатать роман, имея готовую плёнку), "превратилась в компьютер", "годы сплошной работы", до 18 часов в день, и "почти не вознаграждённые", и на каждом шагу "масса риска" (где? в чём?), "мы перестали жить как люди", на телефон клали подушку (?), "сяду в тюрьму, но никогда его не выдам" (какая тюрьма ей грозила на Западе?), да что там! отдав Солженицыну и всю свою жизнь, ибо она на эти годы "отложила всю свою работу", – теперь она уже, мол, не станет художницей, и "погибла карьера журналистки", и "потеряла родину своих отцов" (сперва за свои статьи о диссидентах, теперь именно благодаря этой книге), – а Солженицын ответил неблагодарностью и более не разговаривает с ней. (Столь ловко написала, все поняли так, что она безумно "рисковала жизнью",

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru самолично вывозя "Архипелаг" из СССР, - и как же все сочувствовали её невозблагодарённым жертвам!) Все близкие и друзья (и Уитни) отговаривали О. К. В 1977 приехала на Запад Ева, отговаривала и Ева, напоминая о судьбе своей и других угрожаяемых, - О. К. только фыркала: "ты имеешь свободу не возвращаться в Советский Союз!" Уже с осени 1977 потекла в американских газетах бурная реклама книги; повсюду Карлайл, захлёбываясь, трубила о книге, особенно - и верно - рассчитывая на успех среди неприязненной ко мне нью-йоркской образованщины - такими уничтожающими уколами, например, что я несочувственник их антивоенно-вьетнамского движения, или что я недоброжелатель западной прессы. (От этой образованщины она и впитывала заказ, как желательно изображать меня: авторитарным Командором, и именно так выписывала.) Ещё весной 1978 О. К. рвалась опять зачем-то со мной встречаться, даже приехать в Вермонт, ещё какие-то переговоры (или иметь лишнюю встречу для "живого описания"?). Я опять не ответил. И наконец, вот, книга вышла. На самом верху, где надо бы писать автора, моя фамилия, крупно, чтобы привлечь. И обещающий заголовок - "Солженицын и Секретный Круг"! По срокам выхода книга Карлайл совпала с англо-американским изданием загубленного ею 3-го тома "Архипелага", так что рецензенты, а многие из них ленивы и неразборчивы, объединяли эти книги на равной основе. (Пять лет повредив назреванию американского издания "Архипелага", О. К. теперь посылно повредила ему ещё при выходе.) И суть рецензий открывалась уже не в узника "Архипелага", но в том, что чувствовала и как страдала эта тонкая женщина, которая сделала из незаметного русского автора коротких рассказов - мнимо-титаническую фигуру для Запада, потративши вместе с мужем 7 (уже) лет своей жизни, тяжёлой работы, для лучших переводов и устройства его книг, - и взамен испытала такую неблагодарность. Книга Карлайл имела, как говорится, "хорошую прессу" в Штатах, крупные американские издания поддержали и внедряли её версию. Рецензенты всё же призывали простить неуравновешенному, бешеному автору "Архипелага" его паранойю (так прямо и выражались - паранойю, это американская пресса допускает, это не оскорбление), - ведь вот Карлайл простила, и "книга её написана без горечи". Но с хорошо рассчитанным ядом, накопительным от страницы к странице. Нарастающе представлен я: честолюбивым, властолюбивым, взбалтывающим, неоправданно часто и круто меняющим свои решения (в таких десято-зеркальных изломах сюда достигает наша тамошняя изломистая борьба: "мир интриг", "русские шарады"). Настолько одержимым, необузданным, фанатичным, подозрительным, что и вполне на грани паранойи. "Страшный человек", "он воспитан в той же системе ценностей, как и его враги", "ловкий зэк выходит на поверхность", "авторитарная фигура", "для него человеческие связи ничтожные помехи", - вероятно, не всё это построила она сама, но уже отпечатывается лик, который будет стандартно тиражировать западная пресса. О. К. присочиняет и вовсе не бывшие в Москве между нами встречи, а уж бывшие наполняет вольными сочинениями, благо не было свидетелей и никто никогда не проверит: дерёт из "Телёнка", уже известного всему миру, и вкладывает мне в уста, будто всё это я ей рассказывал доверчиво уже тогда, раньше всех. А уж цюрихская встреча вовсе сведена к карикатуре, и так как надо ей скрыть, о чём мы говорили на самом деле, - она опять крадёт из "Телёнка" такое, чего я при встрече с ней ещё и не знал (сожжение одежды в Лефортове), или "жена упаковывает архивы" - бессмыслица: их, наоборот, надо было расчленивать и тайно разослать, этого О. К. не смекнуть. А уж об истории "Архипелага" кривит, как ей выгодно. То якобы я "велел все дела по "Архипелагу" держать вне сферы Хееба" - невозможная бессмыслица, у Хееба отначала доверенность полная, на все дела. То будто О. К. предлагала передать все дела по "Архипелагу" Хеебу, а мы не брали, - ещё один бред. То будто "отредактированную [Карлайлами] версию не хотели видеть", - напротив, Карлайл упрямо её не давала, и отказала Хеебу в Нью-Йорке. А когда книга О. К. вышла - она к тому же перекрылась грохотом вокруг Гарвардской речи, для неё очень выгодным, - и Карлайл, как эксперт по России, кинулась тут же публично кусать и ту мою речь, что она произносилась и не для Запада вовсе, а для моих "националистических единомышленников" в России, каких-то "руситов". И перепечатывала из газеты в газету, даже и в "Ле Монд дипломатик", вбо куда. "Русские массы всегда были антисемитские", писала внучка русского писателя, и почему-то "в случае войны могут признать Солженицына за нового Ленина"*. Но доктор Хееб! - мне предстояло ещё узнавать и узнавать его. Весной 1973 я ему писал: "Хочу надеяться, что моё письмо остановило вас от дальнейшего ненужного путешествия (в Нью-Йорк, к Карлайл), которое ослабило бы нашу позицию: Вы, как всегда, принимаете наиболее тактичные правильные решения, не устаю восхищаться Вами:" И выражаю надежду, уже не первое лето, что он всё же оставит себе возможность наступающим летом - отдохнуть. (Он и не предполагал лишаться её.) И перехожу на: "Дорогой фри!" Настолько не понимал я тогда ни уровня, ни энергии его деятельности. Хотя Никита Струве в "левой" переписке как-то намекнул мне - но ненастойчиво, как он всегда, - что "юра" (юрист), как

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru ему кажется, растерялся и не справляется. Затем даже и Бетта замечала, что Хееб вял в поиске новых издательств и переводчиков; что он "хороший адвокат, но не организатор". Однако мы в Москве – продолжали считать Хееба орлом, любясь его солидной фотографией. А задачи, связанные со мной, были Хеебу, увы, не по силам, совсем и не в профиле его прежней практики. Схватило ГБ "Архипелаг" в августе 1973 – в вихре катастрофы пишу (по левой) Хеебу: "Я понимаю, что ввожу Вас в круг несвойственных Вам обязанностей, но хочу просить Вас все дела с "Архипелагом" ближайšie полтора года вести самому, не назначать промежуточного посредника: от этого издания зависят судьбы сотен людей, а может быть и более значительные события, – и невозможно доверить чужим людям, втянутым в издательскую рутину и коммерцию. Держите всё дело в своих руках и не стесняйтесь в расходах по штатам: В наступившее тяжёлое время я очень рассчитываю на Вашу мудрость, твёрдость, достоинство и выдержку". И очень сочувствую: "как я много нагружаю на Вас. Понимаю, что когда Вы брались защищать мои интересы – Вы не могли себе представить, чтобы столько функций и задач сгустились бы так во времени и настойчиво бы требовали Вашей энергии. Но исключительность ситуации позволяет мне просить Вас и надеяться, что Вы найдёте силы выдержать"... Предполагаю в нём "душевную заинтересованность в деле". – "Все Ваши распоряжения и решения, о которых мне стало известно, я одобряю. А которых и не знаю – не сомневаюсь, что одобрил бы. Всегда благодарен судьбе и посреднику, помогшему мне заручиться именно Вашей помощью. И Вас не должны сдерживать финансовые соображения. Перед началом штормового периода – крепко обнимаю Вас! Всегда на Вас надеюсь!.." И в конце декабря 1973 – грянул "Архипелаг" по-русски! И в цюрихскую контору Хееба со всего мира звонили, писали, стучали издательства и корреспонденты а он как раз на эти рождественские две недели наметил уехать отдохнуть в южную итальянскую Швейцарию. Так и поступил. Над моей головой в Союзе уже гремели грозы – он отдыхал и не спешил вернуться открывать "Архипелагу" мировую дорогу. Потом он заседал в новой своей конторе под звоны телефонов, при ворохах нахлынувших писем ко мне. За огромным письменным столом он особенно подавлял внушительностью: эта крупность, эта трубка во рту, эти медленные величавые движения, – очевидно, необычайно сведущ, необычайно много знает. И – мы объяснялись по-немецки, не без усилий, и он часами передавал мне все эти милые, но пустопорожние поздравления и просьбы о встрече. Только не делал движения ничего сказать мне о моих делах: четыре года промолчал – и теперь продолжал молчать. Я не знал западных обычаев: в какой мере и с какой минуты можно бы осведомиться об отчёте. Как-то раз спросил – Хееб оказался не готов отвечать. Да потом вопросы мои были самые поверхностные, я и после высылки ещё девять месяцев даже отдалённо не предполагал, что тут без меня делалось. Я первые месяцы ещё мыслями не созрел, что при адвокате, действующем 5 лет, здесь, на Западе, мог быть беспорядок. Настолько я не понимал его непригодности к моему делу, что ни разу не спросил: да умеет ли он хоть составить литературный договор? – и он, храня самолюбие, ни разу мне в том не признался. Так мирно, и по видимости очень успешно, прошло несколько месяцев; вдруг от цюрихских чехов случайно я узнаю, что существует в Цюрихе некий литературный агент Пауль Фриц, который и заключает от моего имени все договоры. Я – не поверил, мне это клеветой показалось: как же бы доктор Фриц Хееб, тут, рядом, стал бы такое от меня скрывать? Я ещё несколько месяцев стеснялся задать ему даже такой и вопрос. Лишь поздней осенью (а Хееб то и дело уезжал отдыхать в южную Швейцарию) опять возник какой-то срочный вопрос и спросить некого, – и нашли мне этого другого Фрица – да из того же самого агентства Линдер, которое уже пустило прахом мой "Круг" в 1968! Он охотно явился и объяснил: Хееб нанял его в мае (уже когда я тут рядом был – и не сказал ни слова!), но твёрдо запретил ему обращаться непосредственно ко мне. Да почему же? – а никак не от нечестности Хееб это так вёл, а – для нетренированного самолюбия. (Откупиться от этого Фрица – весьма больших денег потом ещё стоило, чтоб освободил он мои руки по договорам, которые заключал он.) Лишь осенью 1974 я придумал приглашать моих главных издателей для знакомства. Стали они приезжать, мы заседали в кабинете Хееба, возвышенно-монументального в своём кресле, а мы с издателями, дотоле мне неведомыми, и под перевод В. С. Банкула, знающего все языки, – полукружком на стульях. Я – изумлялся слышимому, а издатели изумлялись, что я до сих пор ничего этого не знал. И по дороге тяжелощёкого, прямоугольного лица доктора Хееба выказывалось, что и он – впервые осознавал всё совершенное лишь теперь. Только тут стала открываться мне картина развала, запутанности всех моих издательских дел и полной связанности рук: ещё не начав движений в этом свободном мире – я был всем обязан, связан, перевязан, – и неизвестно как из этого всего выпутываться. Всюду какие-то дыры и дыры, куда утёк ещё не отвердевший бетон. Да главное – не было у меня ни времени, ни настроения этим заниматься: я разгадывал Ленина в Цюрихе. И я всё время сравнивал людей здесь,

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru на Западе, и людей там, у нас, – и испытывал к западному миру печальное недоумение. Так что ж это? Люди на Западе хуже, что ли, чем у нас? Да нет. Но когда с человеческой природы спрошен всего лишь юридический уровень – спущена планка от уровня благородства и чести, даже понятия те почти развеялись ныне, – тогда сколько открывается лазеек для хитрости и недобросовести. Что вынуждает из нас закон – того слишком мало для человечности, – закон повыше должен быть и в нашем сердце. К здешнему воздуху холодного юрицизма – я решительно не мог привыкнуть. По горячности мне тою осенью хотелось выступить и публично: что вся система западного книгоиздательства и книготорговли совсем не способствует расцвету духовной культуры. В прежние века писатели писали для малого кружка высоких ценителей – но те направляли художественный вкус, и создавалась высокая литература. А сегодня издатель смотрит, как угодить успешной массовой торговле – так чаще самому непотребному вкусу; книгоиздатели делают подарки книготорговцам, чтоб их ублажить; в свою очередь авторы завязят от милости книгоиздательства; торговля диктует направление литературе. Что в таких условиях великая литература появиться не может, не ждите, она кончилась несмотря на неограниченные "свободы". Свобода – ещё не независимость, ещё не духовная высота. Но я удержался: не все ж издатели таковы. Столкновение двух непониманий очень резко проявилось в истории с гонорарами "Архипелага": когда я из Союза командовал Хеебу отдавать "Архипелаг" бесплатно или за минимальный гонорар*. Уже того я не понимал, что, по западным понятиям, я этим унижал свою книгу перед читателями: если её дешёво продают – значит, она плохо сбывается, вот и пошла по дешёвке. И уж на что Хееб ничего в издательском деле не понимал, а тут понял, что совсем без гонорара нельзя, даже стыдно. Он разумно возражал мне, что слишком удешевлять нельзя, будет плохая бумага, тесный шрифт. И вместо обычных для автора с известностью 15%, которые все давали, в тот миг дали бы и больше, Хееб стал ставить условием (в заслугу ему запишем) 5%. И – всё. Книги отчасти подешевели, да, но и не слишком заметно. Я приехал – спохватился: ведь все доходы от "Архипелага" я назначил в Русский Общественный фонд, и в первую очередь для помощи зэкам, а деньги уплывают? Стал я теперь к издателям взывать, вдохновлять: я взял с вас 5% вместо 15, так имейте же совесть, проникнитесь духом этой книги – теперь 5% пожертвуйте сами от себя, в фонд помощи заключённым. Некоторые и жертвовали (там из-за духа ли книги, или чтоб не утратить моих следующих книг), но почти плакали от трудности: уж лучше б сразу я взял с них 15%, они бы их списали со своих налогов, и всё, а жертва в иностранный фонд не списывается с налогов, и теперь её надо отдиравать от основного капитала издательства. А я ведь этого ничего не понимал, когда затевал!.. Директор швейцарского издательства "Шерц" – тот самый высокорослый, героически защищавший меня на цюрихском вокзале от раздава толпой, – он, по бернскому соседству захвативший от Хееба договор сразу на все три тома "Архипелага" вперёд, теперь ни от чего не зависел, и бессовестно доказывал мне в глаза, что именно из-за миллионных тиражей он несёт дополнительные неожиданные расходы (де, пришлось арендовать чужие типографии) – и поэтому ничего не может пожертвовать в фонд. И ещё первые тома "Архипелага" везде продались сколько-то дешевле, а со второго цены полезли вверх – мол, инфляция, бумага дорожает, – стал и я назначать для фонда нормальный авторский процент. А уж третий том – Запад мало и читал, устал от русских ужасов. Ото всего моего размаху только то и вышло, что Русский Общественный фонд потерял несколько миллионов долларов. Я, по глупости, думая, что сделаю книгу доступнее широкому читателю на Западе, наказал своих соотечественников в пользу западных издательств, вот и всё. Ну разве мог я такое вообразить, живя в Советском Союзе? Ну разве можно этот мир сухой представить – нам там, придавленным: жертва – не списывается с налога, и потому невыгодна! Мы, не привыкшие соразмерять жертву с какой-то выгодой, – разве могли этот мир освоить? разве могли принять его в душу? В СССР, неизносном, мозжащем, все шаги мои были – череда побед. На раздольном свободном Западе все шаги мои (или даже бездействия) оказывались чередой поражений. Не ошибок – я здесь не делал? (На родине – несли меня крылья общественной поддержки, были они первое время и за рубежом, но настоятельнее их вдвигалось ко мне лужистое равнодушие дельцов.) Однако среди тех издательских знакомств осенью 1974 года я не мог сразу не выделить умных душевных издателей французского, католического по своим истокам, издательства "Сёй" (что значит "Порог") – благородного старого Поля фламана и молодого талантливом Клода Дюрана, которых вскоре привёз в Цюрих Никита Струве. Почтенный фламман – интеллектуал с давней усвоенностью и разработанностью культуры, как это бывает особенно у французов, большой знаток издательского дела. Дюран – неутомимый, живо-сообразительный, даже математичный, остроумный, а к тому же и сам писатель. Ещё в ту первую ознакомительную встречу у меня с ними возникла большая открытость, они видели мою растерянность, ещё больше её видел (и знал от Али) Никита Струве – и он предложил "Сёю" взять в

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru свои руки ведение моих дел. Фламан и Дюран приехали в Цюрих вторично и согласились взять на своё издательство международную защиту моих авторских прав, всю договорно-распределительную работу с издательствами всего мира. Я предложил Хеебу тут же и передать Дюрану копии всех заключённых (да не им, а агентством Линдера) контрактов. Хееб сперва заявил, что невозможно, это очень длительная работа; потом за четверть часа оскорблённо выложил их все. Только с этого момента, с декабря 1974, мои добрые ангелы фламан и Дюран постепенно, год от году, разобрали и уладили мои многолетне запутанные издательские дела. Что Хееб не охватывал моих дел, не успевал почти ни с чем – ладно. Но зачем скрывал, никогда не признался, носил такой солидный вид и передо мной? Очевидно, адвокатское правило: не показывать своей слабости перед клиентом. (А по-русски: насколько сердечней было б, если б он сразу и признался.) Впрочем, в этих ноябрьских беседах с издателями поняв, что ж он натворил, Хееб под Новый, 1975 год с дрожью голоса сделал мне заявление, что он видит: он более мне не нужен, негоден, и подаёт в отставку. И мне стало его жалко: навалили мы на него проблем и дел не по его опыту и кругозору – а непорядочности он никогда нигде не проявил, разве вот с утайкой Линдера. И, жалеючи, я просил его остаться. И он пробыл моим адвокатом ещё и весь 1975 год. И за эти два швейцарских года Хееб – опять безумышленно, но по самоуверенности и по незнанию собственных швейцарских законов – нанёс мне ещё самый большой вред изо всех предыдущих. Но об этом – когда настигнет, впереди.

Глава 3 ЕЩЁ ГОД ПЕРЕКАТИ

Хотя понятно, что вся Земля едина, а всё-таки – другой континент, первый взгляд на него всегда дивен: каким представится? Я увидел первым – Монреаль, и с воздуха он показался мне ужасен, просто нельзя безобразнее выдумать. Встреча – не обещала сердцу. (И в последующие дни, когда я побродил по нему, – впечатление поддержалось. Весь дрожащий от восьмизначного автомобильного движения чудовищный металлический зелёный мост Жака Картье, под который и должен бы я вплыть, если бы пароходом, – и безрадостно задымила бы сразу за ним пивоваренная фабрика с флагами на крыше, и потянулись бы бетонно-промышленные набережные – до того бесчеловечные, что на речном острове остатки старого казарменно-тюремного здания радуют глаз как живые. А глубже в городе – чёрная башня канадского радио, а затем – нелепая тесная группа небоскрёбных коробок среди обширных городских пространств. Монреаль тянулся за "великими городами" Аме-рики, но неспособно.) Встретил меня условленный сотрудник аэропорта, русский, – хорошо бы мне от самого начала двигаться инкогнито, чтобы впереди меня не несло, что я ишу участок в Канаде. Мы миновали стороной общий пассажирский выход, толпу, проверку и, кажется, незамеченными ускользнули в дом при храме Петра и Павла, куда я имел рекомендацию от Н. Струве к епископу Американской православной церкви Сильвестру, члену редколлегии "Вестника РСХД". Ему я и открыл цель своей поездки, прося совета и помощи. Там я провёл предпасхальные дни. Незамеченным? – как бы не так! – дня через три в монреальской газете появилось не только сообщение о моём приезде, но даже и несомненная фотография моя в аэропорту. Да откуда же, будьте вы неладны?! Оказывается: студенты! да, предприимчивые студенты узнали меня издали, сфотографировали телеобъективом, а затем два дня – не ленились! да ведь ради денег! заработать за счёт моего покоя, – ходили по редакциям, убеждая принять материал, а им никто не верил. Страшная досада: перед самым началом тайного поиска меня и обнаруживали. Продали писателя – студенты, ну мирок! А коли уж всё равно раскрыли и нашёл меня украинский радиокорреспондент записал я на плёнку пасхальное обращение к православным украинцам*. Украинцев в Канаде – большое расселение. Сдружить украинцев с русскими чувствую задачу на себе всегда. Украинского – много влилось в меня от деда Щербака, он чисто по-русски и не говорил, да сама речь какая тёплая! и бабка по матери наполовину украинка; и украинские песни известны и вняты мне с детства. И в 1938, когда мы, студенты, на велосипедах дали петлю по всей сельской Украине, – сколько же запечатлелось трогательных мест, стоят сердечным воспоминанием. Впрочем, не одни студенты меня выдавали в Канаде, потом и более солидные люди, не умея удержать новость или даже намеренно ища связи с прессою. И в первые же дни – в одной, другой, третьей газете уже излагался мой план купить землю и переселиться в Канаду. В окрестностях Монреаля гонялись за мной кинокорреспонденты по дорогам, приходилось хитростями от них уходить. И частная встреча с премьером Трюдо тоже разглашалась в газетах. В чужом мире действуя, я на каждом шагу ошибался, да ведь и языка не хватало везде, сразу переключиться с немецкого на английский мне было трудно, не тем голова занята. Вся эта встреча с Трюдо была совсем не нужна, но казалось мне, что я должен предупредить правительство о своих намерениях, чтобы не попадать, как со швейцарской

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru полицией, да и получить благоприятие иммиграционных властей. Я его и получил, но можно было обойтись без премьер-министра, только ненужная разгласка. (И сам разговор, и все темы на той встрече произвели на меня впечатление незначительности, и обидно становилось за эту страну, такую богатую, огромную по размаху, – но робкого великана в толчее дерзких и быстрых.) Сами поиски удалось устроить активно: дня три повозил меня по комиссионерам ("риэлторам", – иначе тут домов, участков не покупают) отец Александр Шмеман. Кроме того епископ Сильвестр посоветовал мне обратиться к молодому архитектору Алёше Виноградову. Его родители были из Второй (военного времени) эмиграции, сам он испытал лагерь "ди-пи" (перемещённых лиц) ещё младенцем. Оказался он душевно чистый, уравновешенно-спокойный, с добрым нутряным голосом молодой человек, и жена у него – прелестная Лиза Апраксина, аристократической породы, из третьего поколения Первой эмиграции. Вырос Алёша в англо-канадском мире и был там вполне свой, но оставался (благодаря родителям) удивительно русским, как будто сейчас из наших мест. Он охотно согласился мне помочь – и мы много поездили с ним по провинции Онтарио. Каждый раз "покупателем" был мой спутник, а я – просто присутствующий приятель. (Вполне как и в Советском Союзе, когда возил меня по тамбовщине Боря Можжев с корреспондентским билетом, всех расспрашивал о сегодняшнем колхозе, а я болтался при нём и высматривал про тамбовское восстание 1920–21 года.) И пересмотрели мы многие десятки предлагаемых мест, и даже на некоторых я как будто уже заставлял себя остановиться, – довольно причудливые скалы вокруг возвышенного озера, уже планировали мы, где что будет построено, иногда и дорогу надо было строить, этого, пожалуй, и не осилить. Искал я место уединённое, в стороне от проезжих путей, это первое, да, но когда-нибудь же и благоустроено? но какие-то же города и школы неподалёку? – мне-то хорошо в пустыне, а каково детей растить? Аля очень беспокоилась. И после всех заходов нашей изматывающей поездки – всё более становилось понятно, что я ничего не нашёл, что найти очень трудно. Прежде всего оказалась Канада – совсем нисколько не похожа на Россию: дикий малолюдный материк под дыханием северных заливов, много гранита, так что для дороги то и дело продалбливаются в нём выемки. Леса? Рисовались роскошные толстоствольные, доброденственные – оказались (в Онтарио, где только и намеревался я остановиться) жиденькие, не на что смотреть, Карельский перешеек: многими годами тут хищнически рвали каждый толстый ствол, вытягивали его тракторами из любой чащи, и оставлена лишь невыразительная болезненная толпа стволиков. Если на участке растут хорошие породы, то об этом даже специально указывают в проспекте. (Позже, из поезда, посмотрел я степную часть Канады – но только что ровная необъятная степь, а тоже за Украину не примешь, много уступает в хуторской живописности.) Да уж тогда были бы хоть города порядочные! – но и по городам отстала Канада, и города, кажется, объята умственной ленью, – зато здоровенные, отъездившие тупые хиппи, в этом Канада от цивилизованного мира не отстала, греются на клумбах на солнышке, развалились в уличных креслах среди рабочего дня, болтают, курят, дремлют. Вообще же: не нейтральны для человеческой личности все места на Земле (как и разные сроки в году): одни ему – дружелюбны, другие враждебны, иные благоденственны, а те губительны. Надо слушаться сердца, оно помогает угадать верное место жизни. (Например, с детства я с опасением думал о Средней Азии – и именно там развился у меня рак. К Енисею, Байкалу – тянуло, а на Урал нет. Никогда бы не вынес я субтропиков и тропиков.) Но Канада оказывалась не просто северной, а какой-то и беспмятно спящей. Ещё была у меня мечта – расположиться близ русского населения, – и самим нам дышать родней, и чтобы дети росли в русской среде. Но в Онтарио не было таких посёлков. Познакомили меня с кем-то, связанным с духоборами, – но они в Британской Колумбии, слишком далеко. (К ним я так и не попал, да и вывихнуты они уже из русского, да и ухо переклоняют к большевицким зазывалам, ведут переговоры вернуться в ту страну, которая так невыносима была им при царе.) Ещё оставались в задумке старообрядцы в Штатах, но стал я уже отчаиваться в таком соседстве поселиться. Десятилетиями вытягивался я весь в мечте избавиться от постоянной шумливости и стеснённости то тюремных лет, то городской, от этих надоедлых радиорепродукторов, – да как же ото всего этого вырваться подальше? с таким набранным опытом что надо писателю? только спокойное уединение. Но в Союзе мне было невозможно найти такое уединение, чтобы там можно было постройиться, чьем топиться, главное – чтобы в рот класть, а ещё главней: чтобы по заглую не задушило тебя ГБ. Однако вот и теперь, в 1975, достигнув необъятной воли, и с необходимыми для того деньгами, – не мог найти я себе подходящего приюта. Заманчивые имения видели мы в Канаде только близ самой реки Св. Лаврентия – но они не продавались, они все были заняты устойчивыми первыми поселенцами, наследными семьями "воспов"*; как здесь говорят. (Сама река – изумительно разливна, как лучшие сибирские, с влажным воздухом близ себя, почти как бы морским.) К середине мая я уже, недели за две, устал искать, и без

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru Али не мог принять решения. Срочно вызвал её из Цюриха, вырвал от детей, а сам, отъехавши, ждал в дрянненькой гостинице Пемброка и высиживал дни в зарослях, тоже у реки, в речном воздухе пытался писать. Алёша привёз Алю прямо с самолёта из Монреаля. Она же прилетела с наросшим в ней сопротивлением: да ни за что из Европы не уезжать! И правда, какой нормальный человек уедет от этой многообразной красавицы, сплочённой древности и культуры? Но позволь, но мы уже решили: не жить нам в Европе, не дадут мне там спокойно работать, везде достанут; и кроме Франции нигде не хочется, а там – язык. Поехали смотреть что-то приблизительно пригляженное Аля всё решительно забраковала, и особенно – то местечко на каменистом холме близ озера: бурелом, бездорожье, на километры вокруг ни души. Ну, что делать? Ну, попытаем счастья в Аляске? Нельзя отвергнуть, не взглянув. Из Оттавы мы с Алей поехали трансканадским экспрессом на тихоокеанское побережье. "Экспресс" – это очень громко сказано, тащится он не слышимо быстро, вагоны переклонно побалтывает, уже в таком состоянии рельсы, "экспресс" он – за непересядочность, непрерывность от Атлантического до Тихого океана. Железные дороги Канады в большом упадке, углубляемом уже бессмысленным сосуществованием и соревнованием двух угасающих систем с параллельными путями – Канадская Национальная и Канадская Тихоокеанская (в некоторых местах их рельсы – вплотную рядом, и гонят пустые поезда). Идёт по одному экспрессу в сутки, станции безлюдны (вокзалы бывают за городом, чтоб очистить его от рельсовых путей), все давно летают самолётами, ездят автобусами. К железной дороге уже настолько нет почтения и внимания, что большинство переездов – без шлагбаума, и автомобили покойно пересекают линию не покаясь – а тепловозам (электрификации железных дорог на этом континенте почти и не спрашивай) остаётся перед каждым переездом слитно бизонно гудеть. Так и текут долгие гудки вдоль полосы дороги. На многих станциях нет камер хранения, лишь кое-где – ещё не отмерший, но уже никому и не нужный телеграф. Зато из вагона даже к одиночному пассажиру выходит не только кондуктор, но и портье-негр, помочь с чемоданами. У океана кончает рейс экспресс – и сходит иногда всего человек десять. Но чем более отмирают дороги – тем важнее ведут себя на больших станциях валяжные служащие (все мужчины): не пускают встречающих на перроны, пересекают, проверяют, объявляют, гонят подземными тоннелями без надобности, а там стоит ещё один дежурный бездельник и только показывает, на какой эскалатор сворачивать. В том, как американский континент сперва далеко проложил, потом отбросил железные дороги, была юная жадная цапчивая манера хватать новое яблоко, надкусывать, бросать ради следующего. В поспешном развитии к новому, к новому – покидалось самое хорошее старое. Однако на многое тут смотришь с завистью, как бы это к нам перенести: на одиночные купе, румэты, где при наименьшем объёме человек обеспечен постелью, столиком, горячей, холодной водой, электрическим током, зеркалом, уборной и кондиционированным воздухом. Если есть с собой продукты, можно три дня из румэта не выходить. Или возвышенные второзэтажные салоны с остеклённой крышей, откуда пассажиры охватывают и обе стороны дороги и небо, непрерывная видовая картина (испорченная, конечно, принудительной постоянной "поп"-музыкой). (Но эти стекло-салоны надо и часто мыть снаружи особым многощёточным вертящимся устройством, через которое протискивается поезд на больших станциях.) Я с детства очень люблю железные дороги, и отмирание их воспринимаю второю утерей после отмирания лошадей. Больно. (А в XIX веке и поезда кому-то казались недопустимым губленьем природы.) В Принц-Руперте пересели мы с поезда на аляскинский пароход, он шёл под американским бодрим флагом, и тут мы впервые прошли американский таможенный осмотр. (Он поразил строгостью к рюкзакам странствующих студентов: разворачивали всю их тщательную укладку, перещупывали, искали наркотиков?) Уже даже этот пароход, и потом вроде оторванная и мало-американская Аляска, – куда отличались от расслабленной сонной Канады. Американская атмосфера после канадской – бодрила, и стало у нас всё более поворачиваться: может быть, поселиться в Штатах? Мы не пришли бы к этому так легко, если бы не контраст с Канадой. До сих пор представлялись мне Штаты слишком густо заселённой страной и слишком политически-дёрганой, крикливой. Но начали передаваться нам её раздолье и сила. А для нас, уже за год истосковавшихся по России, нельзя было начать знакомство со Штатами лучше, чем через Аляску. Кроме самой России – уже такого русского места на Земле не осталось, разве что где сгущённые колонии русских. Ещё Джуно, столица штата, был город американский, но уже и там нас возил, всё показывал, православный священник. А уж Ситха (Ново-Архангельск) встретила нас совсем по-русски, да и русским епископом Григорием Афонским. И это сразу отозвалось в прессе. Пошлый (но мирового распространения) "Ньюсуик" напечатал: "Высланный советский писатель на пороге вступления в православный монастырь, [его] поездка по Канаде и Аляске: – разведывательная экспедиция... найти религиозную общину для себя и рядом дом для семьи: – [да его] возвращение к религии видно и по "Телёнку", полному

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru пассажир христианского мистицизма". У епископа Григория и отец, и дед по матери, и другие в роду были священники. А его юность в Киеве застигла уже советская эпоха, затем в 16 лет он попал в немецкую уличную облаву, загребали в остарбайтеры. (Эшелон на отправке застоялся, прослышавшие матери, среди них и мать Гриши, кинулись на пути, хоть посмотреть на увозимых детей, при удаче – сунуть узелок с бельём.) А будучи "остовцем", Гриша однажды из клочка парижской газеты прочёл, что его родной дядя Афонский, регент православного собора на рю Дарю, даёт концерт хора. Удалось ему связаться, и в конце войны вытянули его в Париж. Позже он кончал в Нью-Йорке Свято-Владимирскую семинарию Американской православной церкви, надо было жениться до принятия сана. Но вопреки его жизненным намерениям это не состоялось, и принял он сан иеромонаха, а затем вскоре и стал епископ. (Позже, гостя у нас в Вермонте, рассказывал свою жизнь, – Аля спросила: "Жалеете, Владыка, что не женились?" Он, с мягкой добродушной своей улыбкой: "Да нет. Жалею только, что остался без детей".) Полтора лет назад иркутский приходской священник (к концу жизни Иннокентий Аляскинский) добровольно переехал сюда – просвещать ещё прежде того крещёных, но покинутых вниманием алеутов; переплывал на острова, переводил Евангелие, молитвы и песнопения на местных шесть языков. И вот сегодня священник-алеут, и дьякон-индеец, и все здешние аборигены – на вопрос "кто вы?" отвечают: Russian Orthodox (русский православный). В музее Ситхи – наши старинные иконы, складни, евангелия, посуда щепенная и фарфоровая, старинные медные русские пятаки, руббель и скалка, ступа с пестом, подносы, самовары, щипчики для сахара, серебряные подстаканники. Но что музей, когда есть реальный архиерейский дом 1842 года, и здесь старомодную гостиную, кабинет, каждый предмет мебели – старинную качалку, стулья с плетёными спинками, клавесин, комод, бюро, шкафы – узнаёшь памятью глаз, или движением чувства или по читанному: вот мы и – в старом губернском городе, ещё почти при жизни Лермонтова. А самовар – по всей Аляске, уже и у американцев, самое модное домашнее украшение. Здесь, на северо-западе американского материка, – поразишься русской удали, настойчивости, землепроходству (о которых в СССР гудят пропагандно и отмахиваешься). Ведь не с фасадной доступной стороны примыкала к нам Аляска, нет, надо было сперва преодолеть по диагонали непроходимую Сибирь. И тем не менее Дежнёв уже обогнул Чукотку морем в 1648, а Беринг достиг Аляски в 1741. Ещё не царствовала Екатерина – уже основали здесь на острове новый Архангельск, а в 1784 на Кодиаке уже открылась первая школа для алеутов (теперь там православная семинария). Строитель, купец, образователь и пионер Александр Баранов стал как бы губернатором русской Аляски, и до сих пор вспоминают индейцы, что он всегда держал слово, как пришедшие потом американцы не держали. (Прадед нынешнего дьякона присутствовал в 1867 в Ситхе при смене русского флага на американский – и передавал, что индейцы плакали: русские обращались с ними добро, а жестокость американцев к индейцам уже была слишком хорошо известна.) Ещё и далеко на юг внедрились русские, в Калифорнию, и остановились, только встретясь с испанской волной от Мексики; американцы пришли сюда уже третьими. А разобрались ста годами позже, по документам: продала Россия Америке не Аляску как таковую, а лишь право пользования её территорией, отчего Америка ещё и теперь выкупает участки у местных жителей. (Эта продажа Аляски – соблазн истории: что было бы с Америкой, если бы танки большевиков сейчас стояли на Аляске? Вся мировая история могла бы пойти иначе.) После 1917 прервалась тут церковная русская власть – на 120 приходов осталось 5 священников, но эскимосы, алеуты и индейцы дохранили православие тридцать лет, пока пришла православная церковь Американская. Мы жили у епископа Григория, как будто вернулись в Россию, ещё и в радушии по горло. Стояли на службе его в храме. А после службы плотным кольцом жались к нему ребяташки алеутские (как на нашем бы Севере) и теребили: "Биша-Гриша!" ("бишоп" – епископ по-английски). Гуляли аллеей Баранова, усыпанной щепой, – огромные белопепельные орлы, а снизу крылья почти чёрные, летали над самыми верхушками деревьев, и проходила от них тень как от самолёта. Даже страшно: вот снизится, схватит когтями Алю в меховом капоре и унесёт. Было очень холодно, хотя май. Есть американцы, переезжающие на Аляску, чтобы здесь, в тихой ещё обособленности, нерастревженности, растить своих детей вне современного разложения. А – нам? а – мне? нет, пожалуй – это уже слишком заповедник, глубоко в Девятнадцатый век. (Хотя супермаркет – вполне Двадцатого.) Индейцы племени тлинкит приняли меня в своё племя, подарили почётную дощечку – "Тот, кого слушают". Однако я что-то долго уже молчал. И не понимал, как своей канадской поездкой оскорбляю Соединённые Штаты, так звавшие меня уже год, – а я океан перелетел не к ним, и теперь странно входил через Аляску. Необъятен мир, открыты все пути, а свой – единственный, узкий и погонный. Величественно плывёт всенасыщающее время, а своё – так коротко, так недохватно. У Али были ограниченные сроки, надо возвращаться к детям. Но ещё бы нам вместе побывать у

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru старообрядцев, приглядеться, как там. На Аляске – лишь одно их село, рыбацкое, и к ним трудно-долго добираться, а вот большое их поселение в штате Орегон. Однако с Аляски легче долететь сперва до Сан-Франциско. А тогда – хоть глазком-то глянуть на Гуверовский институт, с его поразительным за границей русским архивным хранением. Главная башня Гуверовского института стройно высится над разбросанным малоэтажным кампусом Стэнфордского университета, райски усаженным пальмами. Для сокращения времени многие студенты от корпуса к корпусу проносятся на велосипедах. Сверху башенный колокол отбивает часы, печальный, потусторонний звук. Времени на Гувер у нас было не больше недели. На эти дни заместитель директора Гуверовского института Ричард Старр (полковник морской пехоты в запасе) усиленно звал нас остановиться у него в доме (просторном калифорнийском доме с крытым зимним садом). Но для независимости отпросились мы в университетскую гостиницу. И были в первый же вечер (субботний) жестоко наказаны. Против нашего окна, метрах в тридцати, был какой-то просторный и возвышенный помост. И вдруг часов с девяти вечера густо повалили молодые люди и – о ужас, дико взорвалась музыка, и на помосте закачалась плотная танцевальная толкучка. Динамики ревели просто неправдоподобно: мы в своей комнате должны были кричать друг другу в ухо, чтобы расслышать хоть слово, а закрывали окно – невтерпёж, по жестокой жаре и отсутствию кондиционера. Студенты – белые и чёрные – танцевали с девушками, как работала: сосредоточенно, неумоимо, ни на кого не глядя. А те, кто стояли по периметру помоста, все до одного держали в руках огромные бумажные стаканы, банки, бутылки, – и выкидывали их прямо под ноги, на наших глазах росла кайма мусора, и зрелищем таким мы были тоже ошарашены. Грохот не утихал час за часом, это была пытка, – и как же нам заснуть? Но в час ночи, что ли, так же совершенно внезапно всё оборвалось. Тишина наступила, как после артобстрела. И тут пришлось нам ещё раз поразиться: толпа мгновенно покинула помост, на нём осталось десятка полтора студентов, которые так же сосредоточенно, быстро и умело – собрали в большие мешки весь мусор, подмели настил и расставили на нём столики, стулья. Через десять минут перед нашими окнами не было ни души, под фонарями покоился чистый помост, и в тёплом ночном воздухе звенели цикады. За эти дни в Гувере мы подружились с симпатичнейшей парой "вторых" эмигрантов – Николаем Сергеевичем Пашиным (братом писателя Сергея Максимова), профессором русской литературы и языка Стэнфордского университета, и харьковчанкой Еленой Анатольевной, работавшей как раз в Гуверовском институте и обещавшей мне на будущее всяческое содействие. (И оно очень-очень потом пригодилось!) Да в штате Гувера оказались и многие русскоговорящие, в том числе и славяне, – главный знаток и собиратель архива поляк Звораковский (сразу ввёл меня в общую схему хранения, жаловался, что дирекция уступчива к советским проникновениям), дружелюбный серб Драшкович. Для занятий нам отвели зал заседаний с преогромным столом, на который теперь несли и несли по моему выбору картотеки, описи, коробки хранения, подшивки, пачки мемуаров, книги, старые газеты. Познакомились мы и с А. М. Бургиной, в годы революции женой Ираклия Церетели, после его смерти – женой социалиста Б. И. Николаевского, собравшего многоизвестный обширный архив. После смерти Николаевского она стала, при Гувере, хранительницей этого архива. (Мне рассказывала и подробности мартовских дней 1917 в Таврическом; сама она, среди четырёх курсисток, была приставлена комендантом Перетцом наблюдать за арестованными царскими министрами и обслуживать их чаем.) Поработали мы в четыре руки. Аля взялась за архив Николаевского. Я метался по картотекам и описям, составляя на будущее план работы, но и впиваясь в одни, другие, третьи мемуары, и в никогда не виданные, не слыханные мною редкие издания. Даже на Сан-Франциско осталось всего часа два, проехали не вылезая из автомобиля. Город – живописен на холмах. Большой китайский район. И грандиозный вид на бухту с высоты, где взнесённой поющей дугой перекинут над Золотыми Воротами долгий мост без опор. В городе посетили героическую Ариадну Делианич, с её горячей памятью Второй мировой войны, даже и послевоенных концлагерей – английских. Крупная женщина с волевым лицом, теперь через силу волочёт "Русскую жизнь" на западном побережье – а газета рассыпается, погибает русский и язык, и уходят читатели в мир иной. Пашины свозили нас и на океанский пологий берег, южнее города. Катят валы ровные, неохватной, неизломанной длины, и метра по два высотой. И так долго ничто не меняется. Прекрасный пляж – но хотя это 37° широты, а в мае такая ледяная вода, что на пляже – ни души. Но пора к старообрядцам. Из Сан-Франциско поездом – на север, до, помнится, Сейлема, там взяли мы автомашину напрокат. Штат Орегон в этом месте почти плоский, но своеобразно усеян множеством, множеством мелких узких перелесков, разделяющих земельное пространство на отдельные поля. В солнечный день, ещё раньше чем нам спрашивать нужный посёлок, мы увидели на одном, на другом поле склонённо работающих совершенно русских баб и девочек, в уже отвычных нашему советскому глазу ярких крестьянских сарафанах. Они пололи

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru клубничные посадки (Орегон поставляет клубнику всей Америке). Не веря своему голосу, мы спросили сразу по-русски – и получили чистейшие ответы. Сердце переполнилось до перелива: ну, вот мы вдруг и в России, да какой! Вот здесь бы и поселиться! Эти старообрядцы, к которым мы пришли первым, оказались – белокриницкого толку, а корнями из Сибири, в революцию откочевали в Китай ("харбинцы"). После прихода Мао уехали в Бразилию. Там тяжело, до испоплегу работали на плантациях, и семьи всё равно бедствовали. Выбились в Штаты всем народом, с большой помощью Александры Львовны Толстой. Попали в дом Кирилла и Федосьи Куцевых, с семьёю-восемью детьми (Иов, Анисья, Домна:), и стариков их Петра Фёдоровича и Искитеи Антиповны, пришёл и брат её, настоятель Абрам Антипович. Все они были добротны телесно как на подбор (Кирилл – едва ль не богатырь), светлы душевным настроением, имена их звучали неподдельностью святец, – уж сколько было радушия и радостного разговора. Но! – за один стол старшие сесты с нами не могли! – тут разделительная черта, безумно проведенная нашими предками 300 лет назад, так и не зарубцевалась. Посадили нас – с детьми, а уж угощали на все лады; после нас сели старшие. А с детьми?! – вот задача-то. Говорили нам об этом много. При всей силе духовного влияния в старообрядческих семьях – неизбежно же ходят они в общую американскую школу, и отовсюду же сквозняки вседозволенности – а как им и дальше вступать в американскую жизнь? Но дома стараются утвердить детей в духовной стойкости; телевизора нет, читают по-русски. Соседка-хромоножка учит читать по-славянски. И в одежках детей всё русское, своешито. И нам с Алей подарили две вышитых цветных рубахи. Фотографировались вместе. Приходили и другие соседи по посёлку. Из них выделялась судьбой Женя Куликова. Муж её каждое лето рыбачил у берегов Аляски, ходили и к Камчатским берегам, – и вот исчез бесследно, весь баркас, при обстоятельствах неясных: утонул или прихвачен советскими (были какие-то к тому признаки). И вот уже целых пять лет она, молодая цветущая волевая женщина, с тремя детьми, осталась и не вдова и не мужняя жена: если муж её жив – то грех неискупимый выйти замуж, а если не жив, то как убедиться? Писала орегонскому конгрессмену, американцы запрашивали Советы – безрезультатно. Просила, не напишу ли я – советской власти? (Аля по левой, через Александра Гинзбурга, пробовала узнать, по зэческим связям: может, сидит где в лагере. Нет, никто не слыхал.) Переписывались потом с женой. Так – и ночевать у старообрядцев не останешься? Вот и поселяйся тут?.. Но было у нас приглашение в соседний бенедиктинский монастырь Маунт Анжель близ Вудбёрна: один тамошний монах, брат Амброзе, объявил себя ревностным православным, старообрядцем, всё время общался с ними тут, а в монастыре устроил старообрядческую часовню, и ему монастырь не препятствовал (старообрядцы сильно озадачивались: нет ли тут цели захвата душ, но пока соседствовали дружно). Там мы и провели две-три ночи. Тут и Вознесение выпало. Накануне утром, 11-го, поехали на службу в храм к беспоповцам ("некрасовцы", сюда приехали из Турции, и тут их зовут "турчане"), но там нас встретили сурово до горечи: в сам храм не пустили, наибольшая уступка – стоять в притворе. Вот – и свои: Тем вечером, на всеобщую под Вознесение, поехали опять к белокриницким. Храм набит, мужчины – в чёрных подрясниках, женщины в светлом и ярком, служба долгая и строгая, а все так приветливы. У белокриницких провели и день Вознесения. Сколько именно у каждого из нас жизненного времени осталось – знает только Бог, и я особенно чувствовал это в июньские дни 1975. Когда-то в лагере, в Экибастузе, мне приснился весьма отчётливый сон: холодный светлый день, большая высота неба, сорвана, косо повисла балконная дверь – и чей-то ясный голос чётко произнёс мне, что я умру 13 июня 1975 года. Я проснулся с отчётливой же памятью и записал дату в блокнотик – запись цела у меня и посегодняя. Тогда казалось: 25 лет впереди, ободряющий сон, да для лагеря! Но что это? – вот откатили уже и все 25 лет. 13-е падало на пятницу, после Вознесения, – и нам показалось разумно: тихо пересидеть этот день в монастыре, никуда не двигаясь. А ещё в Гувере настиг меня с Восточного побережья Штатов телефонный звонок: Гарвардский университет приглашает на 12-е июня получить почётную степень. Уже звали они меня из Цюриха в 74-м, я отказался, не полетел тогда в Америку. Теперь, вот, опять, – и опять не хотел я специально для этого ломать свой маршрут и лететь через материк. Да ещё же и это 13-е нависает. Отказался. (Обиделись и три года потом не приглашали, всё состоялось лишь в 1978.) И ещё же был звонок: о моём странном въезде в Штаты, как бы не с парадного входа, узнал Джордж Мини, чьё приглашение я тоже отклонил в прошлом году, – и теперь он звал меня выступить на всеамериканском профсоюзном съезде в Вашингтоне, и большом их собрании в Нью-Йорке, но это уже – с конца июня, и я успевал уложить в маршрут все дела и поиски. Да, в этой стране покою не дадут, затеребят, как же здесь жить? Америка настигала, терзала ещё прежде домового устройства, переезда семьи, скорей, скорей, к нам! нет, к нам! Но – когда же и где говорить иначе? И когда же выступать, как не сейчас, после их вьетнамского поражения? Сейчас наиболее

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru непопулярно будет, что бы я им скажу, – но и наиболее своевременно. Я согласился. Однако Але неотложно было ехать домой к малышам. Всё же сговорились, что она попробует ещё раз прилететь на мои выступления. И в Портланде (и тут небоскрёбов нагородили) я посадил её на самолёт – а сам стал возвращаться в Канаду, чтобы снова ехать поездом, теперь к Восточному побережью. И ещё последний раз поискать жильё в Канаде? Иногда у нас возникают бессвязные предвидения будущего, и порой оказываются они исключительно верны. Произвольно у меня бывали иногда такие; впрочем, потом начинаешь и действовать в этом направлении, так что спутывается предвидение с результатом. В связи с намеченной жизнью в Америке возникло у меня такое видение (но уже и желание, и намерение): возвращаться в Россию не через Европу (не в Москву, которая ослабленно разделила эти страшные годы России, да и я не московский житель) – а через Тихий океан и Владивосток, тоже не с парадного хода, как и в Штаты въехал, – и потом долго, долго ехать по России, всюду заезжая, знакомясь, – это и будет вернуться в Россию. (Если не погонят иначе чрезвычайные обстоятельства – именно так и сделаю.) И поэтому проезд через Ванкувер был для меня значения повышенного. Без труда купив на вокзале билет, загнавши чемодан в ящик с цифровым замком, с приятным чувством обеспеченности долгой комфортабельной железнодорожной поездки, я часа два гулял на высокой видовой площадке между стоящими серебристыми вагонами Канадской Тихоокеанской и морским портом, откуда уходят корабли, – да наверное же и во Владивосток. Без океанского пролива Ванкувер был бы такой же, как все канадские города, – со столпленной группой небоскрёбов в центре, вертящимися афишами, одноэтажной разбросанностью и уличной разноплеменностью. Но всё менял океанский пролив, горы на той стороне пролива, синеватые, в несколько планов и в сизых туманах. Свинцовые тучи погуливали (на них – пребелый самолёт), уходили пароходы. Я бродил как по хребту своей собственной жизни: отъезжая на восток, различить: поплыву ли когда-нибудь на запад, через самый Крайний Запад – и на наш Дальний Восток? Весь следующий полный день я пролежал в своём румёте, не поднимаясь: глазами только навстречу движению и во весь окоём. И весь день проходила Британская Колумбия. Неправдоподобная красота Скалистых гор. Они то подступали скалами к самому поезду, вынуждая накрывать пути решётками от камнепадов, загонять в тоннели; подступали иногда так тесно, что железная дорога и шоссе не помещались рядом, уходили в свои тоннели на разных уровнях; а то – отступали в неохватную чашу горной долины, под солнцем и со снежными остатками на верхах, а через пять минут, в другой долине, в клубящихся низких облаках. И река светло-мутно-зелёная, то к поезду вплоть, то отходя, то собиралась в кипящий поток с белыми гребнями, то разливалась ручейками по широкой мелко-каменчатой пойме. И вот здесь леса стояли так леса – крепкие, мощные, чистые; и хвойные – не проглянуть, только не было берёз. Да наверно в Британской Колумбии вот и хорошо бы поселиться, очень здорово. (Впрочем, на Байкале, в распадке, ещё лучше. Потому так и разбросаны наши поиски здесь, что мы – не на родине, у себя-то искать быстрее.) Но где-то есть предел, сколько может человек идти против общих правил. И – разрывало моё вечное противоречие: писать или воевать? Так славно было в румёте лежать, не вылезать до Пемброка в Онтарио, где мы должны были с Алёшей Виноградовым встретиться, чтобы опять искать. Но решил я сойти и в Виннипеге, канадском украинском центре, повидать украинцев. У них есть подобие зарубежного всеукраинского парламента – Свитовой Конгресс Вильных Украинцев, в нём встречаются иногда разные расколотые украинские направления, и при общем сослужении двух разных украинских церквей католической и как бы православной (самостийная, с неканоническим выбором епископов в 1918). А русские, разных церквей, напротив – и вообще не встречаются, и церкви их враждуют, двухмиллионная (точной цифры никто не знает) эмиграция рассыпана в мелкие саможивущие ячейки, обречённые раствориться в ничто. И останутся России и повлияют на неё – только книги мыслителей Первой эмиграции, споры между двумя войнами, да мутные выплески публицистов Третьей. Но что ж у украинцев? Как будто сплочённость – много ббольшая, а странно, какая-то бездейственная: ничего они не делают против советской власти, даже и не выступают весомо, а всё устремленье их: жить, жить на Западе, как оно живётся неплохо, и ждать, пока свалится на них с неба освобождение, сразу и от коммунистов и от русских. А уж если применять усилия, борьбу – то они готовы только против москалей. Виделся я с президентом Конгресса Куширом, со старшими чинами епархии, ещё собрали человек 20 здешних интеллигентов вечером поговорить, – и вот такое их настроение я везде уловил – и высказал им открыто: делить наследство много будет желающих, но как его завоевать? Один из присутствующих поддержал меня косвенно, упрекая соотечественников так: а сколько у Петлюры было? только 30 тысяч, а остальные сидели по хатам. (Да, этим самым и ясно, что украинская независимость в 1918 году была надуманной.) Украинский вопрос – из опаснейших вопросов нашего будущего, он может нанести нам кровавый удар при самом освобождении, и к нему

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru плохо подготовлены умы с обеих сторон. Бремя этого вопроса я постоянно чувствую на себе, во многом по происхождению. Я от души желаю украинцам счастья и хотел бы, чтобы мы совместно с ними и не во вражде правильно решили заклыйтый вопрос, я хотел бы внести примирение в этот опасный раскол. А ещё: я дружил с западными украинцами в экибастузском Особом лагере, где мы вместе восставали, знаю их непримиримость, и уважаю, как она там преломилась мужественно. В союзе против советской власти – там я не ощущал никакой щели между нами. Думаю, на Украине ещё найдутся многие мои товарищи по лагерю и облегчат будущий разговор. Не легче будет объясняться и с русскими. Как украинцам бесполезно доказывать, что все мы родом и духом из Киева, так и русские представить себе не хотят, что по Днепру народ – иной, и много обид и раздоров посеяно именно большевиками: как всюду и везде, эти убийцы только растравляли и терзали раны, а когда уйдут, оставят нас в гниющем состоянии. Очень трудно будет свести разговор к благоразумию. Но сколько есть у меня голоса и веса я положу на это. Во всяком случае, знаю и твёрдо объявлю когда-то: возникни, не дай Бог, русско-украинская война – сам не пойду на неё и сыновей своих не пушу. С виноградным посновали мы ещё по Канаде – нет, не находилось подходящего участка. Отлетела душа, не жить мне в этой стране. И предложил я Алёше поискать: может быть – в Соединённых Штатах? Какой тут штат из соседних? Вермонт? Тем временем мне уже надо было ехать в Вашингтон выступать, да и готовиться же. Переехали в штаты близ "Тысячи островов". Всякий раз при пересечении канадско-американской границы одно и то же впечатление: переезда в опрятность, твёрдо ведомый простор. Да, видимо, жить – в Соединённых Штатах. И совсем тут не скученно, как представлялось, – куда! И природа здоровая, и леса не порублены, отличные стоят. Тут находила уже Троица, и ко всенощной мы с Алёшей успели в Джорданвильский монастырь, я полагал – не там ли мне и остаться готовиться к выступлениям, я упустил, что Троица здесь – престольный праздник, был большой съезд богомольцев, все помещения забиты. Производит впечатление монастырь: в таком далеке вот укоренился, и стоит русский дух, как ни разъедаемый со всех сторон чужою современностью. Но и далеко же пришлось отступить русской Церкви, уехавшей в 1920 на Балканы, на какие-нибудь короткие годы! Кроме монастыря тут – семинария, типография, и, разумеется, повсюду портреты Николая II. В этом – безнадежно, печально отказывает им чувство развития, чувство будущего. И на портале второго, кладбищенского, храма одна надпись вся о царской семье (они считают их первомучениками революции, как-то совсем упуская тысячи расстрелянных до). Зато по другую сторону входа всесоединяющая: "В молитвенную память всех Вождей и чинов Белого Русского Воинства, Русского Корпуса, Русской Освободительной Армии и всех, в борьбе с безбожным коммунизмом живот свой положивших, в смутах умученных и убиенных, имена Ты, Господи, веси". А у нас, в Союзе, даже произнести эти наименования нельзя без проклятий. А ведь – всё же соединится, всё признается когда-то. Наехавшими русскими были заняты и все гостиницы за двадцать миль от монастыря – и отвёз меня Алёша на озеро Отсиго, северней Куперстауна, я только потом сообразил, что это места Фенимора Купера, с детства исчитанные. На своей машине Алёша уехал, а я остался на мели в мотельном домике. Были у меня разбросанные политические заметки последнего года да коротковолновый радиоприёмник со свежими новостями, но они тоже сильно подстёгивали, чего ни тронь. Америка пыталась смазать и скрыть своё мучительное поражение в Индокитае. Да теряла влияние и на Индию. (Как раз в те дни Индира Ганди объявила диктатуру. А разве, правда, Индии – срьбодна западная демократия? ведь навязали ей как обязательный образец – но совсем не по индийскому самобытному устройству.) Уже и в Африку коммунизм просочился, уже и за Анголу принялись с успехом. Так ясно мне было, что коммунизм – не вечен, что изнутри – он дупляст, он сильно болен, – но снаружи казался безмерно могуч, и вон как наступал! А наступал потому, что робки были сердца благополучных западных людей, робки именно от их благосостояния. Но против коммунистов, как и против бурок: надо проявить неуступную твёрдость – и перед твёрдостью они сами уступят, твёрдость они уважают. Однако – кто же эту твёрдость проявит? С какими ясными взглядами и с каким неуклончивым сердцем должен прийти следующий американский президент? откуда он возьмётся? Да. Тишина и одиночество, без них бы я не справился. Большой был труд повернуть и поволочить душу на этот одноразовый быстротекущий политический бой, сперва очень через силу, а потом уже и в разгоне. Труднее всего преодолеть инерцию, менять направление, а уж состоять в принятом движении значительно меньше требует сил. Так я проработал всю Троицу, четыре дня, и, в общем, обе речи уже наметились: первая – в основном о Советском Союзе как государстве, вторая – о коммунизме как таковом. Потом заехал за мною русский эмигрант из сенатских сотрудников, В. А. Федяй, темнолицый полтавчанин, сухо-энергичный, и на автомобиле повёз меня в Вашингтон. То было много часов езды и уже одни политические разговоры с ним, передавал он мне жёлчно-лимонное клочотание приправительственных кругов,

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru клубень тамоших интриг, расчётов. Этот клубок оказывался ещё темней и бессердечней, чем я представлял. Страна велась не отзывчивыми человеколюбцами, а проклятыми политиками. И кого из них, к чему я мог склонить, подвигнуть? Проехали разнообразно очаровательный "верх" (север) штата Нью-Йорк, потом стандартными дорогами, и к вечеру въехали в Вашингтон. Два первых впечатления были: грандиозный храм мормонов (стоящий особно и допуск не всем) и - в центре столицы одни негры. (Белые отъезжают в дачные пригороды, негры занимают центр, объяснил Федя, - по мне диковато выглядит.) Поселил меня Мини в отеле Хилтон, на каком-то высоком этаже, в так называемом "президентском" номере - непомерного размаха, не комнаты, а залы, - и полицейский пост обосновался у моего входа. Так вот как бытуют крупные политики? - направляют массы, по возможности с ними не соприкасаясь. Теперь ещё три дня, в заточении и с кондиционером, мне оставалось продолжать подготовку. Большой труд был - найти умелого синхронного переводчика; все такие, кто в Вашингтоне есть, связаны с советско-американской деятельностью, а значит закрыто им переводить меня. К счастью, нашёлся ООНовский нерегулярный переводчик - талантливый и русско-сердечный Харрис Коултер, так мы с ним сошлись, хоть кати в годичное турне из одних речей. Полное доверие давало возможность накануне готовиться с ним - то есть приблизительно произносить завтрашнюю речь (она не была написана) и так размерять время и помогать ему подбирать перевод трудных мест. Первую речь, однако, он не решился брать на себя один, подыскали сменщицу, какую-то даму, странную: русская, но не советская, переводила очень способно, даже отдаваясь работе в некоем транс-отсутствии, - однако с первого же прихода предупредила меня холодно, что абсолютно не разделяет моих политических взглядов и желает остаться от них в стороне, - заявление, не обычное для русского эмигранта, но, видимо, слишком ценила советские заказы. После первой речи исчезла. Перед самым моим выступлением, как и уговаривались, прилетела Аля мне на подкрепу - и сразу вывела меня из затруднения хорошим советом. Речь моя горела во мне - не дословно, но доммысленно, - и я считал бы позором читать её, как читают все советские шпартгалышки, да и на Западе многие. Однако специальная задача - нигде не сбиться с порядка мыслей и нигде не упустить удачных выражений - сковывала напряжением, меняла весь тон речи, лишала её непринужденности и, значит, воздействия. Сплошного текста у меня не было, а тезисы были сведены уже к пачке половинок ученической странички. И Аля посоветовала: так и выйди с ними, держи их в руке, без помехи жестам, а понадобится - заглянешь. Простая мысль, простая форма, но каждую надо найти. Так я и сделал, и сразу спал обруч с моей головы, стало dokonечно легко. Найдена была форма - на сто речей вперёд. И, действительно, по разогнанному своему состоянию, я мог тогда ехать произносить хоть и сто речей, да сам себя ограничил. Присутствовало тысячи две зрителей, и почётные приглашённые (был военный министр Шлессинджер, экс-военный министр Мелвин Лэрд, американский делегат в ООН Патрик Мойнихен). Вначале был общий ужин, как это у американцев полагается, сидели и мы, президиум, профсоюзные вожди - на сцене лицом к публике и тоже сперва лопали (ужасный обычай!). Потом меня смущало: так, от столиков, не все докончив десерт, меня и слушали. При вступлении Джорджа Мини очень трогательно было, как пригласили на сцену двух бывших зэков Сашу Долгана (через Тэнно мы были с ним знакомы в Москве) и Симаса Кудирку литовца, выданного американцами, но ими же незадолго перед тем и вызволенного. И мы крепко глубоко обнялись и расцеловались перед этими несведущими, небитыми, но и небезнадёжными, открытыми же к отзыву людьми. Не волновался я - нисколько, да и по прежним выступлениям так ожидал. Хотя подобного, как нынче, ещё не бывало у меня: ощущение - холма международного, что говорю и вдаль, и надолго. Освобождённость от напряжения памяти давала последнюю нужную свободу каждому движению и произнесению. Начало я приставил неожиданное: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!", ещё не привязав ни к какой фразе, так чтоб это оглоушивало, как будто залетел по ошибке советский агитатор, - а потом объяснил, что это советские зэки протягивают руку американским профсоюзам, которые и действительно, может быть одни в мире, в страшный конец 40-х годов не предали их, постоянно напоминали о лагерях рабского труда в СССР, даже издбали карту советских лагерей. (Но острбота моя до профсоюзных лидеров, кажется, не дошла, так и приняли за чистую монету: пролетарии всех стран, пора соединяться!) От чего ещё я был в этой речи* свободен - от всякого сомнения в нужности, своевременности, силе удара и направлении его. Я бил - по людоедам, и со всей силой, какая у меня была. Копилось всю жизнь, а ещё страстней прорвалось от гибели Вьетнама. Думаю, что большевики за 58 своих лет не получали такого горячего удара, как эти две моих речи, вашингтонская и ньюйоркская. (Думаю - пожалели, что выслали меня, а не заперли.) Хотя я приехал в штаты и на год позже, чем звали меня, чем был наибольший ко мне размах внимания, - но и сейчас не опоздал. Правда, многие были ошеломлены такой моей резкостью, телевидение,

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru хотя и крутило с балкона непрерывно, выступления моего не стало передавать. Рассерженная столичная газета даже назвала мою речь глупостью, но иные комментаторы сразу же сравнили эти речи с Фултонской речью Черчилля (о сталинском "железном занавесе"), и я, без избыточной скромности, с этой оценкой внутренне соглашался. Нужно было пройти годам двум-трём, как прошло сейчас, чтобы я, перелистывая эти речи, сам бы удивился своей тогдашней уверенности. По большому внутреннему повороту, сейчас я бы таких речей уже не произнёс: уже не ощущаю я Америку таким плотным, верным и сильным союзником нашего освобождения, как ощущал тогда. Нет. Да если бы я знал! если бы кто-нибудь мне тогда показал позорный закон 86-90 (1959 года) американского Конгресса, где русские не были названы в числе угнетённых коммунизмом наций, а всемирным угнетателем (и Китая, и Тибета, и "казакии", и "ивдель-Урала") назван не коммунизм, а Россия, - и на основе того-то закона каждый июль и отмечается "неделя поработённых наций" (а мы-то, из советской глубинки, как наивно сочувствовали этой неделе! радовались, что нас, поработённых, не забыли!) - так вот и было лучшее время мне ударить по лицемерию того закона! - Увы, тогда не знал я о нём, и ещё несколько лет ничего о том не знал*. Только до наших соотечественников в Союзе мало доходил мой заряд: "Голосу Америки" передавать меня давно запрещал Киссинджер, а Би-би-си и даже "Свобода" тоже стали избегать такого "авторитариста", каким размалевали меня после "Письма вождям". На наш вечер Мини коварно приглашал и Государственный департамент, и лидеров Конгресса, и президента Форда. Но, разумеется, никого тех не было, ни Форда. Детантшик Киссинджер строго его предупредил, опасаясь испортить отношения с СССР. 26 июня 1975, за четыре дня до моего выступления, Госдепартамент послал в Белый дом меморандум, где говорилось: "Советские власти, вероятно, восприняли бы участие Белого дома [в банкете в честь Солженицына] как сознательно поданный отрицательный сигнал или как признак слабости администрации перед антисоветским давлением изнутри: Встреча Президента [с Солженицыным] не только обидела бы Советское правительство, но и вызвала бы споры вокруг мнения Солженицына о Соединённых Штатах и их союзниках: Мы рекомендуем, чтобы Президент не принимал Солженицына"**. До этого момента Президент меня и не приглашал, и сам я никакого желания пойти в Белый дом не высказывал, это и не обсуждалось. Но кто-то из наскокливых журналистов чуть передёрнул ситуацию или сам понял неверно, стал допрашивать пресс-секретаря Белого дома, почему Президент меня не принимает, а тот растерялся и стал выдвигать причины, к тому же не лучшие, почему этого до сих пор не произошло. И так создалась легенда, что мне было отказано в посещении Белого дома, - легенда, неожиданно больно ударившая потом по Форду. (Его обвиняли, что он "оскорбил Солженицына", хотя я ни в чём тут оскорбления не вижу.) Вашингтона нам увидеть почти и не пришлось - одна прогулка с Ростроповичами близ монумента Линкольна, один концерт его в Кеннеди-центре, часовая пробежка по библиотеке Конгресса, да Аля улучила сбегать в маленький, но изысканный музей импрессионистов. Ещё соблазнились посмотреть Макарову в американском балете, попали на два поспешно и нелепо склеенных отделения растерянную классику с Макаровой и натуралистически испуганную эротику американской труппы. Мы даже прошли к Макаровой за сцену, из чувства соотечественного, но возникла только обоюдная неловкость: ни к чему, ничто нас не объединяло. Ещё - в день американской независимости съездили мы в город Вильямсбург, штат Вирджиния, - декоративно воспроизведённую трёхсотлетнюю их старину и ремёсла. Там был и парад, в костюмах XVIII века, со старыми колесницами и пушечками. Едва нас доставили в Нью-Йорк, в отель "Американа", на какой-то немислимый этаж, где воздух был только от нагнётной машины, а вид из неоткрываемых окон совершенно дьявольский - ущелья улиц с тараканами автомобилей внизу (добрая треть их - жёлтые, оказывается, это их такси), вокруг - нечеловеческие небоскрёбы (с 20-метровыми рекламами курения), а на крышах, тех что пониже, непрерывное извержение пара (отработка системы охлаждения), - как разразилась над этим городом могучая гроза, словно в "Мастере и Маргарите", и дважды, подряд. Даже непугливая Аля перепугалась, а я сказал: "Хорошо! По народному поверью - это добрый знак. Всё-таки и над такой нелюдской затеей Божья милость!" А страшнее города - не знаю. В клетке номера, и опять под охраной полиции, я и остался запертый до того часа, когда меня спустят в лифте сразу пред новую публику, на новый банкет держать следующую речь. Без воздуха и с этим постоянным сатанинским видом из окна, положение - вполне арестантское, не позавидуешь политическим деятелям. И нью-йоркскую речь* я произнес, 9 июля, с той же страстью и уверенностью, ощутимо доставая копьём до пасти и боков моего природного Дракона, чувствуя, как местами пробивает и вонзается. Добавляя, что ещё коммунистам не досказано. (Профсоюзы издбали те речи тиражом 11 миллионов экземпляров, а КГБ именно с того времени и начало стряпать против меня злостную псевдобиографию - чеха Ржезача, с помощью ростовских и иных гебистов.) На другой день я проводил Алю снова на швейцарский самолёт, в Цюрих, - а сам ещё всё не

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru мог кончить выступать, накидывали на меня новые петли. В воскресенье выступил в самой смотримой политической телевизионной передаче "Встреча с прессой" (но и в эти полчаса умудрились нас, оказывается, прервать рекламой бюстгальтеров). Я ожидал с корреспондентами большого боя и оспорения, но прошло мало интересно**. Все четверо в ряд важно сидели и пузырились в глубокомыслии, когда подходило им задать вопрос. Всё же пытались – сбить меня со сказанного в речах. Ощущение было, что видят во мне – врага. Только старый знакомый Хедрик Смит, смекая мой подсоветский и европейский общественный вес, не пошёл в атаку, а напоминал зрителям, как он встречался со мной в Москве и в Цюрихе. И на другой же день поволокли меня ещё на одно телевизионное интервью – в пользу "Из-под глыб". (Моим именем удалось распространить наш сборник по Соединённым Штатам сверхожиданным тиражом.) А интервьюерка – американская, оказывается, знаменитость Барбара Уолтерс – ещё опоздала на 20 минут. Ни за что бы не ждал, ушёл бы, – так "Из-под глыб" жалко. А она пришла – и закидала меня вопросами об американской политике и Киссинджере. Я тяну на "Из-под глыб", она тянет на политику, и так наговорили полчаса. А передача 15-минутная. Смотрю на другой день – передали одну политику. Схватился и написал этой Барбаре пригрожающее письмо: мне надо сделать важное заключение об американской теле-медиа, и я сделаю его на основе того, будут ли переданы вторые 15 минут, о сборнике. Через неделю смотрю – передаёт. За минувшие две недели центральная американская пресса успела достаточно заляпать мои выступления. Хотя и встречалось в отзывах, что "Западу всегда полезны напоминания об угрозе коммунизма и его коварстве", и были отзывы трезвые, но в главных лилось: "Солженицын призывает нас к крестовому походу для освобождения его соотечественников (а я – ни словом ни духом не призывал!) ... в атомной войне погибнет и Россия, освобождения которой так горячо добивается Солженицын". Тонуло возражение "Вашингтон стар", что я совсем не зову Запад к крестовому походу, а лишь прошу перестать помогать угнетателям, – свободная американская пресса исключительно тугоуха к тому, что ей невыгодно слышать, она предпочитает наслушивать то, что ей надо. "Обладает тонким пониманием жизни в СССР, но мало понимает Запад и его строй"; однако, к счастью, "мессианские утопические идеи Солженицына не разделяются другими выдающимися инкомыслящими из СССР, которые: верят в эволюцию марксизма в сторону парламентской демократии". А "Голос Америки", в равнении на Киссинджера, составляя обзоры печати для советских слушателей, давал перевес враждебным откликам, выкапывая даже какую-нибудь "Кливленд пресс", утоплял для русских ушей смысл и значение моих выступлений. Успел я в Нью-Йорке ещё съездить в Колумбийский университет, два денька поработать в русском "бахметьевском" архиве, прочесть там несколько замечательных эмигрантских воспоминаний, жалею, что не дольше. Встречался с руководителями их "Русского центра" (оказались совсем чужие люди). Посетил (в Манхэттене, на границе Гарлема) овдовевшего Романа Гуля, нынешнего редактора "Нового журнала", да ведь участник Ледяного похода! Боже, как горько кончать жизнь в эмиграции и одинокому, в нью-йоркском каменном ущельи! А между тем уже было у меня телеграфное приглашение от 25 сенаторов – ехать встретиться с ними в гостевом зале Конгресса. (Кто-то из политиков затревожился, что упустили меня.) Нет, эта страна замотает! И вот я снова ехал в Вашингтон, на этот раз своим любимым способом, поездным. И в вагоне дорабатывал речь для сенаторов, в этот раз короткую, – и решили мы с Коултером, что я её напишу, буду читать с готового, и он тоже переведёт с письменного. 15-го июля нас ждали в Конгрессе. Полиция остановила движение на перекрёстке, и два сенатора, претендующие на меня особо, – республиканец Хелмс (это он выдвигал меня в почётные граждане США) и демократ Джексон (как ярый противник СССР), – ухватили меня на выходе из машины. Джексон выражал радость как будто величайшую в своей жизни, а глаза – пустые, мне даже страшно стало: вот политика! Вели меня через какой-то коридор, где аплодировали с хоров, затем в ротонде перед смешанной публикой – с тридцать сенаторов, с тридцать конгрессменов, и просто кто пробрался, – мы с Коултером читали речь малыми кусками, попеременно, и читалось настолько сразу, как бы лилась сплошная английская речь, а два ведущих сенатора теснились с нами на трибуне, оспаривая близость. Сейчас, в 1978, перечитываю эту речь* – ну право хорошо, взвешенно, и легко далось мне тогда. (Сейчас, мне кажется, я этого бы произнести американцам не мог. Это всё было о том, как народам друг друга понять при разности опыта и как этот опыт можно передать словесно, – в такую возможность я верил в нобелевской речи и ещё верил в сенатской, но уже полугодом-годом позже отчаялся.) Очень я призывал всех их подняться до мирового сознания, до мирового уровня, до великих людей (всё время и сознавая, что не только нынешние деятели не таковы, но американский избирательный процесс свою натужную шумихой и мощным денежным вмешательством закрывает великим и независимым путь наверх). После речи, по американскому обычаю, шла на рукопожатие длинная вереница представляющихся. (Среди них –

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru итальянский сенатор Лонго, что имело последствия. А когда в конце подошли две дочки Ростроповича, Оля и Лена, и я их обнял, пресса сфотографировала и представила как поцелуи сотрудницам Белого дома.) После речи мы прошли в кабинет Джексона (упруго ощущая и локоть Хелмса) – и тут зазвонил телефон из Белого дома. С американской быстротой реагируя на мою речь, 10 минут назад произнесённую, штаб Президента приглашал меня к нему немедленно, вот сию минуту! Нет уж, сейчас, после газетной трескотни, что мне "было отказано", – спасибо за милость, – я отказался. Тогда к телефону взяли Хелмса и давили его по республиканской линии, а он от телефона упрасивал меня – но я был непреклонен. Вот истинная история, почему не было приёма в Белом доме, – а вся вина так и повисла на бедном Форде. Вашингтонская жизнь не давала соскучиться, и в ближайшие часы подала мне ещё одно следствие моих речей и поступков: Лэйн Кёркланд (заместитель Мيني), у которого я в этот раз остановился, позвонил домой жене готовиться к ужину: вечером будем принимать вице-президента Нельсона Рокфеллера. Так всё и случилось. Приехал Мيني, позвали Коултера переводить – и прибыл вице-президент. (Тем временем его личная охрана оцепляла дом.) Надо сказать – вопреки моим пожеланиям в сенатской речи, вице-президент поразил своей незначительностью, бесцветностью, уже по наружности, уже по началу, но всё более выявляемой за те три часа, что он скучно просидел, несколько раз возвращаясь к своему полученному заданию: убедить меня встретиться частным образом с Киссинджером! (Хорош вице-президент на побегушках у государственного секретаря!) Что я зацепил московского Дракона – я не сомневался, но, оказывается, здорово же задел я и Киссинджера, если он, запретив Президенту меня принять, сам спешил теперь устроить со мной какую-то мировую, или как-то усмирить и обволочить. Нет, никакая закулисная частная встреча с ним мне была не нужна. Да и вообще я уже усваивал: с людьми неясными – лучше всего не встречаться, чтобы не дать им возможности потом придать встрече ложное истолкование, это – правило общее. Но с главным вьетнамским капитулянтom мне было бы встретиться ещё и невыносимо. Сколько ни уговаривал Рокфеллер, я: нет, нет, нет. (Остальной вечер Кёркланд с женою и Мيني критиковали вице-президента, что их правительство предаёт Израиль, хотя никак не было на то похоже.) В те дни не слишком прочно, не слишком глубоко, а какой-то поворот или остановку падения в американском сознании мне, кажется, всё же удалось совершить. В те дни оно прокачнулось через свой вьетнамский надр и стало всё же взбадриваться. В Вашингтоне получил я письмо от Али, уже из Цюриха, а в нём – и первое в жизни "письмо" Ермаши, коряво-печатными буквами. Такое вспыхнуло чувство у меня, будто сын заново родился. С этих его строк стал я его ощущать уже личностью. Не давая больше ни во что меня зацеплять, почитая объём произведенных выступлений законченным, дальше только инфляция, я уже на другой день исчез из Вашингтона. Ещё несколько частных визитов (устроили мне в доме Добужинских встречу с однополчанином моего отца в Первую войну). Но не так просто вырваться из вашингтонской карусели: вдруг, на толстовской ферме под Нью-Йорком, узнаю из газет, что Белый дом заявил прессе: если только я захочу – я буду охотно принят Президентом. Догадались, наконец, перевалять на меня! Правила игры требовали немедленного хода. А тут как раз нависала Хельсинкская конференция. И я это связал: Президент Форд уже объяснял, что "символическая" встреча никому не нужна. Совершенно с ним согласен. Вот если б я мог отклонить его от признания в Хельсинки векового рабства Восточной Европы, я и сам бы добивался встречи с ним. Но уже впустию: он едет подписать. С толстовской же фермы позвонили в "Нью-Йорк таймс" и передали моё заявление*. (Сейчас нахожу: очень резко. А из Белого дома и в августе писали в письмах-ответах избирателям, что Президент ещё надеется организовать со мной встречу. Кисло ему отдалось...) Сидел я за обедом у Александры Львовны, и мы удивлялись замысловатости русских путей в этом веке. Вот – я здесь. И ведь это я ей ещё из ссылки собирался посылать-доверить свой анонимный пакет первых микрофильмов. И о ней уже написал в "Архипелаге". Теперь надписываю ей "Август" – как возвращаю Толстому то, что без него бы не родилось. И – дочь генерала Самсонова – да! – сидела с нами за столом! и уверяла, что я вылепил её отца совершенно как он был. Высокая для меня похвала. Дела мои на этом континенте исчерпывались. Ещё – впервые! – встреча с Вильямом Одомом, "невидимкой", близ Вест-Пойнта, и мог я теперь крепко пожать руку человеку, вывезшему половину моего архива, половину моей жизни. Ещё летняя русская школа в вермонтском Норвиче. А что же – мой новый дом, где же он? Ведь я, кажется, уже переехал в Америку, и теперь бы мне нырнуть к себе? увы, вермонтские "риэлторы" ещё ничего путного Алёше не предложили, ни дома подходящего, ни даже голого участка. А у него пока прекращалась возможность со мною ездить. И так работать мне было – нигде, пропало время. Переезд не состоялся, планы сорвались, и надо было (со всеми чемоданами) возвращаться в Европу: ясно стало, что в Цюрихе нам ещё год годовать. В Монреале Алёша посадил меня на самолёт. Минула укороченная ночь –

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru разодрал я тяжёлые глаза 1 августа, а газеты, предлагаемые пассажирам, сообщали о торжестве Хельсинкской конференции. (Спасибо, Люксингер в "Нойе Цюрхер цайтунг" предвидел, что на историческом разлёте – прав окажется не Киссинджер, а я.) Ещё эти Хельсинки утяжелили мой и без того тяжёлый, черезсильный, неохотный возврат в Европу. Сошёл я на землю не своими ногами, ах, потерянная какая-то, резкое ощущение не того места жизни. Тесно! Я вернулся в Европу, но и как бы не вернулся. Что-то места себе не находил. Да ведь – сколько времени потеряно! Три месяца я не прикасался к своей работе! И Али дома нет. Она, воротясь из американских поездок, решила поехать со всеми четырьмя сыновьями, со всем малым выводком – в православный детский лагерь РСХД под Греноблем, во Франции. Такие летние лагеря, или скаутские, или "юных витязей", русские эмигранты, по всему их рассеянию, заботливо устраивают в усилиях дать своим детям родную детскую среду при наглядке добрых воспитателей, окуная их в русскую душевность, укрепляя у детей и русский язык, и веру. Вот это же и наша гвоздящая задача: как вырастить детей за границей – и русскими? Для троих младших уже больше года все, кроме домашних, – иностранцы, говорят – не поймёшь. А в лагере – ошеломление: все вокруг – по-русски! (Уж там – худо-бедно, но по-русски...) Трудно досталось Але с маленькими, в лагере все дети старше, но поездка была успешной и вспоминалась долго. А тут, за три месяца отлучки, набралось почты, почты – и в ней: приглашение от князя Лихтенштейнского посетить его збамок, над столицей Вадуц. Этот самый князь Лихтенштейнский, Франц-Иосиф II, теперь уже старик, в 1945 не побоялся принять у себя отступающий из Германии русский отряд в шестьсот человек, с семейным обозом, – и когда все великие державы трусливо сдавали Сталину солдат и беженцев, князь крохотного пятачка не сдал никого! (Лишь человек сто потом потянулись в советский плен добровольно.) И мы с В. С. Банкулом уже раз подъезжали к тому замку, ещё непрошенные, весной, по пути в Италию, – выразить князю признательность от русских. Было утро. В замке на горе жизнь ещё, по-видимости, не начиналась, да снаружи что увидишь в каменном туловище с узкими окнами. У ворот замка я написал записку по-немецки: "Ваше Высочество! С удивлением и сочувствием смотрю я на это маленькое государство, нашедшее своё скромное и устойчивое место в нашем суматошном беспорядочном мире. Мы, русские, не забываем, конечно, что оно имело мужество приютить у себя солдат русской армии в 1945, когда весь Запад близоруко и малодушно предавал их на гибель". Мы постучали у ворот, привратник пропустил нас – через ров, через мост, по мощённому въезду меж каменных стен – в одноэтажное каменное здание. Секретарь оказался высокий седовласый старик в чём-то бархатном, ну буквально из Андерсена. Тут подоспел и премьер-министр, тоже стилизованный, и принял от меня записку. Потом, месяца не прошло, – на торжестве в Аппенцелле были и князь с княгиней, мы познакомились. И, вот, вослед они послали приглашение – а я уже уехал навсегда в Америку. Но теперь, воротясь, и в неустоявшемся настроении, ещё ни к какой работе не прилажась, – вот и съездить. Поехали опять, с Банкулом. Сегодня в Европе достаётся видеть збамки, но уже не жилые, а здесь жила обильная семья в трёх поколениях, семейные покои, дети с игрушками – и окна-бойницы, узкие лестницы в камне, в подвале – музей рыцарского оружия, обед сервирован в рыцарском зале, слуги в камзолах, высокий старик князь держится благородно по-монаршьи, а дочь князя, вот тебе нба, – служит в Вашингтоне у какого-то американского сенатора. За столом был и бывший премьер, 1945 года, который вёл тогда переговоры с генералом Хольмстоном-Смысловским и принял его отряд. И сам генерал сейчас, оказывается, тут же, в Вадуце. И после поездки с княгиней на высшую вершину княжества, где у них современный дом и приглашают меня работать зимой, – едем мы к Смысловскому, а это оказывается Борис Алексеевич, сын моего персонажа из "Августа" и давно мне известный по семейной истории, ибо я в Москве знаком со всей семьёю. И сразу так тепло и всё взаимно понятно. Благодатные стеснённые камни Европы! – не обезличенные американские придорожные городки. Сколько тут струится! Вот и поселиться бы мне в Лихтенштейне, в горах? Ах, как верно найти свою точку, свою прикрепу?.. Ищу покоя и возврата к работе, так надоело мотаться в политической мельнице. А – где работать? Штерненберг в этот летний месяц был занят. А в нашем доме на мансарде, накалённой в зной, и совсем невозможно, и город вокруг гремит, и в крохотный дворик всё заглядывают прохожие, – где тут работать. От этого – ещё тоскливей. Да, так писем же, писем сколько меня ждало, писем на всех языках, уже отсеянных, ответных Алей и помощью Марии Александровны Банкул (как и муж её, она в совершенстве владела главными европейскими языками, а в Цюрихском университете преподавала русскую литературу). И – как уходить в исторический роман, когда вот томится, ждёт тебя месяц (а написано три месяца назад, но доставлялось не почтой, а какой-то оказией) объёмное содержательное письмо, а первые слова его: "Я обращаюсь к вам как к соотечественнику, писателю, борцу, человеку и христианину! Мой долг рассказать и доказать правду, свидетели которой вынуждены пока молчать". Как не

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru оледениться? как не схватишься? (И разве один такой воззв? и как за всеми поспеть?) Это был душераздирающий случай с Любой Маркиш – жертвой и инвалидом приоткрывшейся страшной советской практики: испытания новых отравляющих веществ на неподозревающих людях, например, на студентах-химиках, лаборантах. С ней случилось это 7 лет назад, в Московском университете, с тех пор она эмигрировала, жила в Штатах, но вот и она опоздала мне всё это рассказать, пока я был в Нью-Йорке, мог бы об этом злодеянии сказать публично. (От нашего фонда мы установили ей стипендию для написания рукописи. Она начала её писать, но почти сразу вездесущие советские агенты стали терроризировать и её, и заступника её Давида Азбеля, учёного-химика, бывшего советского. Пыталась Аля устроить, через Максимова, чтобы Любу включили в сахаровские Слушания в Дании, – поразительно! – не захотели выслушать её сами устроители, сахаровского круга! Тогда Аля добилась, с большими хлопотами, чтобы Любу выслушали в сенатском подкомитете. Но и протоколы этих показаний "в интересах Америки" не были оглашены.) И откуда же набраться энергии, чтобы не уставать гласить правду? и сколько сходных случаев, тоже нетерпимых, где набрать времени и усилий? Только вернулась Аля с детьми – к нам, 25 августа, приехали два высоких полицейских чина в штатском. Один – стройный, седоватый, сухой, красивый, уже и прежде мелькал близ нас на аэродромных снимках, когда я встречал семью из Москвы. Оказывается, был он и в мой первый приезд из Германии, на цюрихском вокзале. Теперь предупредил меня – и как пропитана провокаторами чешская эмиграция в Цюрихе, и что, по данным и других европейских полиций, я числюсь в списке у интернациональных левых террористов. Спасибо. Да иначе и быть не могло, я знал: что ж Советам – дремать и всё моё сносить? А сам я, в гремящем городе, пропадаю без устояния работы. Ангел наш хранитель Элизабет Видмер пришла на помощь, разыскала мне приютом – хутор Хольцнахт на базельском нагорьи: большая трёхэтажная дача, дюжина комнат, принадлежащая многочисленной семье, но на эти три месяца все обещали не приезжать, и действительно, три месяца никто меня не потревожил. Тут пейзаж был, в противоположность Штерненбергу, – совершенно замкнутый лесками и холмами травяной склон, как бы большой двор. Чтоб увидеть далеко, надо было подняться на один из холмов, и тогда открывался большой горный обзор, даже на стык швейцарской, французской и немецкой границ. Но из окон, с крыльца и продолговатой веранды во все стороны виделась эта успокоительная близкая замкнутость. Тут уже не было ни проезжих машин, ни прохожих туристов, до домика бауэра метров четыреста, – действительно попал я в одиночество, да горно-осеннее, очень плодотворное. Старинные резные оконца, старинная мебель, из близкого леса таскал себе дровишки, по вечерам накалял кафельную печку, базельское радио (частотная модуляция) полно классической музыки, то вышагивал, вышагивал по 15-шаговой веранде, а спать подымался в нетопленую спальню с открытыми окнами. И постепенно совершилось отключение, успокоение, поворот на свою тему. Поворот – но не так легко снова войти уверенно в работу. Стал перечитывать свой, уже немалый, "Дневник романа о Семнадцатом". Сколько же теперь находил и оброненных намерений, невыполненного. Исторический роман, да такого охвата событий, – тут нет готовой науки. Теперь – и уже напечатанный "Август Четырнадцатого" стал казаться мне сильно неполным. Главное, чего там нет: как прорезался по России 1905 год, но и как после него Россия стала, до 1914, бурно расцветать, Столыпин. И революционеров я почти обошёл в военном этом Узле, – а нужны они! Сказывался, болел и шов между "Октябрём Шестнадцатого" и пропущенным "Августом Пятнадцатого". И "Октябрь" сам – ох, не кончен, нет, ещё переписывать многое. А семь лет работы – прошло. Так что ж, вообще мне не справиться? невыполнимая задача? Но ведь только ею я и живу. А я-то думал: сразу начинать третий Узел – "Март Семнадцатого", ещё более неведомая стихия, по темпу революции и всю методику написания надо менять, всю динамику. Думал, думал над этим, топтался, – решил пока взяться за личные сюжеты – да протянуть эти линии до Шестого-Седьмого-Восьмого Узлов? Так и сделал. Постепенно стал из кризиса выходить – и даже награждён был "лавинными днями", как я их называю (в прошлом, в Жуковке, их много было), они больше всего и вытягивают работу: по неизвестной причине в какой-то день, прямо с утра, вдруг начинают прикатывать мысли, мысли, догадки, да какие обещательные, да как повелительно! – только успевай, пока не ускользнула, записывать, записывать, одну, другую, третью, и так возбуждаешься, за столом не усидеть, начинаешь ходить, ходить, а мысли, картины, сцены всё прикатывают и прикатывают – ох, успеть бы хоть бегло, не дописывая слов, занести на бумагу. Но именно в те три месяца, что я прожил в Хольцнахте, внешний мир часто дёргал меня и разжигал. Каждый раз, как я шёл к бауэру позвонить Але в Цюрих, – почти всегда узнавалось какое-нибудь беспокойство, требующее решений, мер, шагов. То – волна газетных клевет. Клеветы какие-то новые, "дружественные". Итальянский сенатор Лонго (с которым рукопожались в сенатском зале перед фотоаппаратом) напечатал большой рассказ о якобы состоявшейся потом со мной

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru 40-минутной беседе с глазу на глаз, где я излагал ему свои взгляды на положение мировое и в Италии. То западногерманская газета "Националь цайтунг" напечатала на целую страницу большое "интервью" со мной, не назвав только: даты интервью, места его и фамилии интервьюера. А шли развёрнутые вопросы и ответы, и было это – довольно честное переложение сути моих американских речей. Но почему же, мерзавцы, в форме придуманного интервью? повысить цену своей газете? И такое же "дружественно измышленное" интервью в итальянском журнале "Культура ди Дестра". Разбой! С живым обращаются как с мёртвым! Вот это – свобода прессы! Да этих правых опасайся не меньше, чем левых, кожу сдерут. Выхода нет, печатать опровержение. [17]*. А тем временем не дремлют и левые. Благородный "Монд", очевидно, слишком тяготясь, как они этого Солженицына уже продвигали, печатает сенсационное сообщение, что я – еду в Чили, на двухлетие празднования режима Пиночета. Интересно, на что рассчитывают? Ведь как будто интеллигентский орган, должны бы понимать: если это ложь – легко опровергнуть, будет стыдно? Нисколько. Главное: подкинуть не проверяя сообщение, чтобы изо всех левых подворотен зубами потрепали "реакционный шаг Солженицына". Ах, он опровергает? – ну, пожалуйста, напечатаем, мелко-незаметно. А может, кто опровержения не прочтёт – так в памяти и останется. (И – осталось, и много лет меня печатно корили этой сочинённой "поездкой к Пиночету".) Нет, резкие выступления, подобные моим американским, – они небеспоследственны. Они вызывают целые вихри сочувствия или (больше) ненависти, которые ещё долго клубятся и меня же цепляют, и меня же опять затягивают. О, в политику только встрянь. То – австрийский союз писателей после моих выступлений желает слышать меня у себя и спорить со мной на симпозиуме (и австрийский канцлер Бруно Крайский тоже сам желает спорить), защищать идеалы социализма. Аля отвечает, что я не могу приехать, что я полностью ушёл в работу, и при этом как-то обмолвливается, что и связь со мной затруднена (имея в виду, что позвонить мне в Хольцнахт нельзя, телефона нет), – в австрийских газетах радостные заголовки: "Солженицын – в тяжёлой депрессии, никого не в состоянии видеть, даже жену", американское же агентство подхватило на весь мир. И Але со всех концов Европы звонят тревожно: "В депрессии?.. Ужас какой!" А на Лубянке-то, небось, как рады! Отзываются репликой, Аля шлёт её в дружественную нам "Нойе Цурхер цайтунг". Та от себя добавляет, иронизирует: "какие странности: писатель – не принимает посетителей, не читает писем и – вершина странностей! – не хочет поехать на конгресс Пен-клуба в Вену! Писатель сконцентрировался на своей писательской работе и для своей работы нуждается в тишине – это могли бы понять даже в кругах Пен-клуба". Тут – ищут контакта, хотя со мною тайной встречи какие-то официальные китайцы, находящиеся в Швейцарии. Ключули, ясно! – я для них находка, молот против советской верхушки. Но – нет, я вам не слуга, в ваших марксистских спорах разбирайтесь сами. Через посредника ответил, что на встречу не пойду. А тем временем "Телёнок" скоро выходит на немецком. И, дождавшись достаточно близкого срока, пресловутый "Штерн" делает выпад. Французское издание они уже упустили остановить, сколько-то месяцев прошло невозвратно, да, может, там и не стремились, – но в своей Германии "Штерн" не хочет быть опозоренным! Он ведёт линию, которую легко использует КГБ, – однако при этом хочет числиться германским патриотом. И он уже кусался с "Квик" из-за подобных обвинений, и очень успешно, его судов боятся в Западной Германии. И за мои слова он уже наускакивал на "Ди Цайт". (Кстати: вообще в западных странах очень характерна напористая наглость, с какой обвинённые в связях с ГБ используют западную юридическую систему: она легко позволяет ходить ни в чём не виновным, а письменных доказательств обычно и не бывает, а ещё когда в тылу прочная поддержка: сколько угодно денег, не боятся никаких забот и беспокойств.) И вот, когда в издательстве "Люхтерханд" набор "Телёнка" уже готов и начинает печататься тираж, – 2 сентября адвокаты "Штерна" подают в гамбургский суд требование остановить "Телёнка" из-за клеветы. Одновременно ими пишется бумага – издательству "Люхтерханд", издательству "Сёй" в Париж и мне в Цюрих (а я уже в Хольцнахте для спокойной там работы): что они дают всем нам сроку до 12 часов дня 5 сентября, это самое позднее, когда ждётся ответ. Во избежание штрафа, который будет наложен на нас земельным гамбургским судом, – откажитесь от утверждений: что статья "Штерна" (1971 года, о моей тёте и о семье Щербаков, тогда вызвавшая плотную советскую атаку на моё "соцпроисхождение"* напечатана стараниями КГБ; что главный редактор "Штерна" лжёт, когда утверждает, что его корреспондент посетил тётю Солженицына в Георгиевске (недоступном для иностранцев). Письмо это (простою почтой, не экспрессом) достигает "Люхтерханда" только 4-го, "Сёя" и Цюриха – позже, меня не застаёт, но ультиматум поставлен железно: не только сдавайтесь, но – не имейте даже времени подумать и снести. Сила и напор! 3 сентября победительный редактор "Штерна" Наннен, опережая письмо, звонит в "Люхтерханд" – и объявляет всё то же. Ещё и ранний сентябрь, время каникулярное, в "Люхтерханде" на месте – не главный редактор, а очень

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru слабонервный сотрудник, он сразу ото всего отказывается: "Люхтерханд" ни на чём не настаивает, но он ничего и менять не может, у него только лицензия от "Сёя", да он молниеносно сейчас будет сноситься с "Сёем". Наннен железно напоминает: он уже побеждал в суде против обвинений в связи с КГБ. На другой день, 4-го, в "Люхтерханд" приходит и сама бумага. Срока остаётся меньше суток. Адвокат "Люхтерханда", впрочем, знает ту гамбургскую адвокатскую контору, имел с ними дело, уверен, что ему сейчас отсрочат. Он шлёт туда экспресс и звонит – как бы не так! Именно тот главный адвокат (Зенфт), подписавший грозную бумагу, тотчас ушёл в отпуск, а без него никто ничего отсрочить не может! И 5-го после полудня гамбургский суд ввиду срочности вопроса постановляет: ответчикам воспретить – утверждать буквально или по смыслу, распространять, или создавать впечатление, или дать ему создаться, и особенно книгою "Бодался телёнок с дубом", что: (статья о моей тётке появилась стараньями КГБ; тётку посещал не корреспондент "Штерна"). А пока – ответчикам немедленно внести залог в 100 тысяч марок для оплаты процесса. И "Люхтерханд" умоляет "Сёя", адвокат "Люхтерханда" – хееба: убедить меня вычеркнуть полностью все оспариваемые места. Но никакое смягчение уже не поможет, даже и смягчённый вариант будет "создавать впечатление или давать ему создаться", что "Штерн" всё-таки связан с КГБ, – а это тоже запрещено, и книгу всё равно не дадут распространять. По немецкому праву всю тяжесть доказательства несёт оскорбитель – а Солженицын не сможет документально доказать, что "Штерн" связан с КГБ. И правда ведь, не смогу. А у "Штерна" – лучшие возможности остаться необвинённым. И доносится эта вся будоражка в мой уютный Хольцнахт, где я только начал настраиваться к "Красному Колесу". Может быть, тут первый раз, а потом и ещё замечал: при юридических столкновениях – физическое ощущение усилия в верхней части груди, как бывает мускульное при схватке руками, – а тут чем? Это схватка душами. Не свойственная для душ, низкая для них – и потому унижающая схватка. (И потом ещё – долгое последствие, опустошённость в груди.) Юридическая борьба профанация души, изъязвление её. Вступив в юридическую эру и постепенно заменив совесть законом, мир снизился в духовном уровне. О, юридический мир! О, свободное крючкотворство! Вот на этом и вонзается беспрепятственно СССР: ни агентов КГБ, ни взятки КГБ никто никогда не сможет уличить документально. Суд, утонувший в юридизме, захлебнувшийся буквенным законом, а нить духа теряющий, так часто даёт преимущество негодьям и обманщикам. Ещё же и процесс может тянуться месяцы и годы, это не им в ущерб. Итак, на Западе нельзя говорить об этих шакалах в тех неоглядных выражениях, как я говаривал о нависшей надо мной коммунистической власти. До Хольцнахта, к счастью, все эти подробности и многогранные немецкие адвокатские письма не докатываются (лишь вот сейчас, через три года, впервые в них разбираюсь), Аля заслоняет мою работу, сколько может, – но между Парижем, Цюрихом и Хольцнахтом напряжённо и тревожно трещат телефонные линии. Идиотское положение – а приходится отступать?.. Как глупо, как бездарно – отступать в выраженьях о КГБ, будучи на свободном Западе, когда на Востоке я так твёрдо стоял. Я отвоёвал себе там гораздо большую "свободу слова"!.. А теперь хоть лопни, хоть разорвись от негодования – а надо подписывать полномочие адвокату "Сёя" на тяжбу. И бросать свою работу, и листать, листать колючего "Телёнка" (вот что значит слишком рано печатать мемуары!): где эти места треклятые? и как их для немецкого издания спешно изменить, чтобы ничего не изменить? Задержать полностью всю книгу – ещё же глупей. К счастью, Клод Дюран из "Сёя", ведущий все мои литературные дела, очень хладнокровен и даже дерзок, есть в нём дуэлянтство бывалых французов. Он берётся, всё же, обойтись минимальными изменениями. Он предлагает такой фокус: в самом опасном месте пропустить только название "Штерн", поставить звёздочку сноски, а в сноске: что выражения, относящиеся к некоторому определённом западногерманскому журналу, подверглись сейчас судебному преследованию, и чтобы не задерживать книгу, автор пока пропускает их. Так мы и сделали (эти места – в главе "Нобелиана", в интервью с американцами), наспех, и, если разобратся, даже не в пользу "Штерна", а против него: сам он загнан в звёздочку, но многие помнят, какой журнал печатал разоблачения о моей георгиевской тётке. Зато мы усилили фразу: "гебисты-почитатели успешно навестили тётку (в Георгиевске, наглухо закрытом для иностранцев!)" – и что ж это значит? посетили – гебисты (а "Штерн" настаивает, что именно его корреспондент там был), только добавился намёк, что они выдавали себя за иностранцев, каковыми быть не могли. И рядом – как ГБ выловило "Прусские ночи" из Самиздата – и "тотчас же изблюбленный "Штерн" предложил рукопись в "Цайт"" – это место они не догадались оспорить. И в интервью с американцами осталось: что "Штерн" обладает в СССР особыми преимуществами – и сразу же пропуск – легко догадаться, чьё название снято. И тут же печатаем, что в Союзе писателей [Верченко] называли "Штерн" "источником, которому есть все основания верить", – и опять зловещий пропуск. Так получилось ещё выразительней, чем если б мы ничего не исключали. Дюран одурачил "Штерн"! И

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru кличка, что "Штерн" – бульварный, тоже осталась неоспоренной и присохла. Редко так легко проходит, Бог помог. О подробностях, как миновало, я потом так и не доспрашивался. Очевидно, твёрдо вёл себя Дюран, а "Штерн" был не очень в себе уверен почему-то. Во всяком случае, для меня самое невыносимое было бы – бросить Хольцнахт и ехать в эту свару. Обошлось, как-то глухо и безболезненно. А разобраться: как же легко заставить нас отступить! А там, в СССР, само собою не дремлют и продолжают – какие головы откусывать, над какими зубами клацать. Редактор "Вече" В. Осипов уж как старался быть лояльным по отношению к советскому правительству, с большой буквы его писал, всё силился увидеть в нём опору русских национальных надежд, даже главную силу полемики направил против меня как изменника этим надеждам, – но именно ему, а не левым диссидентам и не еврейскому оппозиционному течению, тоже со своим самиздатским журналом, достаётся сейчас крепкий удар – 8 лет второго срока и особый режим как "рецидивисту". В момент суда над ним нельзя и мне не отозваться, публикуя заявление*. (Из Хольцнахта от бауэра – Але в Цюрих, по телефону.) А там – Игоря Шафаревича, за сахаровский комитет по правам, за "Из-под глыб", отрешают от лекций в Университете, – это учёного со всемирной известностью! Даю публикацию** и рассылаю письма крупным математикам. А тем временем в Осло побеждает кандидатура Сахарова, я же когда-то и выдвигал его, я же недавно отстаивал его от Ж. Медведева, – тем более корреспонденты отовсюду дозваниваются в Цюрих: "а что вы думаете по этому поводу именно в данный момент?" Всё прежде по этому же поводу сказанное их уже не интересует, это – западная пресса, и что через 12 часов будет – тоже им не подходит, а вот – именно в данный момент. Аля публикует мой ответ***. Я рад был за Сахарова, и рад, что он усилится в СССР, узначится его защита преследуемых. Но так же знал, что самые взывающие преследования он по-прежнему будет усматривать в затруднениях эмиграции. И не переставал жалеть, что, платя и платя жизнью для утоления своей чуткой совести, этот великий сын нашего народа никогда не примет к сердцу задачу национального возрождения его. В этом году Сахаров опубликовал брошюру "О стране и мире". Заминался он в общем всё на тех же мыслях, не далеко уходил от своего "Размышления", семь лет назад, только изложение слабей – с неоправданной сменой высот, общностей и частностей. Но то был крупный удобный случай ему – высказаться по нашей с ним дискуссии, однако он уклонился: "сегодня я не вижу поводов для продолжения дискуссии" – (думаю, и не легко бы ему найти аргументы) – "позже Солженицын разъяснил и уточнил свою позицию", – так написал, будто я в чём-то отступил, – а отступал-то, значит, он? Открыл дискуссию, с эхом на весь мир, – и устранился продолжать её. Ну, Бог судья. Но и несколькими строчками ниже всё же оспаривал: "нельзя призывать наших людей, нашу молодёжь к жертвам". То есть – к "жить не по лжи", даже к этому. А – кого ж и к чему призывать, если вот вождей к образумлению тоже нельзя? Если внутри страны никого ни к чему не призывать – то только всё и ждать помощи Запада? И в том же сентябре никто иной как сын Столыпина попросил моей звучной поддержки какой-то малой группе решительных эмигрантов, которые под именем "конференции народов, поработённых коммунизмом" собирались в Страсбурге одновременно и параллельно Европейскому парламенту, чтобы успешнее обратить на себя внимание. И этой группе – тоже как будто отказать нельзя, ведь то и была моя идея: народам Восточной Европы всем помириться и обернуться против коммунизма. И я пишу такое обращение, позвучнее****. Вот так проходят мои тихие уединённые дни в Хольцнахте, то и дело бежать за 400 метров к телефону – или узнавать, или передавать. Все сообщения – одни раздражающие, кроме единственного: Алёша Виноградов без меня купил большой участок с домом в Вермонте, и не так дорого, – и, значит, наш переезд решён. Купил на себя как на доверенного: неподъёмно было мне через океан лететь-смотреть, как Алёша звал, не в силах я опять отрываться от работы. Тогда пусть Аля придет смотреть-решать. – Но Аля вообще ось нашей жизни, её вынуть нельзя ни на час. Так и покупается главное место, на годы вперёд, заочно! К счастью, Алёша не промахнулся. В каждый приезд ко мне в Хольцнахт – Аля много рассказывает о сыновьях. После летнего лагеря они быстро выросли к слушанью не-младенческих книг. Пушкинские сказки слушают – не дышат. А вот пошли дождливые дни – застала Ермошу с Игнатом на разложенном диване, восседают среди груды натащенных коробок, игрушек, махмушек. "Это что такое?!" – "Мы едем к папе, папу защищать". – "От кого?" – "От врагов. Вот – ему еда, вот машинка, чтоб он печатал, вот – валенки..." Играют в мой отъезд... Мысль о детях – успокоительна и как-то поддерживает меня. Ночью, когда не сплю, и отталкиваю мысли бередящие, – думаю о сыновьях, – хорошо! Я пишу обращение в Страсбург, но уже и раздваиваюсь, и голос мой расщепляется: чья надменность мне особенно горька – Востока или Запада? кто – безнадёжней к услышанию упрёка? кого мне особенно хочется пронять? – эту ли "гангрену, заливающую человечество", но злость на коммунистов хорошо выпалил и за минувшее лето – а кто скажет всё

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru горькое миру юридистско-коммерционному? Ни его сыны того не говорят, ни, тем более, приезжие. В эту осень как-то ещё так особенно горько складывались все радио-известия а я слушал их каждый день, и "Голос Америки" и Би-би-си, - распяляли меня вмешаться, сказать! Что текло из Америки - скорей свидетельствовало: ничто не сдвинулось, и так же продолжали они сдавать коммунизму мировые позиции и лебезить. После отставки Шлессинджера (оставшегося в моей памяти своим благородным видом и крепким рукопожатием) и нового служебного торжества Киссинджера - я не выдержал и сделал уже совсем политический шаг, которого не следовало, - написал статью в "Нью-Йорк таймс" (1 декабря 1975)*. Это была, от моего темперамента, грубая ошибка, слишком прямой отзыв на американские дела, и тон слишком резкий. Поспешно казалось мне, что в Америке мои речи несколько не помогли, - и я распаялся к новым, теперь уже в Европе. Особенно мучительно я пережил в эту осень растянувшиеся рыдания общественной Европы над приговором несколько испанским террористам-убийцам, и как мучительно-трогательно с ними прощались родственники, и лицемерное поведение всех европейских правительств, но особенно, особенно английского, - подхватились грозно защищать права и свободу там, где им менее всего угрозы и где не опасно защищать, - тогда как в сторону СССР они смотрели только от наклонённой спины. И особенно было жаль - Испанию! С Испанией сроднено было сердце ещё с университетских лет, когда мы рвались попасть на её гражданскую войну - с республиканской стороны, конечно, - и без заучки впитывали все эти Уэски, Теруэли и Гвадалахары роднее собственного русского, по юному безумию забыв пролитое рядом тут, в самом нашем Ростове или Новочеркасске. С годами, уже в тюрьме, пришло другое понимание: что Франко предпринял героическую и великанскую попытку спасти свою страну от государственного распада. С таким пониманием пришло и удивление: что разложение-то вокруг идёт полным ходом, а Франко сумел тактически-твёрдо провести Испанию мимо Мировой войны, не вмешавшись, и вот уже 20, 30, 35 лет продержал её на христианской стороне против всех развальных законов истории! Однако, вот, на 37-м году правления он умирал и вот умер, под развязный свист европейских социалистов, радикалов, либералов. Испанию быстро растрясало, и все в Европе, кому не лень, травили её. И злее всех - английские лейбористы. И ещё отдельно жалко мне было молодого испанского короля, вот усаженного на возобновлённый неуверенный престол, с неуверенными руками на руле, явно не определившего, сколько ж надо уступать, а сколько держаться. И выхаживая по долгой веранде Хольцнахта (хорошо выкладывается возбуждение, такую же длинную решил построить себе и в Вермонте), я почувствовал, что так просто уйти в "Красное колесо" не могу, не удастся. Что как бы ни свистели все "Монды" и левее их - надо поехать в Испанию и открыто поддержать те силы, какие ещё хранили её, - да ведь и рядом с разломанной Португалией. Просто - русский был долг. А ещё почувствовал - что не могу не поехать в Англию. Уезжая из Европы, уж теперь-то, верно, навсегда (после Америки когда-нибудь - сразу назад в Россию), - я не мог подавить жажду: поехать в Англию и высказать многое - за новое, за старое. Правда, я уже разочаровался, я перестал верить в возможность живого убеждения и передачи опыта на словах. Ещё нобелевскую лекцию я строил на этом убеждении, и мне казалось, что даже при неназванных собственных именах всё будет воспринято. Теперь я усумнился, что литература может помочь осознать чужой опыт. Видимо, каждой нации (как и каждому человеку) суждено пройти весь путь ошибок и мучений - с начала до конца. Но я уже просто для себя, для разрядки темперамента, не мог отказаться от того, чтобы не выговориться в Англии и в Испании. На Западе я покинул всякие заботы о тактике, которую так рассчитывал в Союзе, тут пренебрегал, кому что не понравится (не представлял, насколько густо тут скоро сдвинутся противники), - а только бы высказаться вволю! Лишь в конце ноября вернулся домой. (Игнат больше двух часов неотрывно стоял у окна, чтобы первому оповестить братьев. Я сел за обеденный стол - Игнат пришел, сел рядом и молча смотрел, как я ем.) Зимы в этом году у меня как и не было, уже потерян покой, места нет - и работа серьёзная не пошла. Только очень стало ясно, что умирают уже немногие старики, свидетели революции, и вот последний момент, когда ещё можно воззвать к ним писать воспоминания. И я написал обращение*. А - каков же обратный адрес? Не Цюрих же, уезжаем. Придумали, хотя странно выглядело: просить присылать в эмигрантские газеты, кто на каком континенте, а те нам позже перешлют. А уже и с радио "Свобода" наслали мне пачки тех заветных передач "Два тридцать ночи", которые я так хитроумно и сложно собирался добывать, через Бетту, в СССР. И вот скрипты тяготееют - доступно на полках моих, - а мне и сесть за них некогда, всё раздёргано, всё куда-то надо гнать. Конечно, гебистские провокации не отлипали, вот получаем сведение: пущено по пражскому самиздату письмо от какого-то чешского журналиста из Женевы якобы своему другу в Стокгольм: будто виделся со мной, и я предупреждал чехов, что дубчек - честолюбивый карьерист и неспособный политик, надо не доверять ему и изолировать

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru его! Но где-то есть предел, за которым уже перестаёшь ощущать все эти прилипы, укусы, подлоги. И уже я – набираю метеорной скорости для прощальной спирали по Европе. В тот февраль я задумал поехать выступить ещё и в Италии – такой у меня был разгон. Но – никак не хватило времени, уже коротки были европейские сроки для всех подготовок, разборок, расщеплений, всё увеличивался неразобранный архив. В Италию – не поехали. А Франция была по пути, как ни ехать, всё через неё. И Франция шла первой в печатании моих книг. И под Новый год Никита Струве уговорил меня ещё в Цюрихе дать интервью журналу "Пуэн". Дал**. Желая иметь преимущество наблюдать за страной, а не чтоб она наблюдала за мною через корреспондентов и фотографов, я подготовил поездку в Англию без огласки: через одного лишь Яниса Сапиета, из Би-би-си, уже знакомого мне и по первому дню моей высылки; латышский эмигрант (мать – русская из Новгорода), протестантский пастор, с безупречным русским языком и очень сочувственный также и к русским проблемам (из тех немногих, кто понимает, что коммунизм и русские – разные понятия). Он искал нам с Алей и приют, где жить, и вёл переговоры с известным телекомментатором Майклом Чарлтоном об интервью, и постепенно расширял круг возможных дел и встреч. Что очень хотелось включить – автомобильную поездку по Шотландии, какая-то всегда была любовь, уважение к самому этому звучанию – Шотландия. Но – опять не хватало дней, и, значит, уже никогда не хватит. С пересадкой в Париже помог нам Никита Струве (мы, конечно, всё поездками). Ла-Манш переезжали паромом на воздушной подушке – стремительное современное чудовище, сказочно, когда, гудя, наползает на берег и бока его опадают. Мы всё думали, как бы из поезда от Парижа до Лондона не вылезать, – нет, не получилось ни туда, ни обратно, железнодорожные паромы уже не ходят. Значит – сплошные пересадки и перетаск чемоданов. Что значит – свой Диккенс! С первых же английских лиц на таможене, потом в автобусе, на дуврском вокзальчике, в поезде до Лондона, на Черинг-кросс, где нас встречал Сапиет: какие характерные, круто вылепленные, до чего ж индивидуальные лица! – но почти всех мы их, кажется, знаем по Диккенсу, самые удивительные из них – лишь только напоминание: да, да, и тебя встречали! И по виду каждого мы угадываем, что он мог бы сейчас пошутить. И как знакомый узнаём потемневший, запущенный дуврский вокзальчик, и кондуктора в поезде, и выходного вокзального, проверяющего билеты, и через стёкла автомобиля быстро называемые Сапиетом места: Трафальгарский сквер, Букингемский дворец (только голову кружит от левого движения). Мы скрываемся в Виндзор. Но и там, в гостинице (окно на Темзу, плавают утки и лебеди, а на том берегу – гребные эллинги Итона), – опять "знакомы" все служащие и эта трогательная престарелая перекобоченная мебель в номере, неуклюжий шкаф, комод, а до зеркала никому не дотянуться, всегда везде не слишком тепло, не слишком чисто, в кране нельзя получить смешанной тёплой воды, а не удивительно, если горячая и не идёт, и ещё предстоит потом видеть холодные неотопливаемые усадьбы (впечатление, что в Англии всегда не хватает угля и дров), – как будто нарочно неуютно устроились они в сырой стране, но вот это всё и трогает к ним сочувствием. Как будто оказываются они дома гораздо беззащитней и добродушней, чем выступают перед лицом мира и на сцене истории. В этом раздвоении я брожу по Виндзору, гуляю вдоль Темзы, готовя ещё новое, добавленное: выступление по радио, кроме телевидения. Везде мы не называясь или очень по доверенности: смотрим ли древнюю Итонскую библиотеку (в колледже каникулы); мемориал принца Альберта с достойной уходящей надписью (из апостола Павла): "I have fought the good fight. I have finished my course", – хотел бы и я сметь сказать так в конце жизни; смотрим ли сам Виндзорский замок, те крылья, куда пускают; или катим в Оксфорд, встречаемся с моим заветным переводчиком Гарри Виллетсом, или в Кембридж – с дочерью Гучкова. Гарри Виллетс (он не выносит писать письма, и мы по письмам почти не были знакомы) произвёл на меня обаятельное впечатление: такой теплодушный и такой даже русский – от многолетних усердных занятий русской темой, и жена из России. Он – редкий переводчик не только по своему таланту, но по беззаветному отношению к переводческому долгу: перестаёт ощущать перевод как вид заработка – а разделяет со-авторскую ответственность, ему невыносимо выпустить перевод не в лучшем виде, он с авторскими мучениями долго доискивается последних слов. От этого – работа его медленна, переводы затягиваются невыносимо, издательства раздражаются. Но – зато какой перевод! И так, мы ездим-бродим по Англии – и я в раздвоении, потому что с удивлением открываю: вот эту Англию, которую вижу сейчас, я, оказывается, всегда любил и даже узнаю? И это тянет меня смягчить все мои гневные упрёки, приготовленные жёсткие приговоры, – но я не могу не отвращаться от той жестокой напыщенной Великобритании на исторической сцене. Той – я должен высказать всё несмягчённо, как ей, может быть, не говорили, – да ведь то самое нужно и этой. В первое же воскресенье, 22 февраля, мы поехали в чьё-то загородное имение, и там было телевизионное интервью с Чарлтоном, так прокатившееся потом по Англии и даже по Штатам*. Но показывать его должны были

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru лишь в следующее воскресенье, и так мы ещё продолжали неразоблачённо тихо жить в Виндзоре, где я доканчивал готовить радиовыступление, потом так же тихо переехали в Лондон. Здесь в один день я выпалил и радио-беседу (может быть, из лучшего, что мне в публицистике удалось)***, и разоблачительно-убеждающую и бесполезную встречу с руководством восточноевропейского сектора Би-би-си****. (Да разве мыслимо передать им всё подсоветское беспомощное изнурение от журчливых и пустословных успокоений их комментатора А. М. Гольдберга, по любым безнадежным переговорам обнадеживающего, что будет хороший конец, советские представители вытянули чистые носовые платки – доброе предзнаменование! и этот же нескончаемый Гольдберг берётся комментировать книги, кинофильмы, художественные выставки, – и та же паточная оскомина.) Ещё мы пошли в парламент, посидели на хорах (запомнились театральные всплески удивления, возмущения, деланный хохот оппозиции и развязно-сонные вытянутые лейбористы-заднескамеечники с пренебрежением к этому учреждению, а властный спикер уже не на мешке с шерстью, но ещё в парике). Ещё через день – интервью о "Ленине в Цюрихе" для телевидения же (чёткий умный интервьюер Роберт Робинсон, дельные вопросы)****. Наговорился, больше некуда. Два дня нам с Алей оставалось на беготню по Лондону, по галереям, по театрам (невозможно забыть "Генриха V" в Шекспировском с Аланом Ховардом, как и удавиться можно было от занудства в очередном боевике "Смотрите, как всё валится" Д. Осборна в Олд-Вике). И все остальные поездки и встречи были полуанонимные, nepотревоженно выполнили мы свою программу, уехали, – и лишь тогда напечатали в газетах, что я – был в Англии, и стали передавать интервью с Чарлтоном. (Через два месяца это интервью имело то последствие, что намеченный визит в Москву генерального директора Би-би-си Каррена был отменён советским Госкомитетом по телевидению: передача интервью с Солженицыным свидетельствует, что Би-би-си продолжает тактику времён холодной войны.) В Касьянов день, 29 февраля, мы отплывали от сумрачного холмистого Дувра было ощущение хорошо сделанного дела. И отзывы из Англии потом подтвердили. Интервью передавались повторно, печатался текст радиовыступления повторным же тиражом – впервые в истории журнала Би-би-си ("Listener"). Исклyчительно доброжелательно Англия приняла все мои дерзости, и даже не разгневалась, что я иронически приподнял Уганду, по истекающим последствиям, важнее Великобритании. Приняла, прислушалась – но будет ли во всём этом толк? Однако: неисправимый порок мира, отпавшего от всякого даже представления об иерархии мыслей: ничей голос, ничья сила не могут ни запомниться, ни подействовать. Всё перемелькивает и перемелькивает в новое разнообразие. Калейдоскоп. Хорошей упругостью я был тогда заряжен. Немало выступив в Англии, я на другой же день в Париже начинал опять как свежий. И про себя-то зная свой скорый отъезд в Америку и прощанье – принимал и принимал, какие заявки ни были, – японское ли телевидение*****, "Интернэшнл геральд трибюн" совместно с "Нью-Йорк таймс", или "Франс суар"*****. Мне в то время казалось, что я довольно разнообразно говорю, каждый раз как будто что-то новое. Недавно, уже после Гарвардской речи, пришлось послушать те плёнки – и я изумился: ведь одно и то же! решительно одно и то же я повторяю на все лады, на все лады все эти годы, во всех странах, всем корреспондентам. Говори-говори! полная свобода! Сказанное месяц назад – уже забыто. Ах, политическая публицистика сама вгоняет в эту карусель. (Впрочем, Наполеон говорил: "После пушек самое сильное средство – повторение".) Конечно, и в Париже было устроено выступление по телевидению. И задумано очень хорошо: зрители смотрят фильм "Иван Денисович", а потом я отвечаю на телефонные звонки со всей Франции. Необычно, ответственно, я очень готовился и волновался. Но организаторы сумели всё сильно смешать: рядом посадили поверхностного и равнодушного комментатора (я думал – буду смотреть в объектив и никто не будет вмешиваться); он задавал от себя размазанные, вялые, неинтересные вопросы, когда телефоны разрывались самыми острыми. Сбил всё настроение, а потом стеснились телефонные вопросы – а времени не хватило*. Остался я недоволен этим выступлением. Впрочем, отклики печати почти сплошь были весьма благоприятны, "Монд" сдерживала ярость ко мне, а советское посольство вручило формальный протест французскому правительству. Среди этой публицистической скачки один денёк отвёл душу в литературном интервью с Н. Струве**. И так, прощай, Париж. А теперь в испанскую поездку надо опять – оторваться незаметно (приехал за мною неизменный, верный, находчивый В. С. Банкул), теперь ехать дальше как можно более анонимно, нигде не открывая следов. Ещё долгий кусок по Франции, а тут меня только что много показывали, трудно не узнать. Сколько уж, кажется, я Францию видел, а – всё новое, всё новое глазу, и пластами нагромоздились века, короли, полководцы. Замки, замки – Амбуазский, Шверни, Шамборский. Анжуйские графы, предшественники Плантагенетов. Здесь комната Генриха II, там сундук Генриха IV, здесь родился и умер Карл VIII. И неужели все эти замки (иные – даже во французскую революцию не конфискованные, отстояли себя, собравши верных) ещё будут инвентаризовать коммунисты, которых

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru многие французы не первый раз ожидают ко власти? А совсем особое чувство – вступить не в поражающие эти замки, но в скромный частный дом великого человека: дом Леонардо да Винчи в Амбуазе, всего-то двух его последних лет жизни, когда пригласил старика на покой Франциск I. Ходить по коротким этим аллеям, застыть на мшистом мостике через ручей, и тщетно пытаться перенять его мысли, настроения, опасения – что при жизни равняло со всеми его, ни с кем несравненного. С поколениями, с веками сколько ж вырастает сочувствователей этим всегда одиноким людям, как мы готовы их защищать, поддержать через слои времён, – но нет им нашего заслона в их горькие годы, а современники предпочитают ненависть, преследования, клевету. Сколько угодно можно слышать о гениальности изобретений Леонардо, но вполне поразиться можно только – пройдя все восстановленные его модели. Почти автомобиль. Почти танк (от ручной тяги). Крыло для человека. Геликоптер. Самолёт без мотора. Парашют. Камнемёт. Самонакатные пушки. Почти зенитная пушка. Счётчик пути. Подшипники. Зажимной ключ. Пресс для печати. Водяная турбина. Гигрометр. Ветрометр. Воздушное охлаждение для дома в жару! И всё это – с XV на XVI век! А в других комнатах – Джиоконда, автопортрет со струящейся бородой, очаровательные бабёшки, мальчишки. И из его сочинений: "В юности целомудрие – в старости разум". "Не предвидеть – уже стонать". От Биаррица до Сан-Себастьяна попали мы в полосу шторма: тряслись вывески, падали телевизионные антенны, срывало и несло дорожные указатели, рвало провода, по набережным ветер гнал струи воды, наш автомобиль толкало порывами, клочья пены неслись сюда как крупные насекомые, под маяком взрывались белые протуберанцы брызг. Всё это, да с чёрным небом, подходило к тому настроению, как я въезжал в Испанию: так и мнилось, что она вступала в свои последние сроки. И в Сан-Себастьяне из-за наводнения были толпы, запреты движения, полиция – так и казалось, что опять очередной конфликт в Басконии, что-нибудь вытворили баски-террористы? В Испанию я въезжал слишком равнодушно: "любимая война" нашей юности сроднила нас до ответственности, хотя и переполусованной за столько лет с тех пор. Я ехал не посмотреть, но помочь, сколько могу, как своей бы родине. А навстречу неслись наблюдения, какие, может, и по книгам можно составить, но для меня новы. Общее впечатление: бедность, какой в Европе не ожидаешь, ещё эта – красноватая неплодородная кастильская земля. Местами что-то кавказское: на бесплодной горе – черепичные крыши, как сакли. Вьючные ослы. Даже в Бургосе – грязные пустыри, и на них играют черномазые ребятишки. Этот католический центр в самые грозные дни войны был прибежищем франко. Сегодня, в субботу, в церквях – немногие, почти только пожилые. А развязные девушки курят в кафетериях, парни горланят песни на улицах, – не знали они той гражданской войны и что им память её! С большого книжного прилавка на улице бойко торгуют, идут – детективы. – Такие редкие сёла на неплодородии, а хуторов и вовсе почти нет. Но въезжаешь в Вальядолид – семиэтажные здания, ущелья улиц. В воскресенье утром по улице идёт группа ново-молодых людей в бело-чёрных шарфах, с дерзкими трубными звуками и плакатом – неизвестно кому что доказывают. А в храме – не без ребятишек, и молятся на каменном полу, и тянутся положить сбор. В притворе – много нищих, как бывало и у нас (одна из многих черт, странно сближающих Испанию с Россией, значит и то, что подают). А на стене собора снаружи: "Хозе Антонио Примо де Ривера – жив!", копятся политические потенциалы. – Благоговейно окунаешься в дом Сервантеса. Ещё одна мне близость, и какая: через плен, рабство. – И почти сразу Саламанка, неповторимого тёпло-золотого камня, да ещё в солнечный день. (В противность англичанам в воскресенье все испанцы – на улице, тоже русская черта. И – семячки!) У церкви Вера Крус: "Павшим за Бога и за Испанию!" На стене старого собора – снова (да места всё франкистские): "Хозе Антонио Примо де Ривера!" – и десять миртовых венков. "Король, мир и демократия наследство франко". – Неподражаемая средневековая Авила, сколько же можно втиснуть внутри городской стены! – И опять до перевала почти пустыня. На голом пейзаже особенно мучительно выпячивают рекламы, вот эта, по всей Испании – реклама автомобильных покрышек, но такой отчаянный взлёт руки и рот разверстый – как будто сама Испания кричит, уже ни на что не надеясь, и никто в мире не слышит её. За перевалом – цветущий нежно-лиловый миндаль, кипарисы, густоветвенные круглые оливы, виноградники, и снуют на осликах с бутылками в корзинах, со вьюками (точно как Санчо Панса), и слышится хрипкая крикливая речь. Толедский Алькасар, поэма и легенда той войны! полковник Москардо и пожертвованный им сын, образ из "Илиады". (Красные позвонили полковнику в крепость: "убьём твоего сына". – "Передайте ему трубку. Да здравствует Испания, сынок!") Семьдесят дней обороны, меньше литра воды на человека в день, двухсотграммовый хлебец – и защитникам, и роженицам в тёмных подвалах, атаки, осада, артиллерийские обстрелы на уничтожение, сшиблены башни, порушены стены, подкопы, подрывы, сровнены стены с землёю, обливание осаждённых огнём, подготовка потопа на них, – все эти республиканские методы выстояны героями (и

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru добереженобо полтысячи женщин и детей). "Сделали из Алькасаара символ свободы отечества". - Даже в нашу республиканскую юность вошёл этот замок как предмет восхищения. А сейчас ходишь по его коридорам (всё остроено вновь), по сырым тёмным подвалам, мимо алтарика Девы Марии, Господи! да ведь и у нас Владимирское училище билось с большевиками, новочеркасские юнкера освобождали Ростов, - а всё прошло впустую. Всё-таки сами мы, сами делаем свою историю, не на кого валить. Испанию - любят европейские туристы, но она - совсем даже и не старается показывать себя туристам, как Италия. Рядом со знаменитыми памятниками развалины, битые кирпичи, нищета. Все строительные работы - вручную, без кранов. Обшарпанность поселковых стен. Пахота на медленных мулах, и в большешоколёсой арбе - мул. Менее всех в Европе Испания захвачена потребительским обществом. У самой автомобильной дороги на земле расселась компания крестьян - и степенно ест, ну Россия! Совсем не похожи внешне, а как неожиданны сходства характеров: храбрость, открытость, неорганизованность, гостеприимство, крайность в вере и безверии. По какому-то же странному пристрастию писали наши писатели об Испании, многие так тут и не побывав и не узнав, что Гвадалквивир, который "шумит, бежит", всего лишь (теперь) застойная речушка, она и в самой Кордове пованивает, и много выброшенной дохлой рыбы. Андалузия - ещё одна страна. Пальмы в пышном разбросе. Миртовый кустарник. Городские крохотные внутренние дворики с апельсиновыми деревьями, цветами и птичками в клетках, перечерчивающими над головами прохожих, когда всю ширину улицы можно достичь расставленными локтями. Грязь и живость народной Севильи за рекою. Старую Малагу рушат, чтобы строить небоскрёбные коробки для туристов. Все аллеи и набережные изгажены автомобильными стадами. Вдоль дорог - агавы и кактусы, запылённые как бурьян; или светлые иво-лиственные эвкалипты; расставлены амфоры с винными рекламами. От города к городу старые мечети, замки и дворцы, более всего поражающие в Кордове и Гранаде, высота и тонкость тогдашнего исламского мира, вряд ли где живущая сегодня. Мелодия стен и эротика обстановки. Золотистые росписи на потолках, невесомые резные арки. Лес порфирных, яшмовых, мраморных колонн в кордовской мечети, когда-то мирно разделённой с христианами. Редко где, как в этих арабских древностях, ощутишь, как все мы переходящи и обречены. Восемь дней скользяли мы по Испании совсем неведомой, никому не интересные, да здесь и имя моё слышали мало. (Удивительно: узнавали иногда - солдаты.) Убийственно небрежные и даже анекдотические переводы на много лет закрыли мне влияние в испанском мире. Но на конец нашей поездки уже было сговорено выступление по испанскому телевидению, и все дни, что я смотрел Испанию, я ехал к нему. Всё увиденное только ещё усилило во мне острое сочувствие к этой стране. Все дни во мне складывалось: что же, самое краткое, я должен им сказать. Из истории, конечно: что это значит - быть захваченными фанатической идеологией, как мы, советские, и пусть поймут они, какой страшный жребий их миновал в 1939. Бессердечная земная вера социализма прежде всего пренебрегает своею собственной страной. И сколько ни пролилось испанской крови в гражданскую войну - отдали бы они ещё двадцатеро, если бы победили красные. И то, что стояло у них эти 37 лет, - это не диктатура. Я, знающий, оттуда, - могу рассказать им, что такое диктатура, что такое коммунизм и гонение на религию, - я полезнейший для них свидетель. И - прямо о терроре, который сотрясает их сегодня, но эти террористы - не герои и даже не люди. (И - как русское образованное общество заплатило за своё восхищение террором.) И сегодня - новый мираж наваяли на Испанию: как бы поскорей, завтра, установить "полноценную демократию". Ах, как надо бы испанскому образованному обществу быть и подальновиднее, и продуматее: сумеют ли они послезавтра эту незрелую демократию отстоять против своих террористов и советских танков. 19 марта в мадридскую гостиницу вместе с переводчиком Габриэлем Амиамой (бывшим испанским ребёнком, "спасённым" в СССР и хорошо отведавшим коммунизма) к нам приехал преуспевающий, весёлый, лёгкий как тореро, небольшого роста, художавый, очень уверенный в себе Хозе Иниго, один из здешних теле-радио-боссов. Никакая проблема с организацией передачи, одновременным переводом (которого у них никогда и не делали) не казалась ему трудной - и он смело назначал мне приезд в студию за 15 минут до начала передачи. Я даже не успел разобраться, что ж это будет за передача, но в общем я буду говорить в микрофон, прямо всей Испании, что хочу, - 20 минут? Хорошо. Полчаса? Хорошо. Можно и больше. Настолько не было проблем, что оставалось попросить его о какой-нибудь забаве: например, нельзя ли поехать на бой быков? (Ну как же в Испании побывать - и не повидать?) Везде мы не попадали, слишком ещё рано, весна. Но тут оказалось, что как раз сегодня открытие сезона, правда, тореро - молодые, второстепенный бой. Охотно! Ртутный Иниго умчался. Снова примчался, повёз. Всюду и везде его узнавали и приветствовали, полицейские отдавали честь - да, кажется, любимец Испании. Бой быков - не очаровал, не убедил, нет, это скорее забой быков, как это мы, остальные, и представляем издали. Рискует бандерильеро, с маленькими пиками, это

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru производит впечатление. Но ужасны массивные тупые пикадоры, которые искалывают быка большими пиками, сами почти в безопасности, мясники. А для быка, вольно выросшего на поле, – всё неожиданно, в первый раз, всё враждебно, обилие кричащих людей, все, кто появляются, – или колют или дразнят, а сами прячутся за загородки. Сперва бык избегает арену, а к тореро, к последнему врагу, – уже пена на губах, убыло сил, убыло крови, иной ещё отчаянно борется, другой хотел бы лишь, чтоб отпустили. Не-испанец скорее всего становится на сторону быка. Хотя, нет слов: тореро и рискует, и храбр, и ловкий воин. Когда тореро убьёт быка красиво – ему отсекают бычье ухо или хвост, а он может подарить даме сердца или почётному гостю. Мне шепнули, что тореро Гарбанфито сейчас намерен дарить мне ухо (знали, что я здесь). Я смутился и не дожидаясь сбежал. На следующее утро повезли нас через мадридский Университетский городок (так памятный с 1937, а сейчас тут уже никаких следов окопов не найти) – к Эскориалу, в Долину Мёртвых: где под единым торжественным храмом похоронены многие жертвы гражданской войны, без различия, с какой стороны воевали, – и над ними равно служатся регулярные мессы. (Сегодня служилась ещё особая: пять месяцев от смерти генерала Франко. Огромный храм был полон.) Вот это равенство сторон, равенство павших перед Богом – поразило меня: что значит, что в войне победила сторона христианская! А у нас как победила сатанинская – так другую топчут и оплёвывают все 60 лет, что бо у нас заикнётся о равенстве хотя бы мёртвых?! Я это тоже взял в своё телевыступление. Оно произошло поздно вечером, уже к полуночи. Приехали мы раньше, чем назначил Иниго, а выступление отодвинули ещё минут на сорок, но это ничему не помогло: оказывается, никто не был готов ни к какому одновременному переводу, стали наспех тянуть линию от выступающего в закуток к переводчику, проходящие цепляли за этот провод ногами, он рвался, в некоторые минуты переводчик Амиама совсем переставал меня слышать, и тогда он напрягал память, вспоминал, как мы с ним толковали в гостинице, и говорил что-то приблизительное, а может быть и другое совсем. И всё это – тоже была Испания! Ожидалось от Иниго несколько вопросов, но он только представил меня, задал один-два, смолк, отодвинулся, – не дождался я от него никакого развития к главному, а при полупотушенных огнях (в огромном холле со зрителями) остался наедине с объективами, с самой Испанией, – и минут сорок говорил от души*. А передача оказалась – поздневечерняя субботняя, самая легкомысленно-развлекательная, какую можно придумать, выступление моё туда никак не шло, но зато её и смотрел весь простой народ. (А образованные, и все либералы и социалисты пропустили; потом, рассказывали мне, друг другу звонили, включали и чертыхались. Разозлились безмерно: кого поучать? Нас, социалистов? Нас, испанцев?) Шёл я от микрофонов – концерт продолжался, и на пути стояла готовая к следующему выступлению легкомысленно одетая артисточка, которая тут меня и поцеловала в благодарность, и оказалось, что она – русская. Уж как разгонишься – силы немеряные. Было начало первого ночи – я тут же, в одной из комнат, охрипшим голосом дал пресс-конференцию, набралось корреспондентов, уже слышали они меня, оттого был наскок. Поговорили. (Тут и о Набокове*.) В воскресенье утром довольно рано мы с Банкулом уезжали (в гостинице было отмечено его имя, не моё), подобрали по уговору отца и сына Ламсдорфов и поехали на Сарагосу, а дальше к Барселоне. Сын, Владимир, был мой лучший в Испании переводчик; отец, Григорий, – участник испанской гражданской войны (из парижской русской эмиграции едва сюда пробившийся: к франкистам трудно было попасть, не то что к республиканцам), воевал как раз по этим местам, в Арагоне, и обещал мне всю дорогу рассказывать и показывать. Проехали мы Гвадалахару, то ущелье, где знаменито бежали итальянцы, – в разгаре его поглощающего рассказа вдруг полицейская машина стала нас обгонять и указывала свернуть на обочину. Что такое? мы как будто ни в чём не провинились. Остановились. Из полицейской машины выскочил сержант, но подошёл не с шофёрской стороны, как к нарушителям, а с правой. И спросил, тут ли едет Солженицын. Однако сразу же и узнал меня по вчерашнему, я сидел на заднем сидении, он выровнялся и с честью доложил, что Его Величество король Хуан-Карлос просит меня немедленно к нему во дворец. Ламсдорф перевёл – и мы молчали. Звучная была минута. Так разогнались ехать! На полном ходу, из огня гражданской войны, вызывал меня на сорок лет позже король – благодарить? Или что-то ещё спросить, мнения, совета? (Вероятно, ещё ночью обзвонили гостиницы, но нигде не обнаружен. Застава же схватила по швейцарскому номеру.) Звучная была минута – и казалась длинной. Ни полицейский сержант, ни наши русские испанцы не сомневались, что мы поворачиваем. Но я ощутил мучительный перебив разгона – не только в нашем рассчитанном движении, где почти не было отложных часов, но излома и самого замысла: король – не был в замысле, я высказал вчера всё, что хотел, меня видел и слышал народ, и кипело гневом лево-образованное общество. А ехать представляться королю? Да, почётно, – но после моего вчерашнего выступления такая встреча только повредит начинающему королю в глазах его

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru образованщины. И что ж я могу ему посоветовать, кроме сказанного этой ночью? – тормозить и тормозить развал Испании. Так и сам же догадается. Да и левым будет легче всё смазать: я уже буду не независимый свидетель Восточного мира, но креатура короля, ими оспариваемого. И я понял, что должен делать. Открыл блокнот и стал писать по-русски, медленно и диктуя вслух, а молодой Ламсдорф в другом блокноте писал сразу по-испански, повторяя тоже вслух, – а сержант стоял навытяжку и недоуменно слушал. :Я высоко ценю приглашение Вашего Величества: Я и принял решение приехать в Вашу страну осенью прошлого года, когда Испанию травили. Я надеюсь, что моё вчерашнее выступление поможет стойким людям Испании против натиска безответственных сил. :Однако встреча с Вашим Величеством сейчас ослабила бы общественный эффект от вчерашнего: Я желаю Вам мужества против натиска левых сил Испании и Европы, чтоб он не нарушил плавного хода Ваших реформ. Храни Бог Испанию!.. Сержант неодобрительно берёт написанную бумагу, он всё равно не понимает, кто и как может отказаться от приглашения короля. Он просит нас ждать и идёт передавать эту бумагу по рации. Мои спутники тоже удивлены. Да и я не совсем уверен, что правильно решил. При встрече можно бы ещё и королю прямо передать из нашего русского опыта и наши предупреждения, отчётливей. Но какая кривоножка пойдёт, как зарычат левые, как всё исказят. Сидим в молчании. Минут через пятнадцать сержант возвращается торжественно: – Его Величество желает вам счастливого пути! Никто вас больше беспокоить не будет. Поехали. Целый день через Арагон, ещё суше и бесплодней, чем Кастилия, – и сколько же и как бились за эту голую землю. По пути обедали в сельской таверне, все простые, кто сидели за воскресными столами, узнали меня, приветствовали и соглашались, и подавальщица Роза-Лаура, совершенная мадонна, тоже. Вечером мы уже в Каталонии. Утром в Барселоне только осматриваем бриг Колумба (мне – как раз, перед отъездом в Америку) – и покидаем Испанию под брань и гнев социалистических и либеральных газет. Снова Франция. Перпиньян. Виноделы бастуют – и замазали чёрной краской все дорожные указатели – отличное проявление свободы! Впрочем, на одном указателе ("кирпиче", а поле чистое) начерчено: Parti Communiste = Goulag. Это – уже в Арле. О, сколько римской старины. А вот и Авиньон, папский дворец времён их пленения, девять папских портретов – да что-то холодны, жестоки. А вокруг дворца кипят туристы и попрошайничают хиппи. В Оранже сохранившийся римский театр, полусохранный таинственная сцена, 36 крутых каменных зрительских рядов и 20-метровой высоты стена. Да, эту Францию никогда не пересмотришь: В Цюрихе – последнее оформление американских документов на переезд всей семьи (наших всех поразило, что надо пальцы отпечатывать). Мне ехать вперёд – наконец смотреть купленный участок и дать Алёше Виноградову добро на стройку, а самому – в Гувер заниматься. А семья поедет, когда будет где жить. А ведь в Цюрихе – уже два года мы, не шутка. Как уже отяготились, обросли хозяйством, бытом, архивом переписки, библиотекой, – и теперь что оставлять, что паковать, всю домашнюю жизнь перенести, – и всё опять на Алю. Мои последние сборы – и 2 апреля снова скрытый отлёт. Надеюсь, в этот раз прошлогодняя осечка и моё возвращение не повторятся, с Алей прощаюсь на несколько месяцев, с Европой – очень надолго. Такая неисчерпаемая, такая укоренённая, такая многоликая, такая любимая – и столь впавшая в слабость! В Нью-Йорке меня встречает Алёша и сразу везёт в Вермонт, на новокупленное место. Мы оба волнуемся – так ли выбрано? Случай недопустимый: место долгой, а может быть и доконечной своей жизни выбрать не самому, купить за глаза. Но в наших долгих совместных поисках предыдущего года Алёша понял, чего я ищу, и выбрал действительно отлично: в пустынном месте, вполне закрытое от дороги, со здоровым вольным лесом, с двумя проточными прудами, дом есть, только летний и мал, перестраивать и утеплять, есть и подсобных два малых домика, только слишком гористо, недостаёт полян и плоскости. Ну что ж, чего-то же русского должно не хватать. Мы насчитываем на участке пять горных ручьёв – вот и название будет Пять Ручьёв. (По- английски тоже было: Twinbrook – ручьи-близнецы.) Алёша, хотя и начинающий архитектор, но думает о священничестве, поступил в Свято-Владимирскую семинарию. Это перегружает его занятия, обязательства. Да стройка и без того затянется надолго. А я – что ж? Мне самый теперь раз ехать в Гувер и засаживаться там в библиотеку. Всё по-прежнему недружелюбен к самолётам, всё цепляясь за иллюзию сердечно-привычного железнодорожного сообщения, я таки удумываю ехать поездом – тут и дни, так необходимые для душевной перестройки, тут и окно в незнакомую страну. Увы, хуже, чем в Канаде: прямого трансконтинентального поезда нет, но есть два состыкованных: Бостон – Чикаго и Чикаго Сан-Франциско, между ними два часа для пересадки. Хорошо. Нет, гораздо хуже: прошло то время, когда мы кляли опоздания русских поездов и восхищались западной точностью. Уже на станции, где я сажусь, поезд, едва выехав из Бостона, опаздывает на полчаса. Румэт – такой же, но грязней, чем в Канаде, и ещё с маленькой поправкой: воздушное охлаждение не работает. В наших старых поездах его сроду не было, так и чёрт с ним, можно

Угодило зернышко промеж двух жерновов. Александр Исаевич Солженицын solzhenitsynalexander.ru же окна открыть. Но здесь, в замкнутом румэте без вентиляции, – душная мышеловка. Мутные стёкла, тащимся промышленными районами близ Эри, Кливленда, и я вижу, что опоздание уже более двух часов и только увеличивается. И всё путешествие становится изматыванием нервов: что же теперь делать? Теперь попадаю – в Чикаго – висеть сутки? На вокзале не удивлены, не огорчены – ну, что ж? (У них – каждый день опаздывает, а расписания не меняют.) Приходится неуклюже капитулировать: с вокзала час ехать на аэродром, там худым языком объясняться о рейсах и ещё не попасть на самый плохой – зигзагообразный и с посадками по пути. В Пало Альто я останавливаюсь у Елены Анатольевны Пашиной. Муж её, Николай Сергеич, вот недавно горячо бравшийся мне помогать, редкий образованный представитель Второй эмиграции, нашей самой закадычной, и с живым советским опытом и русской по сердцу, – умер только что, в феврале; так и обрываются наши жизни на чужбине, хотя каждый теплит надежду, что вернётся. Е. А., сохранно-русская душой, в завет умершему мужу чудесно и тихо мне помогает: возит из своей гуверской библиотеки домой всё, что нужно, – и книги, и целые газетные подшивки. И это даёт мне возможность первые три недели из восьми вообще не открываться, что я приехал: а то руководство Гувера тоже сразу потянет на банкеты, на речи, на встречи. Начинается упоительный двухмесячный лёт по материалам Февральской революции. Разверзаются мои глаза, как и что это было такое. Да в Союзе – разве допустили бы меня вот так во всю ширь и глубь окунуться в февраль?.. Э-э-э, да и слава Богу, что мне всё не удавалось начать "Март Семнадцатого". Промахнулся бы. Осень 1978

ПРИЛОЖЕНИЕ [17] ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ

30 сентября 1975 за последние месяцы некоторые безответственные органы печати на Западе сфабриковали относительно меня грубые фальшивки. Газета "Национал цайтунг" (ФРГ), журнал "Культура ди Дестра" (Италия) напечатали никогда не взятые у меня, неизвестно где, когда и кем полученные "интервью". Журнал "Дженте" пространно излагает беседу, которую я никогда не вёл. Газета "Монд" дала фальшивое сенсационное сообщение обо мне. – Все эти злостные подделки являются выдумкой от начала и до конца. Но совпадение их во времени и направлении заставляет предположить за ними общую направляющую руку. Я предупреждаю читателей мировой прессы против новых возможных злоупотреблений моим именем. А. Солженицын.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке <http://solzhenitsynalexander.ru/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!